

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

**ВСЕЛЕННАЯ НЕ МЕСТО
ДЛЯ ПЕЧАЛИ**

КНИГА ПОВЕСТЕЙ

МИНСК 2011

Содержание

АПЕЛЬСИНЫ НА АСФАЛЬТЕ	3
ПУСТОТА	30
ОДИНОЧЕСТВА ПЕЧАТЬ.....	68
КАК СТРАНЕН Я.....	106
ТАКОВ ПОЭТ	138
ВАРВАРЫ ИЗ ЕВРОПЫ.....	168
ВСЕЛЕННАЯ НЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАЛИ	192

АПЕЛЬСИНЫ НА АСФАЛЬТЕ

1

Тени у меня получились сиреневыми, а извилистые стволы деревьев ничем не отличались от теней. Видимо, только я мог отличить тени от стволов, кроны – от облаков, а корову от журавля. Ну и что? Кто сказал, что это недостаток сегодняшней живописи?

Недостатков у картин может быть много или мало, но у них должно быть одно неперемное достоинство: они должны продаваться. В них должно проступать что-то такое, что заставляет снобирующих толстосумов с восторгом выкладывать свои денежки. Не талант, это точно. А впрочем, своего рода талант: тонко подыграть вкусам толпы, сделать своим полотном комплимент тому, что они изволят считать вкусом. Нет проблем, господа. Вы хотите такие тени, которых не бывает в природе, но которые ваше коллективное воображение считает отчего-то более чем правдоподобными? Вы хотите эти тени – вы их получите. Лично меня воротит от моей сиреневой мази. Ну и что? Кто сказал, что работа за деньги должна приносить удовольствие?

В сущности, натура мне была не нужна, она даже угнетала меня своим невыдуманным великолепием. Я выбрался на природу не для того, чтобы ее рисовать. Облака были вовсе не такими условными размалеванными овалами, которые лубочно застыли на моем эскизе. Их непередаваемый серенький цвет мучил и терзал мою душу. Воплотить эти неброские оттенки в масле было верхом мастерства и воображения – но «господа» пищали от моих овалов. Я слыл неподражаемым колористом. Пленэр доставлял мне удовольствие особого рода: я творил карикатуру на свои представления о красоте. И эту карикатуру немцы и бельгийцы покупали за милую душу.

- Разве тени бывают такими? – раздалось у меня за спиной.

Я обернулся. Великолепные выющиеся волосы оттенка «красная ночь», большие распахнутые глаза с таким характерным разрезом, забыть который художнику совершенно невозможно. Это не просто разрез «под лисичку», это целый образ – то ли наивной, то ли искушенной девицы. Хотелось думать, что наивной. В облике ее не было ничего вульгарного и тем более порочного. Пухловатая нижняя губка, в целом чувственный рот, обрисованный четкими линиями. Девушка яркая, индивидуальная, написать ее портрет – дело несложное, а всем будет казаться, что картина удалась благодаря таланту художника. А тут заслуга натуры. В левой руке, согнутой в локте, она держала апельсин и покачивала его на ладошке.

- Таких теней не бывает, - сказал я. – Я их придумал. Вам не нравится?

- Нет, мне не нравится.

- А почему вы решили, что меня, взрослого пятидесятилетнего человека, знающего о живописи столько, сколько вы не узнаете за всю свою долгую и прекрасную жизнь, должно интересоваться чье-то мнение?

- Извините, мне, конечно, не следовало... Я иногда лезу не в свое дело.

Я ожидал другой реакции – оборонительно-агрессивной. «Публика всегда права», «для кого же вы пишете» - что-то самоуверенное в этом роде. Извинения делали ей честь. Кстати, голос у юной незнакомки также был весьма выразительным, женственным. Многообещающим.

- Скажу вам по секрету: мне тоже не нравятся мои тени. Перейдите, пожалуйста, вот сюда.

Я попросил стать ее в трех шагах от себя, спиной к солнцу. Тенью – ко мне.

- Как вас зовут? – спросил я, и пальцы мои, легко сжимавшие карандаш, полетели по плотному листу бумаги, за считанные секунды обозначив прелестный овал ее лица.

- Маруся, - ответила девушка, поправляя волосы правой рукой. В моем воображении застыло и навсегда отпечаталось это почти произвольное движение. Выражение лица стало слегка задумчивым и нерешительным; в нем невозможно было отыскать ни капли, ни тени кокетства – и это придавало ему особый шарм. Движение и поза были явно женскими, кокетливыми – но она не производила эффект, а, совершенно забыв о публике, немного ушла в себя. Чуть-чуть, самую малость. Она приоткрыла свое другое измерение. Сам факт того, что оно у нее было, делал девушку необычайно привлекательной, даже манящей. Я больше ни разу не взглянул на нее и быстро дорисовал ее портрет, сверясь со своим ликующим воображением. При этом автоматически продолжал задавать вежливые светские вопросы. Есть ли у нее мама? Папа? Где она учится? Хорошо ли учится? Я никак не мог решить, нужен ли ей апельсин на моем портрете. Решил, что нужен. Апельсин в руке довершал ее образ. Мне не надо было ничего придумывать. Ухаживают ли за ней мальчики?

Папы у нее нет, мама есть. Мальчики пытаются ухаживать. Учится она на факультете философском (!), хорошо учится.

- Кто бы сомневался, - буркнул я и поднял глаза на девушку Марусю. Она с нескрываемым любопытством смотрела на меня, и я понял в чем дело. Глаза у меня горели, внутренне я был собран, а язык мой нес какую-то чушь, рассчитанную на воспитанного подростка.

Я рассмеялся, она улыбнулась в ответ. Я не сомневался, что мы без слов поняли друг друга.

- Держите, - я протянул ей рисунок. Мне было не стыдно за него.

- Класс, - сказала Маруся. – Просто прелесть. А где же ваш автограф?

Я сотворил размашистую закорюку, и поставил дату: 17.05.2003. Потом подумал и добавил: 11 ч. 33 мин.

Маруся взяла свой портрет и отчего-то покраснела. Я же говорю: мы понимали друг друга без слов.

- А как зовут вас?

- Оскар Михайлович Малахов.

Она улыбнулась.

- Вам не нравится Оскар?

- Нет, Оскар мне нравится. Просто имя необычное.
- Эстонское. У меня дед эстонец.
- А у меня бабушка эстонка! Ее звали Мари.
- Фантастика, - сказал я. – Сколько вам лет?
- Двадцать.
- В сумме нам семьдесят. Не очень-то много на двоих.

Она опять зарделась. Краснела она легко: вспыхивала ровным румянцем и быстро отходила.

Надо было прощаться. И тут я удивил самого себя:

- А давайте встретимся завтра? Здесь же, в это же время.
- У меня лекции.
- А после лекций?
- Не знаю, - сказала Маруся, явно сбита с толку. – Давайте попробуем. И что мы будем делать?

- Я расскажу вам, почему я рисую мерзкие тени, хотя неплохо умею писать портреты. Это интересно?

- Интересно.

Больше она не сказала ничего, однако я оценил ее тактичность. Ведь я, что ни говори, поставил ее в сложное положение. Не сомневаюсь, ей хотелось узнать, женат ли я, зачем я назначаю это во всех отношениях странное свидание. Она не ставила под сомнение чистоту моих намерений. А это высший человеческий пилотаж. С другой стороны, ее вопрос о моем семейном положении прозвучал бы двусмысленно. Молчанием она дала понять, что оценивает сотворенную мной ситуацию в одном возможном в этом случае ключе: нас может объединить только платонический, культурный, человеческий интерес, но никак не интерес мужчины к женщине.

- До завтра, - сказал я.
- До завтра.
- Кстати, - спросил я, складывая мольберт, - почему вы не спросите, женат ли я, зачем я назначил вам встречу? Разве я настолько стар, что меня возможно заподозрить в бескорыстии?

Маруся покраснела.

- Человек, который сумел так передать мой облик на портрете, мне очень интересен. И вы вовсе не выглядите старым.

- Спасибо. Я женат, моему сыну двадцать пять лет.
- А он не женат?
- Трудно сказать...
- До завтра. Ой, подождите.

Она подошла и вложила мне в ладонь нагретый апельсин.

- Спасибо за урок тактичности. И за рисунок. Приятно, что тебя видят такой со стороны. Хотя, по-моему, здесь многовато комплимента. Я проста. Как апельсин.

- Я ничего не придумывал, - сказал я. – И я не скромничаю. Наоборот: самое сложное – ничего не придумывать. Вы любите апельсины?

- Люблю. За красоту. И за вкус. Только я не люблю их чистить.

- А мне доставляет удовольствие чистить апельсины, - сказал я и рассмеялся.

Мне действительно нравится снимать с апельсинов плотную пахучую кожуру. А вот чистить картошку – терпеть не могу.

2

Странно: за прошедшие до следующей встречи сутки я ни разу не задался прямым вопросом, зачем я назначил свидание девочке Марусе с философского факультета. Но я ни на секунду не забывал, что вскоре увижу ее вновь.

Ни о какой любви или желании завести интрижку и речи не могло быть. Я знал себя, свой вкус и свои принципы. Тридцать лет разницы – серьезный барьер даже для художника. Она привлекла мое внимание, думал я, как редкий экземпляр, как роскошное исключение. Для натурщицы она была слишком уникальна: она годилась только на тот образ, которым была сама. Взять ее как натуру – значило разгадывать только ее, не помышляя ни о каких типажах. Это был разовый, штучный «продукт». Девушки с превосходными задатками натурщиц никогда не нравились мне как женщины (настоящая женщина – всегда индивидуальность): именно поэтому мне было легко «снимать», фиксировать их позы и потом придавать условным позициям необходимый мне, индивидуальный смысл. Они бесстрастно позировали, то есть в буквальном смысле принимали и меняли позы, создавая язык жестов и энциклопедию поз – азбуку моего искусства. Множество поз скрывали пустоту, они были бессодержательны. Маруся и «поза сама по себе» были вещи взаимоисключающие. Она органически не умела позировать. Вот такая поза, исключая «позу», и была мне интересна. В пятьдесят лет естественность становится главным эстетическим критерием. Да и человеческим тоже.

Иными словами, я сам себе незаметно подбросил версию о том, что Маруся интересует меня как объект искусства, как своего рода супермодель. Самим фактом существования она имела отношение к самому главному в жизни для меня. К чему же, если не к искусству?

Меня это вполне устраивало. Совесть моя была чиста – до того момента, когда я увидел Марусю во второй раз. Я занял выгодную и удобную позицию: с какой бы стороны ни подошла Маруся, я увидел бы ее первым, а она бы не заметила меня. Так и получилось. Она двигалась со стороны Свислочи неторопливой походкой, уверенная в том, что не опаздывает. Девушка была собранная и цельная. Откровенно говоря, ее волосы и выражение лица присутствовали каким-то фоном, я замечал их только краем зрения. Я не мог оторвать взгляда от ее восхитительно крупноватого женственного зада, обтянутого черными брюками. Зад был выразительным, бедра соответствовали ему идеальной пропорцией. Нехорошее подозрение шевельнулось во мне. Я вспомнил, что я и в первый раз отметил про себя линию ее фигуры и бедер, но как-то быстро забыл об этом, списав, очевидно,

на профессиональный интерес к волнующим линиям. Мир состоял для меня из цвета и линий. Маруся была как бы не при чем. Оказалось, что линии Маруси волновали меня как мужчину. Я несколько растерялся и поторопился выйти из своего укрытия.

Маруся улыбнулась мне как старому знакомому. Мы болтали ни о чем – и я отметил про себя свое подозрительное красноречие. Все, что попадало в поле нашего зрения, становилось любопытнейшей темой для размышлений, ассоциаций, импровизаций, весьма поучительных историй, главным героем которых чаще всего был я, а если и не был, то история, которую выбрал я, говорила о моем вкусе, чувстве юмора и житейской мудрости. Если не лукавить, то я не просто развлекал мою спутницу, но и производил на нее впечатление, пользуясь моментом. Я ни на минуту не забывал о том, что Маруся учится на философском, и ни на секунду не сомневался, что выбор факультета был не случайным. Говорю же: красноречие мое было подозрительным. Я словно преследовал самому себе не ясную цель. Видите даму с задумчивым бульдогом? Колоритно, правда? Кто на кого похож? Сразу и не скажешь. Если с дамы снять очки, то, пожалуй, она станет похожей на пса, а если на бульдога нацепить очки, то, скорее, он станет похожим на хозяйку. На эту тему есть одно занятное воспоминание времен моей бродячей юности. Любопытно? Пожалуйста. Могу шрам показать в доказательство. Нет, не могу. Он на том месте, которое не принято показывать малознакомым девушкам. Это было во Владивостоке. Шла себе одна дама и вела на поводке угрюмого бульдога. Я их увидел и расхохотался. Меня покусали... Писающий мальчуган? Очень интересно. У соседа, моего ровесника, такой же прелестный внук. И дочь чуть старше вас. Кстати сказать, сосед работает водолазом. И знаете, что вчера нашли в Свислочи? Мертвое тело. Суицид. Я знал несчастного утопленника. Нескладная судьба. Нет, я умру не так. «А как?» - спросила она с улыбкой. Боже мой, между нами действительно разница в тридцать лет, и в такие моменты она отчетливо ощутима. Это надо же: так легкомысленно относиться к смерти. Впрочем, она еще не начинала жить. «Как-нибудь на лету», - ответил я. «Я не представляю себя старым... Вы действительно считаете, что до старости мне далеко?» Улыбка.

А эта парочка, нет, не та, слева от нас... Как вы думаете, они супруги или любовники? Нет, вы ошибаетесь. Они любовники, причем, свежие, недавно закрутившие роман. Между прочим, по статистике, семьдесят шесть процентов женатых мужчин и пятьдесят три процента замужних женщин изменяют своим супругам. Не верите? О, сейчас я расскажу вам любопытную историю об идеальном супруге, который превратил жизнь своей жены в ад. Водолаз, кстати, чем-то его напоминает. Однажды...

Каскад историй, которые оживали в моем воображении, я рассыпал блистательным фейерверком. Слушала она с восхищением. Последние лет десять я не встречал женщины, которой мне бы так хотелось понравиться. Оказывается, жизнь моя была довольно продолжительной, и я весь был набит

историями и наблюдениями, словно чемодан не очень издаваемого писателя талантливыми рукописями.

- Хотите, я расскажу вам историю об одной даме, которая лет до сорока была убеждена в своей исключительной порядочности?

- А потом?

- А потом крупно удивила сама себя.

- Конечно, хочу, - сказала Маруся. – Мне очень нравится вас слушать. И обращайтесь, пожалуйста, ко мне на «ты».

- С удовольствием. Итак, звали нашу даму... По-моему ее звали Маруся.

Моя спутница слегка вспыхнула и улыбнулась, приоткрыв малиновые губы. У меня пересохло во рту. Что происходит?

- Надеюсь, я не утомил тебя, - галантно произнес я, когда пришло время прощаться.

- Мне еще никогда не было так интересно.

Предлагать следующее свидание мне было крайне неловко. Для меня существовал только один предлог: хотелось ее увидеть. Но не хотелось, чтобы она догадалась об этом.

- Вы обещали рассказать мне, почему вы рисуете мерзкие тени.

- Ты уверена, что тебе это будет интересно?

- Конечно.

- Тогда... завтра?

- Нет, завтра не могу. Через три дня вас устроит?

- Три дня в моем возрасте – это целая эпоха. Но я надеюсь дожить до того времени, когда вновь увижу тебя.

- Зачем вам видеть меня? – спросила она, не глядя в мою сторону.

- Это мой секрет. «Который мне самому не известен», - добавил я про себя.

3

Следующая наша встреча была посвящена теме «я и искусство», а также ее вариациям: «мое место в искусстве», «мое понимание искусства»; закончил я философским экспромтом «искусство понимания». Я относил себя к тем немногочисленным художникам, которые не просто умеют хорошо делать то, что они делают, но и задумываются над природой творчества. Кажется, мне удалось убедить в этом и Марусю. Она сказала, что я «большой оригинал» и «философ от живописи». Главным итогом наших бесед и всего своего творчества считаю то, что это помогло вызвать интерес Маруси ко мне.

Во время следующего свидания, которое (уже по традиции) маскировалось мною под занимательное общение, проходящее под рубрикой «как много в мире интересного и любопытного, достойного нашего просвещенного внимания», я рассказал Марусе о нескольких законах, автором которых считал себя. Не биномы Ньютона, конечно, даже не сомнительные формулы Эйнштейна, однако законы есть законы. Отменить

их, по моим наблюдениям, не удавалось еще никому. Попробуйте, может, у вас получится.

Закон первый, или Закон дороги гласит: стоит только на дороге с двусторонним движением появиться (на той стороне, по которой едешь ты) движущемуся или не движущемуся объекту, как-то: пьяному велосипедисту, нетрезвому пешеходу или же просто одинокой старушке, как тут же возникает встречный транспорт, и вы разминетесь с ним именно в той точке, где вы обгоняете этот самый нетвердо передвигающийся объект. Три участника дорожного движения непременно выстраиваются в одну линию, напоминая своеобразный парад планет, чем сильно усложняют себе жизнь. Это опасный и коварный закон.

Объяснения этому закону нет никакого. Почему же я называю его законом? Да потому что он существует.

Закон второй – Закон дома. Если вам дали неточный адрес, а именно: неверно указали номер дома, причем ошиблись совершенно невинно, на какую-нибудь единичку, – то с вами непременно случится странная вещь. Вы никогда и ни за что не найдете тот дом, номер которого вам указали неверно и который необходим вам позарез и сию минуту. Вы потратите час – дом как в воду канул. Это мистика, но в то же время вполне реальная штука. Тут надо учесть, что вас не надували сознательно, не строили козни. Просто ошиблись, непреднамеренно и неумышленно. Однако дома-то вы не нашли. Вы ищите, тратите кучу времени и сил, но ваш дом, координаты которого не точны, но должны быть реальны, как сквозь землю провалился. Скажем, вы ищите дом номер сто семнадцать. Сто шестнадцать на месте, рядом – сто пятнадцать. Все логично и внушает оптимизм. А сто семнадцатого нет, и никто ничего не знает о его существовании. Вы ищите уже из чистого любопытства, забыв о деле, которое привело вас в злосчастный дом номер сто семнадцать. Бывает так, что судьба сжалится над вами и pošлет вам информированного прохожего, который случайно знает, что дом номер сто семнадцать еще не построен, или построен совершенно в другом месте.

Это гнусный закон, но неотвратимый.

Закон третий, имеющий отношение к красоте. Когда вы попадете в изумительно красивое место, вам непременно захочется лечь на землю и закрыть глаза.

- Зачем? – спросила Маруся. – Чтобы не видеть красоту?

- Законы можно трактовать по-разному. Я лишь утверждаю, что это законы. И они существуют.

Наконец, Закон звезды. Если ночью долго-долго смотреть на одиноко мерцающую звезду – обязательно заплачешь.

Оказывается, последний закон Марусе был известен, но мой приоритет в его открытии она не оспаривала. Я ведь обнаружил действие этого закона на тридцать лет раньше, чем Маруся.

К тому времени я уже понял, что привязывает меня к Марусе, а ее (не сомневался в этом) ко мне. Дело не в моих историях или в умении их рассказывать; дело в том, что мой взгляд на жизнь, мое ощущение жизни

были ей близки. Мне же хотелось делиться с ней прожитым и пережитым потому, что она была мне близким человеком. С человеком нельзя сблизиться, можно только найти близкого тебе человека. Или не найти. Вот я ее и нашел. А внешность Маруси просто сводила меня с ума. Я ничего не говорил ей об этом, но смотрел на нее все продолжительнее.

- Не смотрите на меня так, - попросила она, быстро вспыхнув.

- Как «так»?

- Слишком откровенно.

- Разве? – искренне изумился я.

- Конечно, - просто подтвердила она. – Посмотрели бы вы на себя со стороны. Тут даже мне все ясно. Обратите внимание вон на того дядечку.

Дядечке было лет сорок, он был моложе меня лет на десять, хотя выглядел не намного свежее. Маруся переключила мое внимание на игру, которой мы с ней были заняты постоянно. Мы отыскивали в толпе людей или среди редких прохожих колоритные типажи и давали им характеристики. Обычно этим занимался я, а Маруся восторженно пританцовывала. «Прелесть какая!» - восклицала она, как будто я на ее глазах нарисовал портрет.

«Дядечку» выдавали глаза: они были пустыми и ложно значительными, словно у монаха, который догадывался, что пустил свою жизнь прахом, но изо всех цеплялся за выдуманный армией таких же, как он, бородачей бледный смысл.

Я сказал Марусе об этом, и она испустила тихий молитвенный вздох: «Какая прелесть!»

От ее вздохов и восклицаний на меня накатывала волна сладострастной истомы, мне хотелось схватить ее в охапку и зацеловать до одури. Голос у меня садился, появлялась низкая хрипотца, и я долго откашливался, гася предательские порывы.

- Теперь моя очередь, - сказала Маруся и нацелилась на добропорядочную гусыню, плывущую в окружении двух пышных дочерей, которые вели под руки облик своего славного будущего.

- Нет, - сказал я, - взгляни-ка направо.

Там стоял поджарый молодой человек в модных остроносых штиблетах а la Маленький Мук, стильно обтянутый в короткую курточку, идею которой Диор явно позаимствовал у Буратино. Он нагло провожал нас глазами, подленько улыбаясь. Был он моложе меня на добрых тридцать лет.

- Золотой мальчик, - равнодушно отмахнулась Маруся. – Этого добра сегодня сколько угодно. Модные тусовки, ди джей Скунц, бокал мартини, заднее сиденье папашиного БМВ...

- Откуда ты все это знаешь?

Досадный укол ревности достал меня куда-то в левый бок. Я ревновал ее ко всему ее поколению, ко всем тридцатилетним, и даже сорокалетним успешным мужикам. Это была ревность, очень напоминавшая грусть от сознания уходящей жизни.

- У меня же есть подружки, которые встречаются с такими мальчиками, да и дискотеки я посещаю. Я же не монашенка.

- Тебе неловко идти рядом со мной?
- Отчего же?
- Оттого, что я возрастом своим компрометирую тебя.
- Мы не делаем ничего плохого. Разве я не могу гулять с человеком, которому пятьдесят лет?
- Не можешь. Ты мне нравишься. Очень. Боюсь, что я влюбился в тебя.
- Что вы такое говорите? – лепетала она, не в силах справиться с густым румянцем. Этот румянец делал ее девчонкой.
- Я говорю ужасные вещи, - сказал я.
- Конечно, ужасные. А как же ваша жена?
- Я пожал плечами.
- При чем здесь жена?
- Как при чем? Ведь это предательство.
- Нет, это просто попытка измены. Точнее, легкомысленная склонность к супружеской неверности.
- Кошмар. Это как-то не вяжется с вашим светлым обликом.
- А вот светлый облик – это тонко подмечено. Браво. Отдельное спасибо.
- Она возмущалась с легкой улыбкой на губах – но при этом несомненно возмущалась. Я отчего-то испытал чувство необыкновенного подъема.
- Можно, я спрошу у тебя о том, о чем вчера мне страшно было подумать?
- Это не заставит меня краснеть?
- Когда ты краснеешь, выглядишь просто очаровательно. Тебе это идет.
- Она залилась здоровым румянцем, будто прошла по морозцу.
- Я спрашиваю. Ты готова услышать мой вопрос? Спрашиваю. А я тебе нравлюсь? Вообще, какие чувства ты испытываешь ко мне?

Маруся задумалась.

- Я испытываю к вам самые лучшие чувства. Но, мне кажется, между нами не может быть любви.

Последнее слово она выговорила с легкой запинкой.

- Ты уже думала об этом?

Она кивнула:

- Не специально. Оно само думалось.

Некоторое время мы шли молча. Наконец она сформулировала:

- Вы все меньше и меньше вписываетесь в мои представления об идеальном муже, но нравитесь при этом все больше и больше...

- Ангел мой! – воскликнул я, неизвестно чем окрыленный. – Разве идеальный муж может быть идеалом женщины? Идеальный муж ограничен рамками семьи, живет исключительно ее интересами, окруженный выводком...

Тут я скопировал походку гусыни и постные физиономии ее перезревающих дочурок. Беглая улыбка Маруси подтвердила, что я исполнил шарж блистательно. После чего невозмутимо, и в то же время с пафосом (очень сложная интонация!) продолжил:

- Я же – гражданин Вселенной, мое амплуа – идеальный мужчина. Чем старше идеальный мужчина, тем более он соответствует номинации

идеальный муж. И наоборот. Поэтому я считаю, что тебе просто повезло: в твои-то двадцать встретить всего-навсего пятидесятилетнего...

- Я просто счастлива, - промолвила моя радость, заливаясь тихим смехом.

- Иронии, на мой вкус, многовато, - сказал я тоном директора гимназии для девочек.

- Хорошо: вы мой герой. Исключительный мужчина.

- Уже лучше.

Теперь я был глупым самцом Бельмондо.

- Настолько исключительный, что явно не для меня, простой смертной.

- Зачем же так горячиться? От исключительной женщины слышу.

- Нет, я куда более заурядна, чем вы. К сожалению.

- К счастью, я знаю тебе цену. Женщина, которая питает ко мне слабость, не может быть недостойной особью. У тебя только один крупный недостаток: твоя дурацкая молодость. Но этот недостаток, поверь мне, исключительно быстро проходит.

- С вами трудно сохранить рассудок.

- Честно говоря, меня сейчас гораздо более интересует другое, сохранившееся в неприкосновенности место, а именно...

- Не надо. Об этом забудьте.

При этом она даже не покраснела! Считать, будто она не поняла моего намека, было бы наивно. Однако степень ее невинности осталась для меня загадкой.

- Уже забыл.

- Забудьте. И не мечтайте. Этого не будет никогда. Никогда.

- Да я уже смирился с этим. Мне только интересно...

И тут я сказал ей на ухо одну из тех вещей, что звучат дерзко, напористо и уместно, резко сближая мужчину и женщину, а на бумаге выглядят жалким пижонством и пошлостью. Словом, милые глупости. Тут все дело в интонации. Я не могу написанным словом передать интонацию, а далеко не каждый читатель сможет с нужной долей самоуверенности и одновременно иронии произнести простые слова, которые в умелых устах становятся золотыми.

Дыхание у Маруси сбилось. Теперь я должен был помочь выбраться ей из этого деликатного положения, в которое я же ее и загнал.

- Однако... - сказала она, чтобы что-то сказать.

- Ты ведь не уйдешь сейчас?

Я был сама галантность.

- Я должна это сделать.

- Но не сделаешь, не так ли?

- Не сделаю. И потом буду об этом жалеть.

- Дай руку.

- Не дам.

Я взял ее руку – она вцепилась в нее своими холодными пальцами.

- Что происходит? – спросил я то ли ее, то ли себя.

- Не знаю, - растерянно ответила она за нас двоих.

Мне нравилась в ней эта первобытная честность. В эту минуту она казалась мне девочкой, которая играет с огнем и искренне верит в то, что ничего плохого с ней не случится. Я же верил только в свой опыт и понимание жизни. Что-то подсказывало мне, что наши чистые отношения не могут кончиться добром. У людей так бывает только в сказках. А сказка – ложь.

4

Дома я отказался от ужина и не находил себе места. Мне чего-то хотелось, какое-то смутное желание томило меня, но вот какое – понять не мог. Природа моего томления была, так сказать, плана творческого. Мне необходимо было что-то уяснить себе. Перед мысленным взором стоял какой-то серый туман, в котором бесформенными очертаниями ворочались смутные рельефы и контуры. Я удалился в рабочий кабинет. Мучительная немота толкнула меня к бумаге, но из меня, вопреки ожиданиям, полились слова, а не линии.

Я зафиксировал цепочку важных для меня мыслей, сотворил род дневниковой записи, из которой потом родился замысел моей повести. Она закончена, вы ее сейчас читаете и, возможно, получаете удовольствие, если обзавелись привычкой анализировать свои чувства – привычкой, достаточно редкой для людей. Но в тот момент меня душила немота, и я боролся с собой, рождая смыслы, преодолевая сумбур (не всегда удачно, надо сказать). Вот эта запись, сохраненная для истории в том виде, в каком она родилась: без ретуши и лакировки.

«Иногда светлые, высокие чувства разрушают человека, если они приходят в противоречие с другими светлыми и высокими чувствами. С другой стороны, высший человеческий пилотаж заключается в том, чтобы получать удовольствие от высоких чувств, даже если они и запретны.

Непосредственное отношение всегда честно, самодостаточно, всегда «как в первый раз». Непосредственное отношение безупречно. Это отношение одного субъекта (личности) к другому (другой). Упрекать за произвольно возникшие чувства по меньшей мере глупо. Но если это отношение, само по себе светлое и чистое, включается в контекст уже существующих устоявшихся отношений субъекта с социумом, возникает «странный» (по человеческим меркам, то есть по меркам социума) ситуация. Например. Представим себе такой расклад: всеми уважаемый, ответственный мужчина пятидесяти лет – а главное, отличный семьянин! – влюбляется в девушку двадцати лет. Всех можно понять – однако налицо странная ситуация. До любви человек был порядочным и положительным; как только он полюбил другую (хотя все вокруг только и твердят, что сердцу не прикажешь, любовь нечаянно нагрянет и т.д.) – его хочется уважать гораздо меньше. Он словно совершил нечто недозволенное. Оказывается, для общества любовь хороша не сама по себе и не всякая любовь, а только та любовь, которая приводит к браку, к созданию ячейки общества. Любовь должна служить обществу, укрепляя его структуру. Как только любовь начинает угрожать

существованию семьи, этой стабилизирующей ячейки общества, это чувство становится «странным», подозрительным и гонимым. Порядочный человек начинает сопротивляться своему чувству как сознательный член общества, хотя как нормальный, слабый человек он боготворит свою любовь. Смотрите, что происходит: светлые чувства начинают как бы угнетать, ломать человека, ибо явно коренятся в области табу. Свобода человека и благо общества – приходят в противоречие. Человек, образцово воспитанный образцовым обществом, становится злейшим врагом себе. Как быть?

Следует признать, что нарушение табу, то есть реализация права на любовь, обогащает человека. Именно это я хочу сказать и настаиваю на этом. Но нарушать табу не всякому дано: это может и погубить человека, если он слишком сознательный, слишком сильно интегрирован в систему жестких социальных регламентов. А здесь зависимость такая: чем более обезличен человек – тем более он «сознательный»; чем более умен – тем менее «сознателен». Человек становится врагом самому себе: врагом своей личной свободы, своих чувств, которые делают его жизнь содержательной, врагом всего, что не одобряется обществом. Человек, который становится врагом себе, – это герой, замечательный человек. В человеке, состоящем из двух персон, сражаются герой и свободная личность. Это кровавая битва, из которой живым можно выбраться только тому, в ком одно начало явно преобладает над другим. А если человек силен, если в нем в значительной степени развиты «героизм» и «свободолюбие»?

Это беда. Здесь зависимость такая: чем сильнее человек – тем меньше шансов у него выжить. Это формула беды, отражающая закон жизни: все чтут сильных и неординарных, преклоняются перед ними, но никогда не простят им того, что они осмелились стать выше других. Кого уважают – тех и будут пинать ничтожества, не способные уважать сами себя.

Есть и еще один закон жизни: за счастье надо платить смертью. Этот закон отражает неизвестно кем внедренную в жизнь меру гармонии: или все, но сразу, или ничего, но постепенно. Если все и постепенно – то это как-то не по-человечески. Это по-божески. Такое впечатление, что этот закон родился из всеобщего чувства справедливости (и зависти, добавим справедливости ради). Этот общественный закон, спущенный нам с небес, – способ покарать тех, кто стремится прожить яркую жизнь, постепенно получить все. Вот почему свободный человек опутан законами.

Вывод из этой странной ситуации, в которую загнала человека культура, также будет странным: обогащаться способна только внутренняя жизнь свободного человека. Хороший человек, если это социальный результат, а не тенденция, становится тормозом на пути обогащения собственного внутреннего мира, на пути превращения себя в свободную личность. Он предает себя. Он меняет палитру чувств на два-три скудных, блеклых, но устойчивых тона. Он начинает ненавидеть яркие краски. Хороший, образцовый человек – вот угроза жизни и творчеству. Завидуют и уничтожают из зависти только хорошие люди и только из лучших побуждений. Кого уничтожают? Счастливых. Лучших из лучших.

Хороший человек, способный к развитию и обогащению (лучший!), то есть к дерзкому нарушению табу, – это всегда грустная история, история преодоления себя, история прорыва к свободе, ибо перспектива запретных, табуируемых обществом отношений всегда одна: скорая гибель. Тебя покарают главные враги человека – его ближние. Хорошие люди, от которых никуда не скрыться. Из лучших побуждений. Это игра в жизнь, которая заканчивается игрой в смерть, – игра, где циклы предельно сжаты. Жизнь кипит. Смерть подстерегает».

Утром я вышел на улицу, взглянул на небо – и обомлел. Низкие, косматые тучи стелились и напоздали, словно дым небывалого пожарища. Это были не тучи – а ползущее ощущение тревоги, образ надвигающейся опасности, предчувствие грядущей беды. Я вернулся в квартиру (плохая примета!), схватил в руки кисть и мгновенно зафиксировал этот образ, который терзал меня, но не давался в руки. В душе словно освободилось место, и мне стало гораздо легче. Пейзаж получился отменным: давно я так не работал с цветом, давно я с таким успехом не воплощал на холсте то, что ощущал почти физически. Вся моя картина состояла из полутонов, переходящих друг в друга. Мучительные полутона оказались подвластны мне.

Обострение чувств и интеллекта было налицо. Я обретал свою позабытую форму. Что случилось? Вопрос риторический, однако подразумеваемый ответ не снимал вопроса с повестки дня. Моя жизнь шла отныне в режиме «что-то случилось». И радостно, и тревожно; холодок в душе сменял некоторую горячечную взвинченность.

В отношениях с Марусей этап эйфории сменился этапом нежной задумчивости. Я говорил с ней на языке умудренного опытом мужчины, за плечами которого – полвека; Маруся, мне кажется, понимала меня.

- Странно... Чем бы ни кончились наши отношения, мы все равно потеряем что-то важное и невозполнимое. Расстанемся – потеряем, останемся вместе – потеряем еще больше, - сказал я.

Мы сидели в парке и наслаждались свежими тонами, насыщенным цветом и прозрачностью холодного лета.

- И если бы мы не встретились – тоже много бы потеряли, - то ли возразила, то ли поддержала меня Маруся.

- Да, да, да... Все это означает: нам есть что терять.

- Что же? – спросила Маруся.

Очевидно, в душе ее также происходило нечто смутное.

- Нам ведь хорошо вдвоем?

- Да как сказать... Сверху тепло, снизу холодно...

- Вот это и есть хорошо. Вот это и жалко терять.

- А лучше не бывает?

- Бывает по-другому. Но это не со мной. Это у тебя будет с другими. Я, кажется, говорил уже тебе, что я ревную тебя к нескольким поколениям мужчин.

- Говорили. Меня ревновать глупо. Я могу принадлежать только одному мужчине. Я не способна изменять. А можно сохранить то, что у нас есть сейчас?

- Конечно. Надо только развивать наши отношения. Сохранять – значит, развивать.

Моя рука лежала у нее на бедре.

- И что потом?

Она ждала, что я сию минуту предложу на выбор сразу три выхода из этого тупика, который называется «пятьдесят лет + жена + нежелание быть молодым + любовь к Марусе + ее двадцать + куча вещей, с которыми мне комфортно в пятьдесят, но которые исключают саму возможность быть с Марусей...»

- Потом – суп с котом.

- Это ответ? – серьезно спросила Маруся.

- Ответ, - с долей шутливой интонации ответил я. – Переводится так. Расстанемся – потеряем то, что важно и необходимо обоим; будем развивать и оформлять наш союз – потеряем будущее. Остается одно: быть вместе, но не держаться за союз. Жить одним днем. Наше будущее – это настоящее.

- Я к этому не готова, если это зрелый подход к нашей ситуации. Я проста и наивна: мне надо или все – или ничего.

- Я знаю. К сожалению, ты права. Ты мне такая и нужна. Вот эти светотени и называются зарей великолепной старости.

Я смотрел на солнечные блики, тепло скользящие по густой зеленой траве. Кажется, на сей раз Маруся не вполне уловила мою мысль, если нечто похожее на мысль присутствовало в моей тихой реплике.

5

Мои чувства к Марусе собрались в удивительно терпкий букет: в нем можно было обнаружить восторг и ужас, смешанные с трезвым пониманием бесперспективности наших отношений; ее удивительное целомудрие чудесно уживалось с моим беспредельным цинизмом и вовсе не корбило его, в результате даже цинизм мой приобрел облагороженные формы (чего я от себя не ожидал). Прибавьте сюда мою любовь к Марусе – и пронзительное ощущение неуместности этого чувства, становящегося опасным и тяжелым, если оно связывает людей, которые не могут быть вместе. Огромная разница в возрасте казалась мне чудовищной нелепостью, чьим-то грубым, бездарным просчетом, из-за чего я испытывал почти физическое чувство неловкости, почти вины. Потрясающий букетик.

Я разделял с ней ответственность за то, что происходило в ее сердце. Она же была полностью дезориентирована. Она понимала, что у нас нет будущего, но ее влекло ко мне, хотя она честно, без кокетства сопротивлялась. И, в отличие от меня, испытывала глубокое, мучительное чувство вины: я ведь принадлежал не ей.

С каких это пор я стал таким человековедом по женской части?

С тех пор как прочитал ее дневник. Случайно. Я не собираюсь ничего цитировать; скажу только, что отдельные места тронули меня настолько, что в душе моей обнажились по-детски незащищенные оазисы. Пятидесятилетний мужик, оказывается, запросто может превратиться в сопливого ребенка, если вовремя не перекрыть фонтан эмоций. Я убежден: давать волю чувствам – это не благо, а слабость. Надо защищать себя от себя и оберегать от себя других. Быть искренним в ситуации, когда твоя искренность может завести только в тупик, значит, проявить слабость и жестокость по отношению к человеку, который принимает твою искренность за желание выбраться из тупика. А быть в этой ситуации жестоким по отношению к себе – значит, быть честным и добрым по отношению к человеку, которого ты любишь. Перед таким выбором поставила меня жизнь.

Именно в этот момент мне захотелось писать свежие пейзажи холодного лета.

Эти простые и немудреные пейзажи странным образом помогали мне разобраться в моей проблеме. Почему? В этом тоже надо разобраться. Я долго выхаживал по берегу озера (специально выезжал за город), не приступая к работе. Я впитывал в себя простые впечатления, которые постепенно заворачивались в сложный и тугой узел, и простодушное чувство умиления незаметно сменялось глухим раздражением.

Огромное озеро искрилось холодными бликами на мелкой волне, вызывая желание подмигивать и улыбаться. Чистенько, без фальши попискивал скворец. Сосны, украшенные молоденькими шишечками в желтой пыли, тянулись крепким бором вдоль берега, образуя мирную гармонию именно тем, что ограничивали простор. Прозрачный воздух, прохладный упругий ветерок. Простая симфония простыми аккордами звенела в душе. И все было бы хорошо, не будь я художником. Я ложился на спину и закрывал глаза.

Переживание настоящей красоты всегда мучительно. Я вышел на луг, продуманно убранный неброскими цветочками: дикой гвоздичкой, с мелкими аккуратно вырезанными лепестками невыразимо бордового развода, ярко желтыми нежнейшего оттенка кружочками одуванчиков, голубыми колокольчиками, сочным фиолетовым люпином и еще какой-то диковатой травкой, плотным узорчатым ковром устилавшей луг. Кое-где, довершая небывалое совершенство, щетинились колючие пучки травки-ежика. Я остановился, изумленный, и настроение мое сразу испортилось. Как написать всю эту неброскую, но несомненно растворенную вокруг красоту? Я знал по опыту, что писать такие «безыскусные» пейзажи, просто «собрать букет», уже подаренный тебе кем-то, – истинная мука, задача фантастической сложности. Кто-то словно бросает тебе вызов, навязывает состязание, и уклониться от него невозможно. Если ты художник – ты обязательно захочешь это написать. Откажешься писать – погибнешь как художник. Никогда себе этого не простишь. Этот закон называется испытание букетом. Но вот удастся выразить невыразимое далеко не всем. Я больше скажу. Если вам удастся написать такой вот живой лужок при ярком солнце и прозрачном воздухе, когда вы видите, что он невидим, – вы навсегда останетесь в

истории живописи. И тут не настроение, даже не мастерство решают все. Для такой удачи необходимо совпадение множества условий. Их даже определить сложно. Попробую. Неправда, будто ум мешает художнику; гениальному пачкуну – мешает, великому художнику ум помогает. Такую красоту сначала нужно «понять», ухватить ее разумом, что ли (не чувствами, это точно), и только потом дать волю чувствам и фантазии. Только такая метода может привести к небывалому успеху. Для того чтобы оценить это, надо правильно и долго пожить. Ладно, скажу прямо: если бы я не испытал губительного и преступного чувства к Марусе, оживившего меня, – я бы не взялся писать этот проклятый луг.

Я сразу понял, что это мой шанс. Секрет красоты был мне вполне по силам. Я чувствовал, что могу сделать невозможное. Не рассуждая, бросился я к мольберту и тут же принялся за картину. Все получилось с первой попытки. Неправда, будто мука художника – это часы и часы мазни. Муки творчества, муки постижения мастерства – это сладкая каторга, и не надо делать вид, будто это самое страшное для художника. Настоящая мука, о которой не принято говорить вслух, – это страх неудачи, замешанный на проклятье показаться ничтожеством в собственных глазах. Мука гения состоит из страха перед реальной возможностью раз и навсегда перестать верить в себя. После такой неудачи можно всю оставшуюся жизнь так и не взять кисть в руки. Со мной так и произошло. Мне не удалось выразить образ или «идею» тени, всего лишь тени, которую я хотел видеть изнанкой всего сущего. Я был не готов к шедевр в тот момент – или я не был рожден для шедевра?

Эта попытка много значила для меня. Луг оживал под моей кистью, причем, совсем не тот луг, который я видел только что и который во всей красе стоял у меня перед глазами. Я писал и не луг вовсе, а «букет», образ неуловимой красоты, которая не дается в руки человеку, дразнит его, сводит с ума, заставляет делать глупости, жить и умирать. И вот я, Оскар Малахов, укротил красоту, покорила нетленную и эфемерную стихию. Какое отношение этот луг имел к моей любви к Марусе? Не знаю. Но любовь, давшая мне редкий опыт чувств, помогла мне его написать. В тот момент я готов был заплатить за свой шедевр любую цену. Любую, не торгуясь. Жестокость этой сделки я осознал некоторое время спустя.

А пока что я расслабленно растянулся возле мольберта и закрыл глаза.

6

Как видите, в моей правдивой повести до сих пор не происходило никаких событий. Но я не помню в своей жизни периода более насыщенного и, так сказать, событийного, нежели только что описанный. Главное – это то, что происходит с нами, когда происходит внутри нас. Мы меняемся, если способны меняться: вот главное.

Однако стоит только зашевелиться чему-то «в душе», как, по закону сцепления всего со всем, это становится причиной внешних событий, –

которые, в свою очередь, дают толчок душевной сумятице. Что чему начало и что есть следствие-причина – это вечная загадка жизни.

Все началось очень невинно.

- Почему я вам нравлюсь? Что вы разглядели во мне? – спросила меня Маруся, когда мы гуляли с ней по набережной.

Раньше я как-то не замечал, что неброское может быть ярким, а теперь просто задыхался от яркости и выразительности того, что годами скользило перед взором, навевая едва ли не уныние своей обыденностью. Стальной, переливчатый цвет воды – и у меня перехватывало дыхание от силы образа. Если долго ходить вдоль берега Свислочи (а это и был наш излюбленный маршрут: куда река выведет), то цвет воды на ваших глазах меняется по многу раз в день. К вечеру (наше излюбленное время) светлая лазурь небес опрокидывается в речку, заполняя ее ровно до середины; другая половина водной глади, также подражая небесам, окрашивается бледной копией того цвета, который я называю «красная ночь». Застывшую, словно холст, гладь реки хотелось сложить пополам – по линии, разделяющей цвета, завернуть и унести с собой.

Аккуратно подстриженная трава, обнаженная до бледной зелени, – и это целое настроение. А небо?

Белые облака мягко кучерявились, словно мохнатые подбрюшья огромных космических котов, лениво парящих над изумленным миром и дрейфующих в неведомые края. Мы завидовали котам и махали им вслед руками, складывая их лапками.

Иногда легкомысленные облака своими округлыми вспученными формами напоминали беспечные ядерные взрывы. Грибовидные массы со светоносными пластами причудливо наслаивались друг на друга, порождая цепную реакцию веселых пушечных залпов. Небывалый беззвучный салют приветствовал нас. Видимо, игривые кружевные грибки для природы не приобрели никакого катастрофического смысла. Гриб, пусть себе и ядерный, – всего лишь известное природное явление. Ничего сверхъестественного. Нам нравились грибы.

- Что я разглядел в тебе? – переспросил я, абсолютно неприлично обводя ее глазами. – В тебе нет ничего особенного. Но когда я смотрю на тебя, мне всегда приходит в голову одно и то же: женские ноги должны быть именно такими, как у тебя, грудь – именно таких размеров, роскошная задница...

- Вы забыли, что я невинна.

- Ах, да, увлекся. Кстати, о твоей невинности. Ты еще не была с мужчиной?

- Представьте себе – нет. Я даже не целовалась как следует.

- Значит, сейчас будет первый поцелуй?

- Сейчас ничего не будет.

Однако губы наши слились, медленно и неотвратно.

- Кошмар, - пробормотала Маруся. – Я чувствую себя преступницей. Но мне еще никогда не было так хорошо.

- Сейчас будет еще лучше. Немного сомкни губы.

Она сделала именно то, о чем я просил, и поцелуи стали «держаться», стали длительными и влажными. Маруся не на шутку заволновалась, а я просто потерял голову.

- Нет, нет, - говорила она, хотя я ни о чем ее не просил.

- Да, - неизвестно на чем настаивал я.

Какое-то время понадобилось нам, чтобы придти в себя. Мы помолчали.

- Если бы у меня не было жены, я бы сказал, что люблю тебя. Но поскольку я не должен этого говорить, я скажу так: мне все труднее и труднее жить без тебя.

- Звучит не очень весело, - улыбнулась Маруся.

- Да, невесело. Придешь завтра ко мне?

- Это невозможно.

- Мы уже столько раз перешагнули через невозможное...

- Это совсем, совершенно невозможно.

Я закрыл ей рот поцелуем и одновременно развел рукой бедра.

Маруся вскочила и, ни слова не говоря, медленно двинулась вдоль набережной, давая мне возможность настичь ее и крепко обнять за талию.

- Так почему вы рисуете мерзкие тени? Вы мне так и не объяснили.

- Теперь мне очень просто объяснить тебе это. Если ты придешь ко мне, я покажу тебе одну картину. И ты все поймешь.

- Как называется картина?

- Не знаю. Там изображен пестрый луг. Но я бы назвал картину «Любовь» или «Преодоление смерти». Что-нибудь в таком духе. Из пестроты рождается симфония, из немыслимых сочетаний творится гармония... Это глупо объяснять. Там я справился с тенью. Придешь?

- Вы прельщаете меня «Любовью», милый Малахов? Это жестоко. Обещайте мне, что вы не будете позволять себе...

- Как ты могла подумать такое! – возмутился я и нежно привлек к себе ее губы. Поцелуй был сладким, словно ощущение славно прожитой жизни. Маруся не сопротивлялась.

Она пришла – и это было единственное, что я мог предсказать в тот вечер. Все остальное, случившееся с нами, было неправдоподобно и несбыточно. Как описать реальность нереального?

Приходилось ли вам испытывать странное, потрясающее чувство: на ваших глазах сбываются ваши мечты? Первое впечатление такое: вас или обокрали – или крупно вам недодали. Словом, бедность, невыразительность счастья неприятно поражает. Проходит час – и до вас вдруг доходит: с вами случилось то, что вы считали и считаете полным и невозможным счастьем. Через два часа вы понимаете, что вам больше нечего пожелать. Вдумайтесь: нет ничего такого в целом мире, что отвлекало бы вас от вашего счастья, что могло бы увеличить его. Только здесь и сейчас, и больше ничего не надо. Остановись, мгновенье. Это ведь больше, чем любовь. Страшно только из-за того, что этого могло не произойти. Через три часа эмоции раскалены настолько, что слезы выступают на глаза по всякому поводу. То, что казалось бедным и невыразительным, начинает сверкать и переливаться тропической

густотой красок. Через сутки вы уже не знаете, куда вам деваться от боли. Боюсь, слова бессильны...

Маруся отдалась мне в тот момент, когда увидела мой пестрый луг. Все дальнейшее было неторопливым слиянием наших тел. Боже мой, я уже забыл, что значит быть наедине с любимой женщиной. У меня было много женщин, я не утратил вкуса к молодому женскому телу. Но тело любимой женщины... Сказать, что я обезумел, было бы не вполне точно. Я красиво и последовательно сходил с ума. Любое прикосновение к телу Маруси доставляло мне жгучее наслаждение. Я перецеловал ее всю, от бровей до пят. Вот оно, преимущество пятидесяти лет: я совершенно точно знал, что мне надо; мне было с чем сравнивать, я ни секунды не сомневался, что обладаю лучшей женщиной в своей жизни. В двадцать лет подобное чувство невозможно. Все еще впереди, все еще только начинается... А я знал, что лучше никогда уже не будет, нет никакого впереди. Есть только Маруся, есть только я, пока еще не старик, который никогда уже не будет моложе, чем есть он сейчас. Только старше, только хуже. Будущее может быть только отобранным настоящим. Ничего другого.

Наверно, Маруся не сопротивлялась. Она едва ли что-либо соображала. Прошел час, второй, третий. Мы почти не разговаривали. Думаю, она была потрясена. Я припадал губами к ее нежной розовой плоти, и мы проваливались в небытие, то есть в такое бытие, где реальностью было только тихое шуршание счастья. Время исчезло, пространство не имело значения. Я крепко обнимал ее, и мы оставались один на один с вечностью. Потом происходила серия вспышек, горизонт лучезарно взрывался и пропадал, истаивая в мягкой темноте, и мы медленно приходили в себя, отыскивая блестящими глазами опавшие лица друг друга. Странно: мне даже в голову не пришло говорить о любви. Не сомневаюсь, это было бы фальшью. Тут речь шла уже не о любви. И мне стало страшно.

Тело моей Маруси, ее движения, ее трепетное дыхание слились для меня в облик одной-единственной женщины. Казалось, у меня никого не было до нее. Ее запах, ее ритм, ее ласки были такими родными, что я не замечал их особенностей. Я только чувствовал, что мне всегда этого не хватало. Ее целомудрие, ее сдержанность, ее многообещающая неприступность переплавились в здоровую легкую страсть, возбуждавшую меня до самой бестелесности.

После того, как силы оставили нас, мы уснули, обвивая руками тела друг друга. Пробуждение было таким легким и радостным, что я почти физически ощутил боль, которая, по моим наблюдениям, всегда бывает равносильной эйфории. Мне всегда приходилось за все расплачиваться в жизни, и взлеты давно перестали радовать меня, ибо они определяли глубину падения. Вот она, каторга пятидесятилетнего: опыт портит все. Блаженство является предвкушением неизбежной расплаты, взлет воспринимается как высота падения. Как же идиотски устроена жизнь! Зачем же я так цеплялся за нее?

Утро было без раздумий отдано любви. Потом Марусе надо было идти.

Через три часа после ее ухода ко мне пришла боль. Настоящая боль в области сердца.

7

Куда могли развиваться наши отношения – трудно было сказать. Однако после этой ночи наши ведущие в тупик отношения окрасились в преступный цвет надежды. Помимо нашей воли. При всей грядущей и сущей безнадеге мы попали под очарование удивительно глупого чувства – открытости финала. Все ясно, никаких иллюзий, и вдруг появляется надежда, что может быть и не так, как должно быть со стопроцентной долей вероятности. Оторви нас в тот момент друг от друга – и мы могли просто физически засохнуть. Вот отчего нам необходима была надежда, хоть на какое-то время. Мы не скрывали друг от друга, что делаем глупость, что у нас нет будущего, и при этом улыбались, держась за руки. Детский сад.

Но тешить себя надеждами можно в двадцать лет. Чувство открытости финала злило меня, как, наверно, злит и дразнит опытного путника в пустыне ускользающий мираж. Нельзя было поддаваться этому завораживающему и гибельному ощущению. А на трезвый и решительный шаг не было сил.

Но иногда ни о чем не надо беспокоиться. Все устроят за вас – и в лучшем виде. Для отбившихся от рук счастливцев у судьбы всегда припасено несколько взбадривающих и отрезвляющих пиллюль. Природа, как известно, не терпит пустоты. Что я имею в виду в данном случае?

Беременность. После первой же нашей ночи у Маруси наступила беременность.

Наша жизнь, исковерканная счастьем, сорвалась и покатилась под откос. Было не разобрать, то ли она сломана, наша жизнь, то ли выстраивается заново. Мне предстояло объяснение с женой, которое я, не привыкший обманывать себя, называл не иначе как избиением или истреблением младенцев. Нет-нет, речь шла не о Марусиной беременности, а о младенческом неведении моей жены, о ее неготовности увидеть жизнь с этой стороны. Я был для нее гарантом здравого смысла, честности и справедливости. Я служил опорой, был качеством и свойством мира. Мир был таким, потому что в нем был я. Меня это устраивало, даже где-то льстило моему умению так привязывать к себе людей, и я сам приложил немало усилий к тому, чтобы жена оказалась человеком беспомощным. И вот теперь мне предстояло задушить ее собственными руками.

Теперь я проклинал всякую ложь, особенно ложь во спасение. Если бы жена знала меня таким, каким я был на самом деле, мне не пришлось бы исполнять роль палача. А палачом я должен был стать непременно. Было две жертвы, или даже четыре, если считать моего сына и еще не родившегося ребенка.

В тот момент я забыл, что жена не смогла бы жить со мной настоящим, не приукрашенным слегка, и никто бы не смог, даже я сам, поэтому я и прикидывался другим. Когда это началось?

Я с чистой совестью стал казаться не тем, кем я был на самом деле, очень давно. Сейчас даже и не вспомнить. Я очень рано и счастливо открыл для себя закон взрослых: быть самим собой – неприлично и невозможно. Это табу. Очень быстро и прочно я усвоил главный принцип бытия, который заключался в том, что все почему-то должны обитать одновременно в двух разных мирах: в условном, который видят все, и за поведение в котором тебе выставляют безусловные оценки, и безусловном, своем, личном, где втайне удивляешься идиотизму мира условного. Я позволил себе посмеяться над дамой, похожей на бульдога – и на меня тотчас спустили собаку. В сущности, собака здесь не при чем; это дама покусала меня. За что? За то, что я позволил себе быть самим собой. И дело даже не в том, что у меня был свой особый, скрываемый ото всех мир. У каждого есть свой мир. Это еще не преступление. Дело в том, что я очень быстро сообразил, что такие, как я настоящий, на этом свете не живут. Им просто не позволяют жить по своим правилам, не позволяют смеяться над другими. Вот почему я делал вид, что мне нравится манная каша, арифметика и пионерский лагерь. Мне «нравились» классная руководительница и равнодушный ко мне отчим. Я скрывал, что обожаю краски, и скучным тоном просил купить акварель «на нужды класса». Отчим злился, я делал вид, что понимаю его гнев. По-другому выжить было нельзя.

Потом я научился делать вид, что выдуманное сочетание красок – это великое искусство, а великое искусство – это коммерческий успех. Я научился делать вид, что уважаю почтенную публику и очень ценю ее мнение, хотя на самом деле презирал и то, и другое.

И вот теперь по правилам этого мира я не должен был любить Марусю. Это было неприлично. Я должен был сделать вид, что испытываю к ней нежные отеческие чувства, которых мне недодали в детстве. «Ты не забыла надеть варежки? Надень штанишки: девочкам вреден холод».

Я смотрел на Марусю и думал: мог ли бы я прожить другую жизнь, в которой я был бы самим собой? Можно ли отменить закон, предписывающий жить одновременно в двух мирах?

Жена выслушала меня с холодной вежливостью. Переспросила, правильно ли она поняла, что я собираюсь от нее уходить. К другой, правильно? Я подтвердил, что с большим сожалением вынужден это сделать. Ребенок? При чем здесь чужой ребенок? Я ответил, что это мой ребенок. После этого жена пообещала, что покончит жизнь самоубийством и достанет меня даже на том свете, даже если ради этого ей придется спуститься в ад. Я был тронут такой преданностью. Впервые в жизни мне показалось, что я недооценил степени жизнеспособности своей родной жены. Мне даже показалось, что она давно догадывалась, кто я есть на самом деле. Может, не догадывалась, но все же была готова к тому, что я могу оказаться живым и сложным человеком.

Боюсь, что и она давно жила в двух мирах. Мне было в жесткой форме указано на то, что у всех случается «седина в бороду – бес в ребро». Для художника – это норма. Случается – и проходит. Это закон. Надо возвратиться к жизни, которая струится в режиме «ничего не случилось и

случиться не может». И все забыть. «Так надо. Так живут все». Последние слова жена повторила, как заклинание, как цитату из книги, которая священна для всех людей, и потому правота ее не подлежит сомнению.

8

С какого-то времени меня не покидало ощущение, что я не просто живу, не просто решаю свои, человеческие, проблемы, но при этом сражаюсь с Кем-то или Чем-то невидимым, опутавшим меня паутиной дурацких законов, священных для кого-то обязательств, железных принципов. Все эти правила были направлены против меня, но как-то легко не замечались другими. Тут был тоже какой-то закон, но мне не хотелось формулировать его – и тем самым закабалить себя еще больше. Я и так был за решеткой.

Существовал какой-то невидимый, неосязаемый и негласный, но несомненный заговор против меня, против моего права быть самим собой. Я что-то нарушал, переходил какую-то грань – становился преступником. Все это было как-то связано с Марусей. Не только с ней, конечно, однако в первую очередь с ней.

Во мне все больше и больше вскипала и нарастала волна сопротивления. Мне предлагалось как приличному человеку стыдиться своей любви, прятать глаза, чувствовать себя виноватым. Мне же хотелось возражать все громче и громче, и все выше поднимать голову, чтобы оттуда, с высоты, наплевать на их книгу.

Я не просто любил Марусю, я незаметно для себя втянулся в сражение за свободу человека. На каком-то этапе меня пронзило волшебное и губительное чувство: ощущение, что мне нечего терять. Я был опьянен чувством свободы. В такой момент человек становится неудержим: он готов либо победить, либо умереть. Это страшная решимость, потому что она делает человека уязвимым и нежизнеспособным. Он может только побеждать; жить он не может.

Но как же все, опутанные паутиной законов и связанные невидимыми нитями, чувствуют, что ты бросаешь им вызов, хотя ты и не думал оповещать их о том, что вышел на тропу войны! Казалось бы, какое дело бельгийцам и немцам до моих проблем? Но они перестали покупать мои картины, тем самым грубо вмешавшись в мою личную жизнь и проявив солидарность со всеми теми силами, которые выступали против меня. Разве не заговор?

Толпы дилетантов по-прежнему посещали мою мастерскую, моя репутация неподражаемого колориста, к сожалению или к счастью, все еще работала на меня. Но они тут же поджимали губы, когда я им вместо дешевых колористических разводов подсовывал нечто для них неожиданное: пестрый луг под названием «Любовь», косматые «Тучи», от которых они отскакивали, как ужаленные, многочисленные портреты моей Маруси, пушистых кошек, которых обожала Маруся, небеса.

У меня стала появляться другая репутация. Пошел слухок (пущенный друзьями, не сомневаюсь), что я деградирую. Мои лучшие картины они посчитали деградацией! Придумайте способ, как досадить мне больше!

Можете и не стараться. Это древнейший и вернейший способ борьбы всех против одного. Им, друзьям, недругам и всем, кому на меня наплевать, нужна была сиреневая мазня, я это отчетливо понимал. Я должен был сделать вид, что слегка почудачил, и вернуться к своим условным теням, облакам и деревьям, – всему тому, что при известной сноровке мог бы намалевать любой пьяный бобер своим мокрым хвостом. Мне нужно было отказаться от себя – и тогда бы мне все простили, да еще и приняли в свои ряды как героя.

Но я с некоторой гордостью, которая смешивалась с колким холодком в груди, чувствовал, что меня физически отвернуло от мазни. Я просто не мог, не в состоянии был отказаться от себя: вот в чем была моя проблема. Я вмиг разучился рисовать незамысловатые колористические композиции, которые были под силу любому презренному маляру, и даже маляры имели право меня презирать.

Я работал до изнеможения, как бешеный, над целой серией картин, сюжеты которых, оказывается, поднакопились в запасниках моей памяти за целую жизнь. Оказывается, я душил сам себя, успешно переселившись в свой условный мир, и не давал моему дару раскрыться. Любопытные, оригинальные идеи и цветовые решения тихо угасали в моем воображении, сворачиваясь тлеющими комочками, но не исчезая окончательно. И вот сейчас, к моему удивлению, они встряхивались и оживали, словно спящие до поры до времени бабочки, обретая второе рождение. Их крылья чутко вздрагивали, будто хрупкие опахала, они легко отталкивались и без напряжения снимались и улетали. Бабочка за бабочкой. Целый рой картин создавался сам собой. Одних видов Свислочи набралось более десяти.

Я так и не добил сам себя; я все еще жил, подчиняясь какому-то антиобщественному закону.

Плотину прорвало. Меня знобило от творческой лихорадки, однако у меня заканчивались краски, на исходе были холсты. Мне позарез необходимо было продать несколько картин. Для того чтобы оставаться собой, надо было понравиться им. Я бы ни секунды не задумываясь проткнул насквозь своей лучшей кисточкой автора этого прелестного закона.

И чудо свершилось. Нашелся один бельгиец, который, судя по всему, влюбился в мой пестрый луг. Он также очень заинтересовался картиной «Тучи», а я, конечно же, им. Его звали Ренэ. Я не видел его, и даже не представлял себе: они все были для меня на одно бюргерское лицо. Он связался со мной по телефону, честным баритоном сдержанно похвалил картины (я почувствовал, что он сделал вид, будто бы спокойно относится к моему лугу), – и я оторопел от названной им суммы. Это была фантастическая для меня сделка. С огромным количеством нулей. Мои финансовые проблемы решались на многие годы вперед. Бельгиец был не собирателем мазни с претензиями, а частным коллекционером с именем. Картина моя не исчезла бы, не канула в Лету провинциальной коллекции (милая Лета всегда представлялась мне в виде одной из живописных излучин Свислочи), а, напротив, стала бы появляться на выставках. Все это четко

оговаривалось в контракте. По-моему, Ренэ учуял что-то небывалое. В таком случае картина уходила к нему за гроши.

Мне вдруг резко расхотелось продавать картины. Однако обстоятельства, которые были то ли за, то ли против меня, вынудили Herr Malakhoff пойти на компромисс. У меня, очевидно, просто не было другого выхода. Ренэ не просто торопил; он в мягкой форме поставил жесткий ультиматум. На следующий день он уезжал. Времени на раздумья не было.

И я понес обе картины по указанному адресу. В одной руке я нес холсты в рамах, в другой – пакет с апельсинами для Маруси. Она резко отдалилась от меня. Не обиделась – а именно отдалилась. Она знала, что мне предстоит нелегкий выбор. Сой выбор она уже сделала: она с самого начала решила жить свою жизнь. Она и слышать не хотела об аборте. Ребенка она оставляла независимо от моих решений и от чьего бы то ни было мнения. Меня приятно удивила сила ее характера.

В сущности проблемы выбора передо мной не было. Я выбрал сам себя, свою свободу – то есть союз с Марусей. Но надо было реализовать свой выбор, воплотить его в жизнь. И я не торопил события, мудро, как мне казалось, выжидая. Творческий подъем – был лишь следствием правильно выбранной перспективы. Я все делал, как мне казалось, правильно. Вот и деньги пришли весьма кстати: тоже следствие верной политики. Когда начинает везти – везет во всем, и по крупному, и в мелочах.

Странно: Марусе нравилась моя творческая активность, жене – не нравилась. Только разменяв шестой десяток лет, я встретил, наконец, свою женщину. Да, затянулась моя молодость. Может, начиналась счастливая полоса в моей жизни?

Я долго не мог найти дом номер пятьдесят. Сорок девять – вот он, я обошел его три раза. Пятьдесят один – рядом, на горочке. Где же дом номер пятьдесят?

Нехорошие предчувствия шевельнулись во мне. Если дома нет, значит, адрес, скорее всего, указан неправильно. Четная сторона обрывалась сорок восьмым домом. О пятидесятом никто ничего не знал. Но это чертовщина! Это же нелепая случайность! Если коллекционер ошибочно назвал мне адрес – я останусь без денег, а мир – без моего шедевра. Этого не может быть! Я только-только собираюсь начать жить. Нельзя отбирать у меня эту возможность: это было бы слишком несправедливо. Слышите?

Однако дом номер пятьдесят как в воду канул. Вернее, я отыскал только фундамент дома, похожий на руины, который был заложен еще несколько лет тому назад. Меня уверяли, что это будущий пятидесятый, желая, очевидно, успокоить меня.

Квартира мне была указана двадцатая. Я обошел все квартиры под номером двадцать во всех близлежащих домах. Телефона мр. Ренэ у меня не было. Приятели, а также приятели приятелей, не говоря уже о друзьях, никакого Ренэ не знали и слыхивать о таком не слыхивали. У меня не было оснований им не верить. Участковый милиционер, молодой лейтенант с перебитым носом, из-под тусклой лампочки скучно смотрел на меня и на

упакованные картины и ничего не объяснял. Скорее всего, он даже не понял, о чем идет речь. Спасибо, что хоть отпустил с миром.

Я сделал все что мог.

Сработал Закон дома, и я остался без денег. В утешение мне тучи на небе выстроились в таком грозном порядке, как у меня на картине. Сама природа подражала мне. Наверное, это были хорошие картины. Может, и к лучшему, что мне не удалось их продать?

И я пошел к Марусе, чтобы, наперекор всем законам, объявить нас законными мужем и женой.

9

Наступила уже поздняя осень, а я все еще никак не мог расстаться с летом. Можно сказать, моя жизнь канула в лето. Мне никак не давался простой натюрморт. Апельсины, разбросанные по столу, сколоченному из простых досок. Я заметил одну особенность: когда апельсины растерянно раскатываются, у меня получается печальный натюрморт, а когда они собраны, сбиты в упругую кучку, отчего-то возникает бодрящее чувство. Я никак не мог определить необходимой мне меры разбросанности, и натюрморт не клеился.

Я возился с апельсинами, словно с шарами на бильярдном столе, играя против кого-то решающую партию. При этом кисть я держал, как кий или пику наперевес. Сердце дергалось неровными толчками. Неужели начинался творческий кризис?

Причины для этого были. Собственно, две причины. А может быть, дело было и не в причинах, а в каком-то еще неведомом мне грозном законе?

Причина первая была связана с моей женой. Боюсь, теперь я недооценил степени любви моей жены ко мне (или к себе: в этом было сложно разобраться). Она сделала попытку суицида, грубую и безобразную: отравилась моими, с таким трудом добытыми красками, предварительно наглотившись каких-то успокоительных пилюль. Ее реанимировали и привели в чувство. Сейчас она лежит в больнице в состоянии глубокой депрессии. Я ношу ей сок. Разумеется, она отказывается видеть меня, хотя неизменно интересуется моими делами (об этом во всех подробностях рассказывает мне сын).

Причина вторая была связана с Марусей. Она тоже лежала в больнице. Ее сбила ехавшая навстречу легковая машина, которая именно в том месте дороги, где находилась Маруся (кстати, по всем правилам дорожного движения бредущая навстречу движущемуся транспорту), поравнялась с грузовиком. Проклятый Закон дороги оказался сильнее условных Правил дорожного движения. Маруся уцелела. Однако в результате шока у нее случился выкидыш. Маруся тоже находится в состоянии глубокой депрессии, и даже картина «Любовь», висящая над ней на стене, мало ее вдохновляет. Я ношу ей апельсины. Она печально смотрит на меня и ничего не говорит.

- Что ты делала на дороге в ночное время, Маруся?

- Хотела убедиться в существовании Закона звезды.

Я опять оказался в ситуации выбора, только я плохо представлял себе, что мне предстояло выбирать на сей раз.

Работаю над повестью. Посвящу ее Марусе. Пытаюсь понять Закон законов, существующий в еще нигде не изданной книге, но царящий в мире легко и непринужденно. Мне помогает в этом природа. Мелкий снежок порошит беззвучно и лениво, словно равнодушный песок в песочных часах. Снег порошит – время утекает.

Вот это равнодушие снега ко времени внушает уважение к природе, которая не терпит пустоты и фальши, заставляет вслушиваться и вживаться в беззвучные ритмы. Время исчезло, пространство перестало иметь значение. Я остался один на один с вечностью в сером многоэтажном доме на окраине большого города...

P.S. Герой этой повести умер от сердечного приступа. Произошло это на улице, среди многочисленных прохожих, в тот день, когда он дописывал свою рукопись. Оскар Малахов неловко завалился на спину, на лице его застыла неопределенная улыбка, глаза были закрыты. Апельсины вывалились из пакета и широко раскатились по холодному асфальту.

Партия была окончена. Это случилось 17. 11. 2003 в 11 ч. 33 мин.

ПУСТОТА

1

- Вы несовременны в своих взглядах, - веско стояла на своем Будда, тайная поклонница Маркса, а возможно, и Герострата.

- Да, я проспал эпоху. Зато с какими женщинами! – возразил я в стиле веселых, находчивых и пустых.

- Шутить изволите? - она пыталась испепелить меня коричневым взглядом загадочных некогда глаз.

Я ей сказал:

- Существует несколько способов гарантированно испортить отношения со мной. Среди них есть универсальный: начать учить меня, профессора, как писать программу или учебник по дисциплине, которую я преподаю всю жизнь. Как правило, я охотно иду навстречу невежеству, и мы быстро достигаем результата – абсолютного взаимонепонимания. Вы собираетесь настаивать на том, что моя программа далека от совершенства?

- Вы должны... - последовал стальной скрежет, напоминающий изготовку гаубицы на благоприятной позиции перед решающим залпом.

Дальше я уже не слушал. Во-первых, мне было совершенно неважно, что она скажет после такого начала, а во-вторых, я уже знал, что она услышит в ответ.

«Я никому ничего не должен: запомните же, наконец, эту простую заповедь, когда вы разеваете рот в мою сторону» – было самое мягкое из того, что я сказал. Разумеется, она оскорбилась.

Звали ее Лариса Георгиевна Державная. Была она заведующей кафедрой филологических наук Европейского гуманитарного университета (частного, негосударственного). Лично я звал ее не иначе как Будда – и вовсе не за поразительное внешнее сходство, и отнюдь не за то, что была она из местечкового Буда-Кошелева, а за страсть поучать и повелевать. Даже когда она молчала, подданные трепетали.

Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я походя объявил «Черный квадрат» некоего Малевича мазней, недостойной внимания просвещенной публики.

- Сия блажь достойна лапы годовалого макаки, если в данном случае важно указать на пол художника. Впрочем, годовалая самка, я полагаю, тоже вполне справилась бы, намалевала бы не хуже – хотя бы потому, что хуже не бывает, - завершил я свой краткий спич, обращенный куда-то в пространство и время.

Будда почему-то смертельно обиделась.

- Все считают это шедевром, и вы бы должны...

Словосочетание «вы должны» действует на меня магически. Апокалиптически. Оно ослепляет мое сознание и заставляет забывать об осторожности. Собственно, реакция на эти два самых распространенных в мире слова стоила мне места в Государственном вузе. Я долго не мог

растолковать самому себе, в чем тут дело. Наконец, сегодня, кажется, до меня дошло.

Учительство. Все дело в учительстве, которое я органически не выношу. В моем репертуаре общения с неумными и дубоватыми людьми есть один хорошо отрепетированный монолог, доставивший мне в жизни немало хлопот. Но, кажется, он хорошо мне удастся, и я иногда не отказываю себе в удовольствии произнести его перед оторопевшим слушателем. «Существует несколько способов...». И так далее. В разговоре с Буддой я привел его почти полностью.

Скажу больше: я терпеть не могу откровенно учительского тона не только по отношению к себе, но и по отношению к кому угодно, даже к детям. Такой тон уместен разве что по отношению к собакам или львам, да и то лишь к тем, которые к учению глухи.

Думаю, что здесь дело не во мне. Дело в закономерностях, порождающих сам феномен учительства.

Какой человек позволяет себе учительский тон – гнусные повелительные и безапелляционные интонации, – интонации, подчиняющие, порабащивающие другого человека? А?

Только тот, кто уверен в своем праве повелевать, вести за собой «неразумных».

В основе этого недоразумения лежит все тот же ненавистный мне комплекс: отсутствие ума, следствием чего являются твердые (они же благие) убеждения, определяющие пафос учительства.

Иными словами, учить стремится тот, кто обладает убеждениями, сформированными глупостью. Тип общения, который называется учительство, предназначен для людей, осваивающих жизнь бессознательно.

Вот почему там, где царствует религия, – там культивируется пафос мессианства, учительства. Учитель, окруженный учениками, – это форма удовлетворения социальных потребностей, ибо учить в этом контексте – значит, учить приспособливаться. Учить в этом смысле – значит, апеллировать к бессознательному, к душе. Вот почему отношения учитель – ученик принято характеризовать как душевные. Главные учителя, полководцы и всемирные главари, разумеется, Христос, Магомет, Будда и иже с ними.

Умный не учит общаться душевно (то есть не учит приспособливаться); более того, он даже не учит уму-разуму, уже хотя бы потому, что понимает, насколько безнадежно глупы те, кого приходится учить.

Умный принципиально не учит, то есть не становится в позу и позицию учителя; он учит (избранных, себе подобных) постигать законы – учит тому, что жизнью управляют законы, а не учителя. Это самый плохой учитель, которого только можно себе представить. Но в то же время это и лучший учитель: он может обучить искусству познавать нескольких умных, которые, безусловно, нуждаются в руководстве такого наставника. Хороший учитель, как видим, судит по себе; плохой, к сожалению, тоже.

Существует, правда, жанр невинного поучения. Я понимаю под этим общение двух равноправных субъектов в форме обращения одного, в силу возраста или опыта стоящего на более высоких информационных позициях, к другому, в силу возраста или опыта (но не по причине скудного разума!) находящегося на ступенях более низких. Больше опыта, знаний, больше шишек набил, старше возрастом, ближе к смерти – вот ты уже и учитель. В этом смысле каждый человек – учитель, как только он научился внятно говорить и поднялся с четверенек. Делиться опытом, предостеречь, помочь ближнему – всегда пожалуйста; но зачем относиться к этому серьезно, как задрипанный падре? Зачем устраивать цирк учительства? Поделится информацией – и свободен. Не впутывай других в свои проблемы и сам не путайся у них под ногами.

Обращение умного к дуракам – это только по форме учительство и поучение; по существу же это идиотизм чистейшей воды. Не уважаю.

Кажется, я начал за здравие, а кончил за упокой. Что ж, это доказывает только то, что самое трудное в жизни – не унизиться до учительства.

Я завалился на диван и легким нажатием кнопочки пульта включил музыкальный центр. Комнату заполнили звуки неземного блюза, трепетавшего в нервном solo гитариста, причудливо рифмовавшимся с хрипловатым вокалом, под который был бережно подложен страстный стон саксофона. Струны нежно ворковали о своем, а голос убедительно гнул свою линию. Хотелось плакать оттого, что хотелось жить. Блюз – это раздражающие вашу душу противоречивые чувства. Это музыка чутких взрослых, не желающих расставаться с юностью. Вот она, нужная нота прощания и одновременно готовность к новой любви, которая, еще не начавшись, уже тоскует в стиле блюз.

Я позвонил Наташе и сказал:

- Хочешь почувствовать, что у меня на душе? Послушай.

Музыка звучала еще несколько минут. Правой рукой я держал телефонную трубку возле колонки, а левой размазывал набегавшие слезы по щекам, на которых, казалось, я чувствовал пальцами бороздки еще вчера отсутствующих морщин.

- Как выводит, сукин кот, словно в последний раз, – произнес я охрипшим голосом, как бы извиняясь за невидимую мой собеседницей слабость.

- Здорово, - сказала Наташа. – Но что это значит?

- Это значит, - твердо ответил я, зная, что не ошибаюсь, - что ты выбрала не меня. Ты выбрала Олега.

До этой минуты мне и в голову не приходило, что проблема наших отношений – это проблема ее выбора. Свой выбор, как выяснилось, я сделал давно.

- Ты уверен?

- Абсолютно. Ты мой свет в окне. Я чувствую тебя.

Видимо, моя уверенность передалась и ей. Она легко согласилась со мной, и еще несколько долгих минут в знак благодарности мило щебетала в высоком регистре о чем-то неважном, унижающем нас обоих.

После того, как она положила трубку, я вновь пережил каждую ноту того же блюза.

2

Почти все профессиональные занятия гуманитариев бессмысленны.

Они, как правило, занимаются ничем, то есть ничем не занимаются. При этом тратится куча энергии, включается завидная работоспособность, они заставляют считаться с собой, тормозят других: масса людей приходит в движение, заражая друг друга тщеславием и корыстолюбием. Возникает иллюзия кипучей деятельности – иллюзия содержательной жизни.

На самом же деле они скрывают от самих себя пустоту.

Все это открылось мне после того, как я попрощался с Наташей. Оказывается, я не замечал возни вокруг себя только потому, что был занят своими переживаниями. Теперь, когда мне предстояло обнаружить новую точку приложения своих сил, выяснилось, что я не готов жить по их лекалам. И я, и они стали понимать, что я какой-то не такой.

- Ты тоже так считаешь? – развязно спросил я у девушки Веры, кажется, бывшей моей студентки (еще того, Государственного вуза), ныне молодой доцентши, продолжая свой внутренний монолог, спросил для того, чтобы услышать в ответ что-нибудь несомненно обидное для себя. Я находился в ссоре со всем миром, и мне хотелось драки. Я попросту лез на рожон. Честно говоря, после такого вопроса лично я тут же бы нахамил тому, кто имел наглость его задать.

- Нет, я так не считаю, - сказала Вера тихим голосом. – Я считаю, что вы талантливый человек, и все у вас получится. Вы чемпион, а не аутсайдер.

- О чем это ты?

Я впервые внимательно посмотрел в ее голубовато-серые с коричневыми крапинками перчинок глаза, казалось бы, неброские и невыразительные – ровно до того момента невзрачные, пока вы не начинаете внимательно вслушиваться в тихий голос и улавливать, что глаза что-то вам сообщают в тон голосу.

- О том же, о чем и вы. Не переживайте. Даже если вас и уволят, то потому только, что вы умнее их на голову. Многие вам завидуют из-за того, что вы такой сложный. Оригинальный.

- А что, меня могут уволить?

- Конечно. Разве не об этом вы спрашивали?

- Впервые об этом слышу. Для меня это новость.

- Странный вы человек, Лев Львович.

- Пожалуй, да, странный.

- И за что вас женщины так любят?

- А вы считаете, что любят? – почти искренне изумился я.

Она пожала плечами, дав понять, что напрашиваться на давно заслуженный комплимент так же нелепо, как и ломиться в открытую дверь.

Я проводил ее долгим взглядом. После неравнодушного тихого голоса и теплых серых глаз, ее подтянутая фигура тридцатилетней женщины буквально поразила меня. Во-первых, я мгновенно и с удовольствием восстановил в памяти, что всегда украдкой поглядывал ей вслед; во-вторых, я перестал понимать, отчего я стал считать, что такие фигуры – «безлико, подиумно красивые» – не в моем вкусе. Великолепных пропорций гибкое тело, стройные ноги с тонкими щиколотками, неопределенных размеров грудь (явно не крупная, однако что-то подсказывает, что именно грудь и удивит тебя всего более – чистотой линий и особой отзывчивостью), светло-русые волосы.

Мне всегда казалось, что в моем вкусе была Наташа. В моем вкусе – это, как мне казалось, крупноватая грудь, полноватые бедра и пухленькие губки. Все пышненькое, но без перебора. И обязательно темненькая, почти брюнетка. И что же? Чем все это закончилось?

Все закончилось печальным блюзом. Впрочем, нечего Бога гневить: на мой нынешний вкус эта музыка куда предпочтительнее марша Мендельсона. И даже, пожалуй, Реквиема жизнелюбивого Моцарта. Чтобы заводить семью, надо верить в будущее. В какое? В то, которое расцветет вслед за глобальным потеплением, следствием глобального идиотизма, насажденного учителями, вполне достойными своей неменяемой паствы?

На следующий день я вырядился, словно на собственные похороны – элегантный темный костюм в оживляющую тонкую полосочку, вольной расцветки галстук и однотонная бежевая рубашка, тщательно отглаженная. На лице, как у беззаботного дуэлянта, было написано: помирать – так с музыкой. Некоторая небрежность в наряде, свойственная холостякам и неудачно женатым, – небрежность, вызывающая коварную жалость у окружающих женщин, была изведена на корню. Вместо нее – вызывающий налет дендизма. Они должны были запомнить меня победителем.

- Вы должны... - начала было Будда, но уперлась взглядом в модный узел шелкового галстука (цвета «вырви глаз», разумеется) и замолчала.

- Следует оформить программу в соответствии с новыми требованиями. Даю вам на это ровно один день. Рецензии на программу получены положительные, как ни странно.

- Разве я не пишу заявление по собственному желанию?

- Нет, не пишете. У вас нет для этого никаких оснований.

- А собственное желание? Оно не является основанием для принятия жизненно важных решений?

- Оно не в счет. Вы должны...

Если вас отпускать невыгодно, вам ни за что не получить пинка под зад, вы будете выпрашивать эту милость Христа ради; скорее, начальство пнет само себя. В исполнении столбовой дворянки Будды (у нее ноги – столбиком) это выглядело потрясающе.

- Меня не уволили, - сказал я Вере.

- Я знаю, - ответила она, не поднимая на меня глаз. Я дерзко дождался, пока серые очи скользнут по моему лицу, споткнутся о мой прямой взор и робко замрут. Тонкими пальцами она убрала завитую прядь со лба. На безымянном пальце тускло сверкнуло обручальное кольцо.

Золото высшей пробы. Я как-то забыл о том, что она была замужем.

Вера тоже выглядела, как на празднике или на дне рождения, хотя ее, вроде бы, никто увольнять не собирался. Однако для меня праздник – ожидаемый день свободы – окончился вместе с тусклым салютом маленького золотого колечка.

Глупо, если разобраться. Золото всегда все портит: заманит и обманет.

Что ж, в том, что все кончается, даже не начавшись, есть своя тайная прелесть.

И об этом был осведомлен страстный блюз.

3

На следующий день в невнятных выражениях я предложил Вере пройтись после работы по парку вдоль Озера, широкими артериями-каналами разлившегося в самом центре перенаселенного Мегаполиса.

- Вы приглашаете меня на свидание?

Глаза ее были опущены.

- Нет, конечно. То есть, да. Отчасти. Погулять...

Правда была в том, что я и сам не знал, чего я хочу и зачем бормочу нелепицу, от которой уголки ее губ мило загибались в улыбке.

Я даже не сразу оценил, что Вера согласилась.

Только на Озере я сообразил, что у меня был великолепный повод и предлог: ни с того ни с сего в ноябре выдался солнечный, почти весенний по пафосу день. Нисколько не сомневаюсь, что именно из-за этого я и предложил «пройтись». Но вот обозначить солнечный день в качестве ни к чему не обязывающего аргумента и предлога отчего-то забыл. Солнце, которое я просто обожаю, напрочь вылетело у меня из головы.

- Какой сегодня день! – тихо воскликнула Вера.

После этого говорить о солнечных бликах на озере, о том, как отражаются большие деревья в светлой воде, как мир кувыркается и переворачивается на твоих глазах безо всяких на то оснований, было несколько неловко: складывалось впечатление, что ты перехватываешь созерцательную инициативу.

Но я, разумеется, говорил и говорил.

- Кстати, помните, какое сегодня число? – вдруг остановилась Вера у небольшого водопадика. Издаваемый им приятный шум не заглушал ее слов, напротив, придавал им значения.

Разумеется, я не помнил. С числами у меня всегда была большая напряженность.

- А не помните, что было ровно год тому назад, день в день, седьмого ноября?

Я, конечно, не помнил. Оказывается, у нас был банкет. По случаю окончания (или начала?) важнейшей конференции, о которой забыли раньше, чем прошло похмелье после банкета.

- И что же? – спросил я, внутренне сжавшись.

- Тогда был снег. Вы провожали меня домой и пытались поцеловать.

- Я?!

- Вы, вы, Лев Львович, кто же еще. Вы были такой неуклюжий и несчастный.

- Я был несчастный? Год назад я был в раю с Наташей. Видели бы вы ее бедра...

- Вы рассказали мне о своем рае, хотя я вас об этом не просила. В тот раз – без подробностей, надо отдать вам должное. А потом полезли целоваться. Из огня да в полымя.

Я что-то смутно припоминал. К сожалению, именно полез, или что-то в этом роде. Сказать «ах, да, я все прекрасно помню, просто на секунду вылетело из головы», как это всегда делает Будда, было бы глупо. Будду не интересует, верят ей или нет; Будда внаглую злоупотребляет благовидными предложениями. Мне же было далеко не все равно, как посмотрят на меня серые глаза. Хватит с меня в упор незамеченного солнечного дня. Поэтому я хмыкнул, неопределенно и вместе с тем застенчиво; при желании этот звук можно было принять за готовность к запоздалому раскаянию.

Солнце будто вприпрыжку, как на детском утреннике, рыжим колобком прокатилось по траектории, напоминающей полукруг мостика над речушкой или небольшую радугу над горизонтом, чтобы исчезнуть в пасти, утыканной зубами многоэтажек. Какой-то там урбанистический Крокодил Солнце в небе проглотил. Маленький аттракцион прямо у вас перед глазами, даже голову задирать не надо. Это летом вальяжное солнце пышной барыней, в криолине и с зонтиком, вразвалку проплывает по дуге у вас над головой, и к концу дня, превратившись отчего-то в собаку чао-чао и вывалив жаркий язык, устает больше, чем одуревшие от зноя люди.

Ноябрьский день был до обидного кратким. Тем более что я, кажется, вполне справился с некоторым оцепенением, и уже начинал нравиться самому себе.

Мне предстояло самое главное и ответственное: приглашать ее на следующую «прогулку», которую надо было четко и с беззащитной откровенностью называть свиданием, – или...

Или светским тоном поблагодарить за чудесно проведенный день. И в том, и в другом случае тон должен был быть решительным и уверенным.

Я же так и не понял, чего я хочу и чего добиваюсь. Я совершенно не мог прогнозировать ее реакции ни на одно из предложений. Что должна ответить дама, окольцованная раз и навсегда?

И тут я удивил сам себя. Глядя в ее глаза, в которых что-то светилось и переливалось, я взял ее лицо в руки и поцеловал. Медленно и осторожно.

Она не испытывала ни малейшей неловкости, что тут же передалось и мне. Губы ее были мягкими и предлагали себя с нежностью и трепетным ожиданием.

- Давай встретимся завтра. Или мы будем целоваться раз в год? – я начинал становиться похожим на самого себя, нащупывая вместе с шатрами ее грудей нити инициативы.

- Раз в год, пожалуй, маловато. Ты сладко целуешься. Давай встретимся завтра. Где?

- Здесь же, на этом месте. Это ведь так естественно – возвращаться туда, где тебе было хорошо. Таких мест немного на белом свете, поверь.

- Я согласна.

- Меня опьяняет, когда я слышу от тебя «ты».

- Меня тоже...

Наутро выпал первый снег, закрутила пурга, и свидание наше отменилось по причине разыгравшейся непогоды (мы, столкнувшись в коридоре, улыбнулись друг другу глазами и развели руками: дескать, не судьба). К вечеру мне стало казаться, что я целовал Веру давным-давно, еще до того, как в моей жизни появилась Наташа.

Потом я представил, что и Вера испытывает то же самое в своей уютной теплой квартирке, на диване, прижавшись телом к мужу и рассыпав свои локоны на его бережно подставленное плечо.

Блюзу, как выяснилось, знакомо было и это настроение.

4

Пустота, по-моему, окрашена в мышинный серый цвет с оттенком некоторой голубизны.

Если бы я был кинорежиссером, я бы попросил кинооператора направить камеру сначала вверх, в смутно-серое марево, и замереть на неопределенное время, чтобы почувствовать томительную тяжесть давящего серого. Затем камера под грузом серого безвольно скользнула бы вниз, цепляясь за верхние этажи серых небоскребов; затем, царапая серые стены и обнаруживая серость во всем: в ровных линиях окон, балконов, квадратных панелей – камера тупо уткнулась бы в серый фундамент, эту серую точку отсчета. Потом камера заметалась бы вправо, влево. Земли не видно. Кругом грязно-серый снег (так некстати выпавший вчера). Созерцание мира непременно закончилось бы мутно-серыми небесами (небоскребы проскочили бы двадцать пятым кадром), где камера обнаружила бы воображаемую условную точку, за которую кто-то словно подвесил серую камеру.

Наконец, дневной свет медленно бы погас, то есть серость истаяла бы, превратившись в подбитую серым покрывалом тьму.

Это был мой образ мира. Изредка сквозь серую пелену в мои унылые владения пробивалось зимнее солнце, устраивая мне маленький праздник.

Теперь вам понятно, что значило для меня вторжение в серый мир жемчужно-серых глаз?

Тут дело было вовсе не в Вере; дело было в том, что невозможно было жить в сером мире. Умом я это понимал. Почему же я так легко расстался с Наташей?

Терпеть не могу простых вопросов, отвечать на которые надо долго и вдумчиво. Ответ есть, но он затерян где-то в тех серых дебрях, в которых ум пересекается с душою, образуя непролазные джунгли. Продерешься через них, оцарапав в кровь кулак, намертво сжимающий мачете, – а через день-два тропинка бесследно зарастает. Каждый день туда не находишься. Да и зачем?

Достаточно того, что я знаю: ответ есть, хотя не скажу, что он меня устраивает.

Я бы ответил так (если бы кто-нибудь равнодушный настаивал на ответе): я ведь выбирал не девушку, на которой собирался жениться. Я выбирал вариант будущего – будучи уверенным в том, что пустота, заполняющая мою жизнь изнутри и снаружи, не может быть будущим. У меня не было стимула заглядывать в будущее: таков был стержень моей жизни.

Веру я не выбирал; она просто оказалась рядом. В самое неподходящее время в нужном месте.

Я знал, что я должен сделать: я должен забыть Веру.

Поэтому я врубил блюз.

5

Прошла неделя.

Меня разбудил телефонный звонок. Едва открыв глаза, я стал соображать, не проспал ли я лекцию. Не то чтобы со мной случалось такое, но оно вполне могло случиться, ибо интерес к работе я утратил, кажется, самым радикальным образом. Мне осточертело преподавать, учить никому не нужному ремеслу – понимать литературу – неизвестно кого.

Работа: вот еще одна проблема, которую мне надо было решать...

Ладно, как-нибудь потом. Начну с ближайшего понедельника.

Поднимая трубку, я прокашлялся и кремниевое настроился на повелительные интонации Будды.

- Почему ты не звонишь?

Это был голос Веры. Я совершенно опешил – то есть я не был готов к тому, чтобы когда-либо заговорить с ней так, как мы говорили на озере в тот сумасшедший солнечный день.

- Ты уже забыл о моем существовании?

- Я просто сплю, Вера. И мне, если честно, хочется забыть о своем существовании. Какой сегодня день?

- Понедельник.

- Вот как? Ты хочешь сказать, что вчера было воскресенье?

Теперь мне стало ясно, почему я не находил себе места в выходные.

Позвонить ей я не мог, мне все мерещился муж со своими развернутыми мускулистыми плечами. При этом я ни на секунду не забывал, что я не должен ей звонить вообще. Ни в воскресенье, ни в понедельник. Никогда.

«Мой дом. Моя крепость. Мои русые волосы моей жены. А ты, лишний, изыди». Что тут скажешь? Он прав.

- Я сейчас приеду к тебе. Назови адрес.

В ее решительном тоне было столько доверия ко мне, что я окончательно разволновался.

- Конечно... Конечно, назову, мой адрес, - бормотал я, выигрывая время. Дело в том, что адрес моей квартиры, в которой я проживал последние десять лет, напрочь вылетел у меня из головы. Пришлось лихорадочно нашаривать паспорт в верхнем выдвижном ящичке комода (важные бумаги у закоренелого холостяка всегда в относительном порядке, то есть знают свое место в мире, в отличие от их владельца), искать в паспорте (сколько же там лишних страниц, украшенных государственными гербами!) штампик с отметкой о прописке и небрежным тоном диктовать:

- Записываешь? Проспект Победителей, дом...

- Это же в двух шагах от меня. Я буду у тебя через пятнадцать минут.

Я застыл с трубкой в руке. Мне пришло в голову: а вдруг у меня начался склероз? Забыть собственный адрес: это надо умудриться. Как меня зовут?

Ну, это просто. Надо запомнить только имя. Меня называли в честь отца, строптивного человека с добрейшей душой. Получилось что-то звериное и ласковое: Лев Львович. Фамилия?

«Кажется, ваша фамилия на букву А», - сказала мне Будда при первом знакомстве, желая проявить вежливость, то есть намекая на то, что она интересовалась моей персоной (в чем я сильно сомневаюсь). «Совершенно верно», - ответил я. «Романов». «Значит, все же на Р?» - смерила она меня взглядом. «Боюсь, что да», - расшаркался я, как персонаж нелепого английского фильма, показывая, что тоже имею представление о вежливости.

Помню, помню.

Потом я вспомнил, что забыл о самом главном: «через пятнадцать минут». Склероз, склероз. Надо как-нибудь к врачу, в ближайший понедельник. Нет, понедельник у меня, кажется, занят. Хорошо, во вторник. Нет, во вторник у меня лекции. Может, в среду? Что у меня в среду?

Я ринулся в ванную, приводить себя в порядок. Мокрые волосы, майка с надписью СССР, джинсы – и вот он, звонок в дверь. Через четырнадцать минут.

Через пять минут я уже стаскивал с себя джинсы с майкой, галантно распахивая мою еще неостывшую постель.

Такой женщины у меня не было никогда. Я уже вышел из того возраста, когда мужчина все еще втайне смущен байками о kloкочущем темпераменте удивительных смуглых дев, не встречавшихся пока на его пути, и завидном искусстве мачо, способном раззадорить даже русалку с холодной скользкой чешуей. Я видел всякое, и не ожидал ничего такого, что могло бы меня удивить. Но я был изумлен и взволнован (хотя осознал это только на следующий день – и склероз здесь, прошу заметить, не при чем: это фокусы подсознания). На каждое мое прикосновение Вера реагировала, как на горячую, холодную или теплую воду. Казалось, в ее кожу вмонтированы

сверхчувствительные датчики, которые заставляют ее каждую секунду вздрагивать, переживать и томиться. Я быстро оценил эту ее способность не оставаться равнодушной к тактильным контактам, и любое прикосновение старался превратить в теплую ласку – при этом незаметно втягивался в сладкий, творческий процесс, и мы всякий раз доводили начатую игру до волшебного исступления. Через некоторое время все опять повторялось с прежней интенсивностью, хотя мы должны были устать. Но мы не уставали.

Мы попали в сказку.

Это была бесподобная сексуальная сессия. Вера не рвала пододеяльник, не орала, не кусалась и не царапалась. Никаких внешних проявлений необузданных желаний, никаких африканских экстазов. Но она настолько искренне и самозабвенно отдавалась мне, тихо и страстно, что я опасался только одного: как бы мне ее не подвести.

И я не подвел ее. Ни разу.

Наутро я открыл глаза – и сразу вспомнил Веру. Я перебирал в памяти нашу вчерашнюю встречу и поражался тому, насколько ярко я помню все детали. Меня буквально мучил один вопрос: неужели она и своему мужу отдается именно так, с закрытыми глазами и тихими, всхлипывающими стонами (сдерживаясь изо всех сил), и потом благодарно целует его мягкими губами в шею, долго не выпуская из своих объятий?

Неужели в нашей сессии не было ничего личного?

Я назвал ее «моя ласковая девочка» – и почувствовал, как учащенно забилось ее сердце. Неужели муж тоже называет ее «моя ласковая девочка»?

Какая разница: было или не было, называет или не называет? Это ничего не меняет. У меня гостила чужая жена, которая не может быть мне близким человеком, – вот она, грубая реальность. Все остальное – миражи, фантомы, и надо избавляться от них, чем скорее, тем лучше. Я должен.

Но мой ум не управлял моим воображением. Перед глазами колыхались белые холмы, которые я освободил из-под крепких шатров. Моя постель хранила наши запахи. Я вынюхивал их, хищно раздувая ноздри, и сердце мое колотилось: я чувствовал, что мне чего-то не хватает, какого-то жизненно важного компонента, без которого организм преждевременно стареет и перестает сопротивляться немощам и болезням.

А о чем мы разговаривали? Я никак не мог вспомнить содержание наших бесед. Хотя говорили мы долго: Вера ушла от меня под вечер. Наверное, все же склероз маячил на горизонте. Придется в среду идти к врачу за талончиком. Если, конечно, не просплю.

Нет, кое-что я все же помню. Она сказала: «Сначала я влюбилась в тебя. Потом, благодаря тебе, в литературу. А потом еще больше в тебя...» «Почему же ты мне ничего не сказала об этом?» «Ты казался мне недосягаемым. А потом эта твоя Наташа... Забыл?» «Когда ты вышла замуж?» «Давно». «Зачем?»

Она закрыла мне рот своими мягкими губами. Моя рука уже сжимала крутой упругий холм. Вера издала тихий стон, после которого я впился в ее губы. Ее прерывистое дыхание. Я уже весь состоял из одного чистого

звнящего желания. Опять тихий стон. И вот он, главный прорыв, после которого все перепуталось: она, сопротивляясь, отдавалась мне, я сражался с ней и с собой, наши ноги немисливо сплелись, а души, кажется, срослись. Мы что-то безумно шепчем друг другу – и вот оно, солнце, ослепляющее своим сиянием все вокруг, вырывается из тьмы под наши стоны...

Разве не стоило преподавать всю жизнь, чтобы оказаться в постели с такой женщиной, своей бывшей ученицей?

Интересный вопрос. Надо его обдумать.

Кстати, как она ушла?

Не помню...

Ах, да, я проводил ее до дверей, дальше она не позволила. Я долго гладил ее тело под свитером, на который уже была наброшена шубка, стараясь запомнить рельефы и выпуклости. Глаза мои закрыты (так лучше запоминать). Утомленные купола под шатром. Мягкий и одновременно упругий живот. Жесткая шерстка. Тихий смех сопровождал движения моих ладоней. Поцеловала ли она меня?

Не помню.

Холодный лязг замка – и я остался один.

Сейчас закрою глаза, потом открою их и одновременно улыбнусь своему отражению в зеркале. Вот он, миг успокоения. Это моя простая йога, которую я рекомендую всем закоренелым холостякам. Обычно я наслаждался тем, что остаюсь один. Что ни говори, испытываешь особое удовольствие, когда женщина уходит. С ней хорошо, а без нее – еще лучше. Удовольствие быть вдвоем сменяет ни с чем не сравнимый кайф одиночества. Никому ничего не надо объяснять. Когда ты один, ты всегда и во всем прав.

В этот раз все было по-другому. Мне сразу же стало отчетливо плохо. И я с возмутительной ясностью сознался, что так случилось в первый раз в жизни. Мне предстояло самому себе кое-что разъяснить. Никуда я в среду не пойду. Кстати, в среду ко мне придет Вера. Улыбнулся я только в этот момент. И только после этого закрыл глаза. Сразу же включилось внутренне зрение: мои ладони, плотным куполом облегающие холмы, особое движение бедер, абсолютно бесстыдное, если бы не врожденная целомудренность моей девочки...

Пришлось открывать глаза. Во-первых, слезы, от которых становилось жалко самого себе, а во-вторых, заныло сердце. Да. Сердце плюс склероз. Самое время начинать новую жизнь. Во-первых, в прошлое верится с трудом, ибо оно забыто, а во-вторых, будущего не должно быть слишком много: сердце.

И то, и другое меня устраивало.

Впервые блюз зазвучал в моей спальне утром. Во вторник. Это пронзительная и завораживающая музыка, создающая вечернее настроение. Это музыка вечера, музыка разлуки, рожденная любовью. Утром ее слушать нельзя: после этого день перестает быть рабочим.

Мне пришлось лишний раз убедиться в этой истине, в которой я и не сомневался.

6

Во вторник я не пошел на работу. Точнее, я заглянул на работу (у меня были на то свои причины – не столько чертовы лекции, сколько глубоко личное) и тут же нарвался на Будду, памятником расширяющуюся книзу, как бы к пьедесталу. Я памятник себе воздвиг. Вот и она тоже. Ибо каждый учитель есть памятник самому себе.

- Вы должны...

- Будьте здоровы! – сказал я, вспомнив нелепую ситуацию с Винни-Пухом и Совой.

- Не поняла! – величественно вылупилась внезапно осовелая Будда.

- Вы чихнули, вот я и пожелал вам доброго здоровья, - скромно потупился я, не ожидая благодарности за свой добрый поступок.

- Я не чихала, - как-то неуверенно протянула Будда.

- Вы чихнули.

Я был настойчив и галантен.

- Как-то неуклюже, на букву «ж», но все же чихнули. Несомненно. Вы сделали это. Берегите себя. Я бы порекомендовал вам больничный. Или, на худой конец, чай с малиной. Сейчас все болеют: грипп, птичий, свиной – на выбор; далее... склероз, и эта, как ее... (Вообще-то я хотел сказать не склероз, а ОРЗ, но эта аббревиатурка, будь она неладна, вылетела из оперативной памяти. К врачу!) Кстати, я тоже чувствую себя крайне неважно. Наверное, буду вызывать врача на дом. Лекции отменяю... Кха-кха.

Она достала носовой платок и с достоинством удалилась в сторону деканата. Я с не меньшим достоинством исчез в противоположном направлении, напевая про себя тоном Красной Шапочки, избежавшей встречи с ужасным Серым Волком в темном-темном лесу: «Чай с малиной, ночь с мужчиной, ла-ла-ла». В планах у меня было невзначай столкнуться нос к носу с Верой, однако ее юркие передвижения из аудитории в аудиторию не оставляли сомнения в том, что, во-первых, она меня заметила, а во-вторых, не желает меня замечать. Что ж...

Подождем до среды. То есть до завтра.

Я возвратился домой и стал перебирать бумаги, которыми, казалось бы, в беспорядке был усыпан мой рабочий стол. Но я-то знал, что в кажущемся беспорядке присутствует своя логика. Груды скрепленных листов, россыпи бумажек и просто листиков громоздились слева и справа. Записи, вырезки, цитаты, лежащие слева, не содержали первоочередной важности информацию, однако это были заметки, которые меня чем-то зацепили, чем-то привлекли мое праздное внимание. Из такого рода информации рождались интересные идеи и статьи. Но от них было мало пользы, то есть они не шли мне в зачет и писались в стол. Сиречь, в никуда.

Справа располагались рабочие (полезные) материалы. Из них рождались программы, учебные пособия, вопросы, билеты – словом, все то, что

составляет научную продукцию академического профессора, все то, от чего меня тихо мутило последнее время.

Я сдвинул материалы, лежащие справа, на самый край стола, освобождая себе пространство в центре. И положил перед собой бумажку, взятую слева.

Мне давно хотелось обдумать небольшой ряд цифр, выписанный из статьи в экономическом журнале.

В 1995 г. 258 долларовых миллиардеров (приблизительно около 50% всех богачей мира) собрались в отеле «Фермонт» (США) на очередное заседание мировых олигархов. Все было чин чинарем, фешенебельно и легально. Эти милые люди констатировали, что 1% населения Земли владеет 99% всех богатств мира. Далее они приняли к сведению, что для обслуживания и приумножения их сокровищ им понадобится, увы, всего лишь 20% населения Земли (от общего количества на тот момент). «Боюсь, что у остальных 80% в ближайшее время будут колоссальные проблемы», - сказал какой-то олигарх в сером костюме, забавно шепелявя сквозь вставной фарфор. Люди, не понимающие шуток, улыбнулись, обнажив такие же ряды крепких не своих зубов.

Мне неловко было считать этих людей диктаторами, лично мне они не сделали ничего плохого; но как человек, обреченный испытать в ближайшем будущем «колоссальные проблемы», я ощутил прилив святой ненависти. И ненависть моя не была формой зависти – она относилась вовсе не к тому, что я не попадаю в один процент с фарфорозубыми. У моей ненависти был более интересный адресат – желудок человека, полагающий, что с помощью жалкого интеллекта он поставил весь мир на колени. Желудок в панаме, оскалившийся фарфором. Здравствуй, брат!

Собрались эти всемирные чемпионы как-то под тентами и решили напасть на Ирак – и тут же, под предлогом диктатуры демократии, то есть диктатуры желудка, с божественной легкостью взялись перекраивать карту мира. Этим светлым, доброжелательно настроенным друг к другу людям нужна нефть? Конечно. Кому же в наше время не нужна нефть? Но несметные сокровища уже давно не приносят удовольствия сами по себе. Времена Али-Бабы и его сорока разбойников прошли. Золото и алмазы приносят власть – но власть уже особого рода. Нефть, черное золото, – это хороший предлог, разумеется. Все в мире завидуют олигархам (боюсь, и Будда, поклонница Маркса – тоже), поэтому поймут их и без слов, тем более что все «слова», произносимые в средствах массовой информации, также оплачены олигархами.

Но почему бы нам напасть не на Ирак, как всем кажется, а на Вавилон, руины которого мирно покоятся близ Багдада (огромный квадрат раскопок, прозванный в народе «черным»), и не отомстить первой в истории мировой империи за то, что она тысячелетиями была «чудом света», Первой?

Унизить прошлое величие, саму Историю, – это покруче нефти будет.

Последнюю империю, СССР, мы развалили только что, и это произошло до обидного не апокалиптически. Раз – и в дамки. Где же моря крови и

тектонические сдвиги? Никакого адреналина, слабенькое зрелище, хотя мы вбухали кучу бабла. Отыграемся на первой.

И теперь, когда нет ни первой, ни последней можно за коктейлем подумать о единственной. Вечной Империи. Минус 80% - и все становится управляемым и подконтрольным. Скучно...

Вы получаете власть быть Богом, и сама всемирная история превращается в игру, ставки в которой – всего лишь ваши миллиарды. Сегодня выиграл тощий господин N., завтра – толстая леди В. Движущие силы истории, о которых твердил переучившийся бедняга Маркс, превращаются в пустой звук. Историей начинает заправлять кучка олигархов, решающая в перерывах между ланчем и обедом, что делать с 80%, засоряющими пространство и историческую среду. Можно травануть их чем-нибудь генетически модифицированным, можно ВИЧ как-нибудь модернизировать, а можно...

В общем, есть варианты. Профинансируем университеты – и высоколобые рабы, прилично, как им кажется, зарабатывающие и превыше всего ценящие свою свободу, что-нибудь придумают. Уж мы-то за Земелькой проследим.

Эта версия рассматривалась мною уже потому, что она была вполне сумасшедшей. Люди, придатки своих желудков, заигрались, им стало казаться, что они запросто управляют историей – прошлым, настоящим и будущим. На самом же деле эта мания всемирного величия возникла как следствие того, что человек не в состоянии управлять собой. Собой, своей особой, то есть желудком в душевной оболочке, и, следовательно, всем вокруг себя, он «управляет» бессознательно. Но бессознательно управлять историей – значит, подчиняться все тому же бессознательному. Управлять историей, то есть относительно контролировать ее движение, возможно только с помощью разума.

Разве объяснишь это желудкам в панамах, облюбовавших отель с крысиным названием «Фермонт»?

Но дело не в олигархах, как могло кому-то показаться. 1% – это предводители всех остальных, и люди вполне заслужили такую элиту. Все думают желудками, только у фарфорозубых он оказался крепче. 99,99% населения Земли, включая обреченных 80%, не замечают меня, и по их законам я не существую, меня нет; они превратили меня в песчинку пустоты.

Но и без меня, Льва Романова, ваш мир – пустыня, на песках которой когда-то возник Вавилон, ваш мир – пустота, ибо мысли ваши, произведенные желудком, – ничто.

И я, самый главный враг сильных и слабых мира сего, потомок Хаммурапи, сижу у себя в кабинете и радуюсь тому, что будущее у меня, человека разумного, и у желудка – одно. Отнимешь будущее у меня – сам останешься без будущего. Вы еще приползете ко мне за разумным советом, убогие.

А я еще посмотрю, стоит ли мне делиться властью.

Но это утешало мало.

И я провалился в горячий, рожденный раскаленной пустыней блюз.

Рано утром в среду раздался телефонный звонок.

В это время я, приняв душ, наслаждался горячим чаем, новостями из Ирака и иных «горячих точек», волдырями покрывших планету Земля, а также роем смутных фантазий, которые сливались в облако вожделения. Я снял трубку и вкрадчивым голосом доложил:

- Мой ангел, я, старый повеса, впервые ловлю себя на мысли о том, чтобы замужня женщина, мечта ловеласа, стала моей женой. Подожди, не перебивай меня. Я обожал чужих жен, потому что они гарантировали мне необременительную интрижку. Я наслаждался ими и не уважал их. Мне не надо было любить их, достаточно было любить только себя. Тебя, Вера, я не могу забыть вот уже целый день и две ночи. Мне трудно будет сказать тебе об этом, глядя в твои совсем не серые глаза. Кстати, я вчера только понял, что позавчера заметил это. Твои глаза поменяли цвет, представляешь? Спасибо за внимание. Теперь я готов выслушать тебя. Опять продиктовать адрес? Вера, склероз – это привилегия Будды, тебе еще рановато...

- Лев Львович, вы открыли вчера больничный лист? – раздался из трубки голос Будды.

Теперь я понимаю, что значит гром среди ясного неба. Я даже плотнее запахнул халат: меня будто холодом обдало из разодранной тучи.

- Извините, кажется, моя речь предназначалась не вам, Лариса Георгиевна, и если бы вы любезно прервали меня вовремя, вам не пришлось бы выслушивать столько глупостей.

- Да, я не Вера. Если вы вчера не позаботились о больничном, то сегодня должны заменить коллегу Седлухо, выручившего вас вчера, когда вы симулировали, обманывая очередного мужа и его несчастную жену. С удовольствием хочу сообщить вам, что ваша неявка на работу сегодня станет еще одним поводом для немедленного увольнения. Замену вам мы уже нашли. Ваше место займет Седлухо, мой зам. Желаю удачи, господин повеса.

Голос Будды сменили короткие нудные гудки. Кстати, слушать их было приятнее, нежели мадам Державную. Только трубка знает, как грязно думал я в этот момент о Будде, таких, как она, о подвернувшемся мне под руку муже Веры, о моей паршивой судьбе, об олигархах, Али-Бабе, о самом себе и целом свете ублюдков, способных только бесконечно воевать, но не способных познавать себя.

Что ж, программа и учебное пособие написаны. Почему бы теперь не прирезать курицу, которая снесла положенное количество золотых яиц?

Слишком много золота – это девальвация. В услугах прелестной курицы уже никто не нуждается. Все логично. Займите кресло, пан Седлухо! А еще говорят, что свято место пусто не бывает; по-моему, оно только пустым и бывает.

Святое – значит, пустое.

В этот момент раздался звонок в дверь. На пороге стояла великолепная Вера, сияющее лицо которой в мгновение ока потухло.

- Что случилось? – сразу спросила она.

- Вера, понимаешь, Вера...

Меня потрясла перемена, которая произошла с ней со скоростью света.

Никакой игры. Чистое светлое чувство ко мне. Мой мгновенный порыв к ней. Она обняла меня, и я заплакал, в то же время отчетливо представляя себя персонажем, с глубокой иронией наблюдающим со стороны за всем происходящим. Я упорно не верил тому, в чем был абсолютно убежден.

- Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься – ото всех и от меня? – спросила Вера, внимательно выслушав мой монолог, подслушанный Буддой. Я повторил его специально для Веры: из вежливости. Кроме того, боюсь, у меня не было выбора.

- Сам толком не знаю.

- Они же съедят тебя, разорвут на мелкие кусочки! Это же вампиры! Крокодилы! А я – замужем. Я действительно замужем. И это не моя прихоть, а моя судьба. Понимаешь?

- Ты будешь иногда вспоминать обо мне, разорванном на мелкие кусочки?

- Перестань. Я серьезно.

- И я серьезно. Будешь?

- Буду. Легче стало?

- Нет. Тяжелее.

Она засмеялась и бросилась целовать меня.

- Подожди, - сказал я и отстранил ее от себя. Из ее глаз напрочь исчез серый фон, они светились мягким светом, льющимся из морского простора.

- Я люблю тебя, - сказал я.

- Я тебя тоже люблю, - просто ответила Вера.

- Нет. Пожалуй, я тебя обожаю.

- Я тебя тоже.

Еще я хотел сказать, что не могу жить без нее, и в этот момент я бы не солгал. Уже разведанные запасы моей любви позволяли мне сделать это историческое заявление безо всякого риска для моей репутации. Однако слишком многим людям было бы слишком плохо от этих искренних слов, которые так ждет услышать каждая женщина и которые так приятно произнести мужчине. Что-то в этом мире наперекосяк...

Я обнял ее за талию, она склонила голову ко мне на плечо. Моя горячая ладонь гладила ее спину под свитером. Она коротко, прерывисто вздохнула и задержала дыхание. Сердце ее учащенно заколотилось. «Моя славная девочка», - сказал я. «Моя любовь». С тихим стоном она рухнула на мой диван, увлекая меня за собой.

Мы слушали тот самый блюз, под печальные ритмы которого я расстался с Наташей.

Но теперь эта же музыка говорила мне совершенно о другом. В знакомых звуках мне чудились волны, энергично налетающие на мокрые прибрежные валуны, с шипением откатывающиеся назад, чтобы с прежней настырностью расшибаться в брызги о камни.

Зачем?

8

Будь моя воля, я бы поставил на краю Земли, с которого все начинается (где-нибудь около Вавилона), памятник веселому беспечному негру, не умеющему печалиться. Он был бы изображен поющим блюз, творящим музыку печали, отрицающую саму себя. Да, он, с клокочущей энергией радости, пел бы о печали, в которую не очень-то и верил, – но почему-то не мог о ней не петь. Добрый искренний негр.

И эта статуэтка стояла бы у меня на столе.

Пустынный рабочий стол Будды, твердо стоящий на кривоватых массивных ногах у нее в кабинете, украшал бюст идейного вождя мирового пролетариата Карла Маркса: высокое чело, серьезное лицо, обрамленное бронзовыми завитками сантаклаусовой бороды; то любимые студенты Будды вручили ненавистному преподавателю многозначительную фигуру, – еще тот подарочек, которым она, впрочем, не стеснялась гордиться. Чтобы подчеркнуть, что этот слиток и монолит – глубоко личное, выгравировали надпись: «На вечную память Л.Г. Державной от студентов первой группы, никогда не посмеющих ее забыть. 07.11.1984».

У меня на столе гипотетический добрый негр (в принципе я терпеть не могу памятников; разве что негра как-нибудь приспособить под авторучки? статуэтка с функцией карандашницы – было бы изумительно), у нее – чародей и пророк Карла по пояс. Есть разница?

Существенная. Скажи мне, какая статуэтка украшает твой стол, и я скажу...

Да нет, я просто не стану с тобой разговаривать.

Но я должен. Я просто обязан сказать Будде все, что я о ней думаю.

С этой мыслью я практически ворвался в ее кабинет.

Каково же было мое удивление, когда я увидел Будду, коброй нависшую над симпатичной стройной женщиной, стоявшей перед ней с бледным лицом и скрещенными руками. Будда что-то шипела.

- Извините, - сказал я, хотя собирался сказать совершенно противоположное.

- Куда вы, Романов? Зайдите. Подойдите ко мне. Ближе. Вы знаете, что вы уволены? Знаете? Поздравляю. А вы поздравьте Седлухо. Но это сейчас не важно. Вы мне нужны как свидетель.

- Свидетель чего, Лариса Георгиевна?

- Преступления, чего же еще.

Остекленевшие глаза госпожи Державной меня насторожили.

- Вы знаете, кто это? – ткнула она двумя пальцами, указательным и средним, словно раздвоенным языком, в сторону стройной женщины.

- Нет.

- Догадываетесь?

Откровенно говоря, в голове моей, лихорадочно перебиравшей варианты, не обнаружилось ничего, достойного внимания. Но я знал за собой один грешок: я часто не замечал очевидного. То, что у всех под носом, на виду, я

как-то нелепо не принимал в расчет. Например: почему в вуз поступали бездари и тупицы? Оказывается потому, что кто-то брал взятки. Это же элементарно. Мне бы вовремя сообразить и быть поосторожнее с намеками. Судьба была бы другой. Вот почему я сосредоточился на версиях самых прозаичных и обыденных. Провинившаяся студентка? Для студентки женщина была слишком зрелой, что ли. Берут на мое место? Тогда зачем кричать на новобранку? Ах, да, вместо меня уже рекрутировали Седлуху. (Тут я мысленно поздравил этого очкарика с рыбьей кровью, ото всей души желая творческих успехов его куцым мозгам.) Преступление, опять же, какое-то затеивается.

- Не догадываюсь, - сказал я, готовясь услышать в ответ нечто обескураживающее своей простотой.

- Это моя невестка.

Как я сразу не догадался. Будда-свекровь: это ведь чудовищный триллер по своему креативному потенциалу.

- Лев Львович, - представился я женщине.

- Светлана, - ответила она, и по ее уверенному и спокойному ответу я понял, что кобра вполне могла быть и жертвой в этой неоднозначной ситуации.

- О каком преступлении вы говорили, Лариса Георгиевна? – начал я свое невинное расследование.

- Я сегодня повешусь, - ответила Будда, - и всему виной будет вот эта... шлюха, - она указала на свою собеседницу. - А вы подтвердите, что это она толкнула меня на самоубийство.

- Я не шлюха, если вам это интересно, - обратилась ко мне Светлана. – Что касается повешусь, не повешусь... Давно пора бы, Лариса Георгиевна. Лет десять уже это слышу. Только я здесь не при чем. Вы сами себя в петлю загнули. Это вы сделали своего сына инвалидом! Вы и никто другой! По вашей вине Сережа здоровье потерял. А теперь вы, чувствуя себя виноватой, хотите сделать виноватым его. Это для вас единственный способ удержать сына, чтобы и дальше манипулировать им. Вот вы и клевете на меня, вырывая своего сына из рук «развратной» женщины. Я такая же развратная, как вы – святая. Вы только о себе думаете! Для вас никого не существует в этом мире. Поэтому и муж от вас ушел. Как он только не умер после первой же встречи с вами, не понимаю... Вокруг вас одно пепелище. Вы хотите заполучить сына, чтобы погубить его!

В этот момент мне захотелось заплодировать. Мой монолог был просто жалкой ролью второго плана по сравнению с этой пламенной импровизацией героини.

Как я мог упустить из виду, что Будда была еще и матерью? А ведь Будда – везде Будда: и на работе, и дома. И это покореженное существо, молящееся бронзовому Карле, крушила вокруг себя все, что могла. Потому что давно умерла сама. Не зная никаких подробностей, я знал, что Светлана была права. Будда жила по логике олигархов, по логике бессознательного, вне

всякого сомнения. Надо было спасать сына Будды и мужа Светланы, если, конечно, было еще не поздно. Триллер так триллер.

- Вы проживаете совместно с Бу... с Ларисой Георгиевной? – взялся я за дело.

- Нет. Но она забрала сына к себе. И настроила его против меня и собственной внучки.

- Внучки-сучки, - быстро добавила бабушка, явно испытывая удовольствие от подливания масла в огонь. Это было нечто из адского арсенала, ее так и тянуло в пекло.

- А завтра в петлю ползет Сережа, и я это знаю! Он без ног, и так всю жизнь мучается в протезах. Это мама с сыном в лифте проехала: впихнула ребенка в кабину, а лифт рухнул в шахту...

В глазах Светланы уже стояли слезы.

- Ты врешь, мерзавка. Это слесарь был пьян! Он забыл повесить табличку, что лифт на ремонте. Такой же распутник, как и ты!

- Вы оставили сына без ног, а теперь загоните его в петлю своими сплетнями!

Будду, казалось, вдохновило это отчаянное заявление.

- Да, он ползет в петлю. Ползет! А виновата будешь ты. Ты, шлюха! Мы испортим жизнь тебе и твоей дочери-сучке.

Я схватил Светлану за руку и потащил к двери.

- А-а! Теперь ты и с ним спуталась! Всех вас надо прикончить!

В спину нам полетело бронзовое изваяние и плотно приложилось головой кумира к двери, которую я проворно захлопнул. Мне показалось, бюст был полым внутри: он подозрительно звонко зазвенел, упав на паркет. Идея с карандашами вновь показалась мне актуальной. Для этого всего лишь надо было сделать дырку в голове борца с капитализмом.

- Спасибо, - сказала Светлана, после того, как мы, молча пролетев длинный коридор, выскочили на улицу. – Вы совершили поступок профессионального психолога. Нас надо было развести по углам. Я уже перестала себя контролировать.

- Вы как профессиональный психолог рассуждаете?

- Да. С ней разговаривать нет никакого смысла. У нее началась уже почти клиническая стадия какой-то разновидности психоза, я уверена. Меня привело к ней просто отчаяние. Призрачный шанс.

- Если я правильно понимаю, мужа вашего уже не достать из ее логова. Ему проще и приятнее считать вас виноватой. Извините за прямоту.

- Пожалуй, вы правы. Светлая голова, компьютерщик. И эта гром-баба стерла его в порошок. Он так и не освободился от своей болезненной зависимости от любимой мамыши. И она его любит и ненавидит за свою вину перед ним. Она ежедневно напоминает сыну о его протезах, называет жалким уродом и призывает открыть глаза на то, что я этим бессовестно пользуюсь. Не могу не пользоваться. Я же красивая – следовательно, я стерва. И он, ее сын, вернулся к той, кто его всю жизнь добивает – к маменьке. Бросил жену и дочь, нас, которых любит больше жизни. Он никогда себе этого не простит,

я-то это знаю. Я хотела вернуть его назад. Видите, что из этого получилось... А тут еще какой-то ее сотрудник, профессор, сошелся с чужой женой. И для нее это вдруг стало прямым доказательством того, что я изменяю своему мужу. Она заставляет сына требовать развода. Вот этот бред и есть наша семья. Вы что-нибудь понимаете в этой жизни?

- Понимаю, - сказал я. - То, что произошло, вполне нормально. По-другому не бывает. Кстати, этот сотрудник-профессор – именно я. Хотя я не уверен, что моя беспутная жизнь стала причиной ваших несчастий.

- Ваша история, как видите, пересеклась с моей. Возможно, мы оба без вины виноваты – если вы, конечно, верите в то, что бывает дым без огня. У вас что, любовь?

- К сожалению, да.

- Значит, у вас своих проблем хватает. Впрочем... Поймите меня правильно, говорю вам как профессиональный психолог. Я бы с удовольствием поменялась с вами местами. На время.

- Боюсь, в моей истории наступает то время, когда я бы не советовал вам этого делать.

- О-о! Тогда я вам просто завидую. Так хочется просто любви – и больше ничего. Любви любой ценой. Все остальное в жизни – пустота.

Ее глаза окончательно покинула агрессия змеелова.

- Спасибо вам. Вы тонкая женщина.

- Да, тонкая. Только где тонко...

- Не всегда. Иногда прочнее тонкости ничего не бывает. Как вы думаете, Лариса Георгиевна на самом деле может повеситься?

- Самое страшное, что не исключен и этот нелепый вариант.

- Почему же страшное? Любой другой вариант еще страшнее.

- Так-то оно так, но... Сережа ведь будет считать меня виноватой. Она об этом позаботится, можете не сомневаться.

- С другой стороны, для вас это единственный выход. Только вот пожелать вам такого счастья как-то язык не поворачивается.

- Вы правы. Я с вами согласна.

- Так устроен мир.

- Как это – так?

- Так. Какая-то дьявольская мясорубка. Уцелеть-то можно, но вот зачем – непонятно.

- Вы справитесь. У вас есть характер и психологическая устойчивость. И ум.

- Это наблюдения профессионального психолога?

- Нет, увядающей одинокой женщины.

Думаю, это был сильный профессиональный ход с ее стороны.

- Вы любите блюз? Послушайте блюз сегодня вечером.

- Почему именно блюз? А не Рахманинов, например?

- Это долго объяснять. Рахманинов велик. Но вы... Просто послушайте блюз.

- Мне нравится это нелепое предложение.

- Поймите меня правильно: это очень интимное предложение.
- Пожалуй, я так и сделаю.
- И еще, Светлана... Вы не одиноки, у вас есть дочь. Вы не знаете, что такое одиночество. И, наконец... Вы красивы и порядочны. Это наблюдения завязанного дамского угодника.

Она вскинула на меня глаза, мерцающие чудными темноватыми оттенками, глаза, в которых можно было разобрать и привычку терпеть боль, и затаенную надежду, и готовые брызнуть фейерверком искры радости, – типично «оконное» выражение лица (к этому я еще вернусь) – и я понял, что для меня перестали существовать на свете красивые женщины.

Кроме Веры.

9

Больное зимнее солнце лохматым желтым пуделем протрусило над линией горизонта и скрылось в серую тьму. Еще один день вспыхнул и погас бледной звездочкой.

С жуткой стремительностью приближался Новый год, предоставляя грустную возможность ощутить, с какой скоростью проносится наша жизнь. Короткие дни безжалостно поглощало серое время. Еще вчера царил Вавилон, а сегодня...

Я чувствовал, что моя проблема заключается в том, что я не могу вообразить себе свое будущее без Веры. Вот если бы я мог жить одним днем (чему я, увы, так и не выучился), то я был бы просто счастлив. Ее глаза, волосы, губы, теплое дыхание, сумасшедшие слова...

Но серая муть впереди просто портила мне праздник любви. Раньше подобные проблемы меня не волновали.

А что мне, собственно говоря, это будущее далось? Это даже не Гекуба. Так, абстрактные миллионы световых лет. На кой черт мне эти физические характеристики материи?

Думаю, со мной приключилась своего рода болезнь. Фобия современности. Благодаря развалу империи, могучего СССР, завоевавшего космос, во мне обострилось чувство будущего. Если пережил катастрофу, начинаешь даже не интересоваться – жить будущим. Если нет настоящего, и будущее не просматривается – это конец. Что прошлое?

Всего лишь путь к катастрофе.

Что касается Веры...

Я был нужен ей по какой-то иной причине, именно сейчас, а не в туманном будущем, которое мы по умолчанию не трогали (мы никогда не заглядывали вперед дальше недели); но ее это успокаивало и устраивало, а меня ее довольный вид все больше раздражал и вызывал досаду. Оба мы тонко ощущали, что счастливо пересеклись где-то в эфире, нащупали хрупкое равновесие, и обоим было страшно делать резкие движения.

Можно было наслаждаться затишьем, но меня изводила моя печальная теория «окна» (напридумаю себе теорий, а потом мучаюсь ими). У Веры в жизни наступила пауза – «окно», возрастное и психологическое. Первая,

пламенная, любовь к мужу уже прошла, охлаждение еще не наступило, ребенок еще не родился. Вот родится ребенок, тогда возвратится привязанность к мужу – и Лев Львович забудется как милое видение, как чистое приключение. А сейчас, именно сейчас, в этот благословенный промежуток, когда женщина вновь заневестилась, наступило мое время, время Дон Жуана и холостяка. Вот и все мое «оконное» счастье. Женщина заполняла мной паузу, что меня, холостяка, решительно отчего-то не устраивало.

Хотя и в моей жизни, согласно теории, которая еще вчера мне, в целом, нравилась, тоже открылось своего рода «окно». Я еще в состоянии был интересоваться будущим и еще чувствовал в себе силы на последний рывок. Именно поэтому меня не интересовала сейчас девица «в окне» (хотя еще вчера я грезил такими барышнями: я пользовался всеми преимуществами любовника, избегая при этом ответственности мужа). Мне нужна была девушка из моего будущего.

Моя теория стала меня раздражать (плюс еще фобия современности), и я первым понял, что долго так продолжаться не могло.

Любовь заставила меня крепко взяться за ум, и мне пришлось пережить несколько неприятных открытий, за которые, впрочем, я себя зауважал, как Христофор Колумб, вломившийся в джунгли. Все открытия были совершены в тех серых дебрях, где ум пересекается с душою и куда я был небольшой охотник заглядывать праздным оком. Мне не очень-то и хотелось называть вещи своими именами, но, как говорится, жизнь заставила. Мои теории становились более глубокими.

Главное открытие было простым и грубым: я честно признался себе, что не выдержу другого ее мужчины. Если бы я так ярко не представлял себе ее глаза, волосы, губы, теплое дыхание, сумасшедшие слова...

Сам факт того, что Вера не спешила разрешить эту сомнительную ситуацию, возможно, желала ее продлить, не испытывая дискомфорта, был, в моих глазах, не в ее пользу. Я хотел, но не в состоянии был оправдать любимую женщину; с каждым днем мне становилось все труднее смотреть в ее чистые глаза и по сто раз в день спрашивать: «Ты меня любишь?» После этого я сладко замирал, а она без тени фальши, тихо, на выдохе (нежным шепотом сфальшивить невозможно) всякий раз по-новому отвечала мне весьма убедительно. Спустя минуту я, проклиная свою навязчивость и не в силах удержаться, задавал тот же вопрос уже с другой интонацией и опять замирал, ожидая ответа. «Да, любовь моя», - дышала мне в губы Вера, несколько не раздражаясь распушенностью моих чувств. А я тосковал по ее нежности, истаявая в ее объятиях. Разве можно было делить это с кем-нибудь еще?

И Вера искренне делила со мной то, что не передается словами. Пожалуй, только дыханием. И еще торопливым стуком сердца. Запахами. И еще...

Нам обоим нравился вкус ее влаги, кисленький вкус тропических фруктов, от которого шерсть – дыбом. Интимнее не бывает.

А потом она уходила домой, к мужу, искренне переживая, что всегда опаздывает.

Вот эти ее искренность и убедительность во всем кошмарно терзали мое воображение.

Я начинал сомневаться в том, в чем двое любящих сомневаться не должны. Любовь моя все больше напоминала муку. (Кстати, любовь для меня давно уже неразрывно связана с печалью и мукой. Почему? Это интересный вопрос, хотя для меня важнее, что это непреложный факт.

Почему же тогда я искал (оказывается – искал!) любовь, которая согласно странному закону, пронизывающему вещество вселенной, должна обернуться печалью и мукой?

Да потому что любовь еще как-то связана и со счастьем. Тот, кто творил всемирные законы, был или умен, как я, или дьявольски небрежен. Опять же – как я. Он был очень похож на меня.)

Вот почему долго так продолжаться не могло.

- Вера, что значит «я замужем» и что значит «я люблю тебя», меня, то есть? Это не вопрос, как ты понимаешь. Это просто вопрос моей жизни и смерти.

Я даже не заметил, что выражаюсь пафосно, словно клоун, потому что все мои силы были сосредоточены на том, чтобы как можно более небрежно затеять разговор, значивший для меня совсем немало. Точнее, слишком много.

Она лежала на моем плече, а я поглаживал ее живот. Странно: я легко представлял ее беременной, но не вообще беременной, а носящей моего ребенка. Я даже физически ощущал ее тугой, набухший животик, поглаживать который мне было бы невероятно сладко. Да, это была моя женщина.

- Не ставь вопрос так остро. Я еще не готова.

- Не готова к чему, Вера? Ты не знаешь, любишь меня или нет?

- Люблю.

- Ты не готова сказать об этом мужу?

- Не готова. Он не заслужил такой лютой казни. Да, он оказался обычным, серым человеком. Но мы вместе столько ждали ребенка, даже имена придумали, для девочки и для мальчика. Мы как-то вынынчили наше будущее. Оно не такое уж блестящее, но оно симпатичное. В нем вполне уютно. И... оно с нами сегодня. И тут врывается ты, такой яркий, ядерный...

- Ты хочешь сказать, я разрушил ваше будущее? Ты так ставишь вопрос? Мне казалось, я предложил другое будущее – тоже, может быть, не супер, но самое лучшее для нас с тобой. Я думал «я тебя люблю» – это и есть ключ к будущему. Других ключей у меня нет.

- Да, да, конечно. Это ключ. Но сейчас я просто запуталась. Не заставляй меня делать выбор с закрытыми глазами. Я не знаю, чего я хочу и к чему готова.

Она отводила глаза, а мне больно было видеть это. Она не заслуживала унижения, которого была достойна, нет, не заслуживала.

Мне опять захотелось спросить ее: «Ты меня любишь?» Тихо, без нажима. И я знал, что сию минуту получу утвердительный ответ. Вера не умела врать – в таких вещах она не умела врать.

Но что-то заставило меня удержаться от вопроса. Я даже знаю, что именно: я привязывал бы ее и вопросом, и ответом. Я продолжал бы разрушать ее мир своими созидательными действиями. В этой ситуации, которую я только что создал своими руками, ее слова прозвучали бы не сладкой музыкой, а маленьким обещанием.

Вымаливать же обещание, опережая женское подсознание, пустое дело. Не стоило обесценивать слова, которые, по цепочке, обесценили бы чувства, а потом и само будущее. Пустота и так – вот она, всегда рядом со мной, всегда к моим услугам.

Блюз.

10

Приближался Новый год – праздник, который мне предстояло встречать в таком полном и разрушительном одиночестве (потому что Вере предстояло встречать его в кругу семьи), что меня уже сейчас начинало мучить зябкое похмелье.

Вера, словно желая про запас снабдить меня горячей нежностью, не расставалась со мной целую неделю, изо дня в день заполняя пространство и время вокруг меня. Собственно, она больше жила со мной, нежели со своим мужем. (Опять эта вездесущая дележка, черт бы ее побрал!)

Наступило 30 декабря 2006 года.

- Почему ты замкнулся? – вдруг спросила она меня.

Мы находились на кухне. Вера крошила салат, стоя ко мне спиной, а я наслаждался мягким стуком ножа, уютным светом ночничка, вмонтированного в панель над столом, и совершенно новым для меня ощущением: жить под размеренный стук кухонного ножа. Звук телевизора был приглушен, и кровавые новости не то чтобы совершенно нас не касались, они не мешали нам быть счастливыми. Я легко представлял себе Веру беременной. В этот момент у меня не было никаких проблем с будущим. Возможно, впервые за всю мою сознательную жизнь, не такую уж, кстати сказать, и долгую. Жизнь коротка, а сознательная жизнь – просто миг.

- Мне трудно ответить на этот вопрос в двух словах. Потому что я тебя люблю – такой ответ тебя устроит?

- Ты так на все мои вопросы отвечаешь. А я сейчас о другом... Скажи, чего тебе не хватает? Ведь ты живешь, как хочешь. У тебя даже миксер есть, куча ножей, даже фартук. И никто тебе не мешает. Сам себе хозяин. Разве это не предел мечтаний – жить как хочешь, в свое удовольствие?

- Да, я живу как хочу. Но как хочу – это девиз слабака. Если ты живешь, как хочешь, следовательно, ты не можешь жить так, как должен.

- Но ты же ненавидишь это слово – должен. Ты же сам говорил.

- Ненавижу. Но я должен его любить. Я должен хотеть, понимаешь?

- Нет. Я только понимаю, что ты катастрофически умный. И мне от этого немного страшно.

Ее слова неприятно укололи меня – прямо в то самое место, где гнездятся всякие страхи. Мне страшно не понравилось слово «страшно». Оно было ключевым во фразе.

Во всем нашем разговоре.

Пожалуй, во всех наших отношениях, если вдуматься.

Как можно было так легко обронить убийственное слово, Вера?

А как еще надо было с ним обращаться, Лев Львович? Бережно обернуть разноцветной фольгой и пустить этот свинцовый комок из пращи тебе в висок, чтобы сразить наповал?

Вера здесь не при чем, профессор. И слово не при чем. Тогда в чем дело?

Я же умный, должен знать.

И я, конечно, знал, только не хотел догадываться об этом.

- Почему ты не женился? Скажи мне, только честно.

Вера повернулась ко мне. Никакого живота, разумеется, не было. Розовый халатик (купленный специально для нее – собственно, новогодний подарок), фартук и распахнутые глаза.

- Ты никак не можешь привыкнуть к тому, что слово «честно» мы не употребляем. Просто потому, что нечестно мы не говорим. Если появляется слово честность – прощай, честность.

- Извини. Почему ты не женат? Это ведь странно, если разобраться. Столько женщин вокруг...

- Давай разбираться вместе с тобой. Одному мне было скучно анализировать то, почему я остался один. Я знаю, что где-то в моих джунглях есть объяснение тому, что я прав. Но оно не делает меня счастливее.

- Давай разбираться.

- Понимаешь, в чем дело, моя девочка...

- Дальше не продолжай.

- Почему?

- Потому что я уже хочу тебя. Ты сказал «моя девочка». А этого не следует делать...

Мы оставили на ней только фартук, который нам сначала не мешал, и быстро перебрались на постель. Теперь уже фартук полетел на люстру (с которой, кстати сказать, были еще не сняты ее трусики, заброшенные моей ловкой рукой сегодня утром). Ей нравилось, когда я обнимаю ее всю, со всех сторон, обеими руками и ногами, жадно, как можно больше, так, чтобы площадь соприкосновения наших тел была максимальной.

- Вот теперь мне хорошо. Теперь я вся твоя. Можешь делать со мной все, что хочешь.

Есть вещи, которые уважающему себя мужчине не следует повторять дважды.

- Девочка моя, - сказал я.

Учащенный стук сердца был мне ответом. Я плотно обхватило ладонью ее грудь. Дыхание Веры тут же прервалось – зато тут же участилось мое. А дальше наши тела уже очень хорошо знали, что им делать для того, чтобы сладко стонали наши души.

Мне было приятно осознавать, что после тихих ужинов, подобных этому, мужу мало что достанется. С другой стороны, новогодние праздники длятся долго, очень долго. У молодой семьи будет время подумать о своем будущем, которое, конечно, планируется в постели.

Однако эти мысли не могли испортить мне сегодняшнего вечера: я был опустошен, хотя и не настолько, чтобы тут же полезть за трусиками для Веры. Еще не вечер, как говорится, в смысле, вечер еще не окончен.

Потом нам захотелось салата, который мы запивали великолепным красным сухим вином, аргентинского происхождения. После этого я стал облизывать ее губы, на которых осталась полоска от вина, а потом Вера спросила:

- Так почему ты не женат?
- Видишь ли, моя любовь...
- Тссс... Полегче, полегче. Иначе я ничего не пойму из твоих разъяснений.

Табу на любовь.

- Хорошо, Вера Викторовна. Как прикажете.
- Так тоже не пойдет. Слишком ласково. У меня в животе все начинает волноваться.

- Послушай, заяц, я ведь не пытаюсь...
- Все. Ты сказал «заяц»... Дальше не продолжай. Иди ко мне.

Тропическая влага оказалась именно то, чего нам хотелось. Опустошение трансформировалось в миг просветления, и я не мог вспомнить, что такое ревность, хотя очень хотел. Я испытывал чистую любовь.

После этого нам было все равно, о чем говорить.

- После двадцати-тридцати женщин...
- Сколько у тебя их было?
- Больше ста, наверное.
- Сколько?!
- Девяносто девять, плюс-минус десять.
- Ты сволочь, Левушка.
- Да, ангел мой.
- Продолжай.

- Так вот, наступает период, когда ты начинаешь понимать, что отношения независимо от тебя выстраиваются по одной и той же заезженной схеме: за поэтической интрижкой всегда стоят голые прагматические потребности, причем с обеих сторон. Со стороны женщины: «Удивите меня, любезный Лев, я знаю, вы это можете. А то мне невыносимо скучно жить. Меня, такую загадочную и противоречивую, мало кто способен удивить». Со стороны, гм, скажем, с моей стороны: почему бы нет, мадам (мадемуазель, коллега или кто там еще – какая разница?)? Силы у меня есть, времени в избытке, перспектив, слава Богу, никаких.

Таких женщин я называю «оконными барышнями». Они высматривают себе женихов и делают им смотрины.

- Они раскрывают тебе окно, и ты лезешь к ним в терем?

- Приблизительно так, моя прелесть.

- Значит, тебя можно было назвать «оконным витязем»?

- Такой этап в развитии мужчины неизбежен.

- Продолжай.

- Слушаю и повинуюсь. Далее, по схеме, следует развитие отношений – розовый период ухаживаний, где-то до двадцатой-тридцатой женщины пленяющий постоянной новизной. Встречи, долгие беседы (луна, соловьи, ночные фонари – рассматриваются любые варианты), флирт, непременно произведение неизгладимого впечатления, можно-нельзя, ни да ни нет – наконец, постель.

Тут, по идее, и должно бы все начаться. Но этот пик всегда становится началом скорого конца. Почему?

Потому что за всеми этими «оконными» отношениями – пустота. Заполнение жизни любовной романтикой происходит из голого прагматизма, если разобраться. Начинаешь ненавидеть любовь и все ее проявления.

И вот однажды утром мадам или мадемуазель, не суть, видит в моих глазах потухшие искорки. Золу. Пепел. Ее поведение тут же меняется, ибо я на ее глазах превратился в отработанный материал. Я перестал ее ежедневно удивлять, перестал приносить пользу – то есть доставлять удовольствие. Выражаясь языком прежних отношений, мадам испытывает разочарование. Глубокое. «Звони». «Конечно, дорогая».

Вот почему в брак надо вступать вовремя – в самый что ни на есть розовый период. Не успел – опоздал. А успел – нажил себе проблемы...

Двадцать-тридцать женщин – это и есть розовый период в жизни мужчины. После этого начинаешь резко экономить на этапе ухаживаний. В принципе, все начинает измеряться часами, если не минутами.

Однако здесь уже и контингент иной. Быстро и без проблем, как правило, достаются только те, кто и даром не нужен. Поэтому порой приходилось вспоминать о пройденном этапе: без этого никуда. Приходилось корчить принца, заинтересовывать. И проклятая схема работала без сбоев. Жизнь превращалась в схему.

- Я в твоей схеме очень розовая девочка, не так ли?

- Ты женщина, которая сломала мою схему. Ты не вписалась в нее. Я уже почти перестал ждать, когда же это произойдет. Мне стало казаться, что такого просто не может произойти, что схема – это закон.

- А может теория схемы – это тоже элемент ухаживания? Ведь это очень сильный и неожиданный аргумент. Неотразимый комплимент на научной основе. Должен подкупать каждую девушку. Быстро и надежно. В одну минуту делает девушку эксклюзивной. Все «такие», а она – «не такая». Так сказать, технологическое совмещение первого и второго этапа. Ты довел науку ухаживания и совращения до совершенства. До свинства.

- Любовь моя...

- Тысяча извинений. Извини... Я тоже тебя ревную. Неизвестно к чему и к кому. Я действительно сломала твою схему?

- Ага. Как террористка. Пробежала, хвостиком вильнула, она упала и разбилась.

- Я ее вывела из строя навсегда?

- Смысловые схемы не поддаются починке, моя радость. Это же не утюги. Надо обзаводиться новой.

- Какой же ты все-таки монстр. Какой кошмар! Я не хочу, чтобы меня так препарировали. Я хочу оставаться загадочной, прежде всего для самой себя – ты слышишь? Да, вот такая я дура. Дай мне слово, что ты не будешь объяснять мне мои поступки. И свои тоже. Нет, свои объяснять ты должен.

- Я буду стараться объяснить все на свете. Но я не Господь Бог, если тебя это утешит. В чем-то я буду ошибаться.

- Ты не Бог, конечно. Ты... опасней. Поэтому мне тебя и жалко. Иногда. Но потом во мне быстро начинает шевелиться любовь. Вот тут. Что ты делаешь с простой девушкой? Ты не играешь со мной?

- Я тебя люблю.

- Зачем я, такая обычная, тебе, такому необычному?

- Мы, монстры, любим молоденьких, с русыми волосами, славных девочек...

- Дуры вас не смущают?

- Мы обожаем их. Это наше основное блюдо. Дежурное...

- Перестань мурлыкать. Я тебя опять хочу.

- Так ведь я же монстр.

- Иди сюда. Не рассуждай.

- Можно, я включу блюз, девочка моя?

- Можно, моя любовь. А побыстрее можно?

Когда она уходила, я заглянул в ее глаза. Вокруг зрачков вспыхнули золотые кольца, переливающиеся алмазными инкрустациями. Что-то не понравились мне эти кольца. Почему я не разглядел их раньше?

И еще. В ее глазах опять появился серый фон.

11

Я не мог уснуть всю ночь.

Под утро казнили Саддама Хусейна. Не по-джентльменски. Через повешение. Одни учителя сожрали других. Естественный отбор. Жалкого диктатора не стало, а демократия победила все на свете, даже саму себя. Миллионы ликуют, миллионы скорбят. Хотя все они, наверняка, входят в отверженные 80%. У всех свобода выбора. Гуляй, душа.

«А что бы ты хотел?» - слышу я возражения свободолюбивых толп, возражения, носящиеся в воздухе, в котором густо от подброшенных кепок, и ощущаемые даже кожей. «Что ты можешь предложить вместо демократии? Ты что, вчера только на свет родился и не знаешь, что лучше нее ничего не придумано? Все остальное еще хуже, полное говно. Аллилуйя, брат! Мы в дамках!»

Что я могу предложить вместо диктатуры желудка, напрямую связанной с куцыми мозгами? Что я могу предложить вместо диктатуры хама и опарыша, облеченного в перламутр и фарфор? Что я могу предложить вместо перспективы быть сожранным идиотами, размахивающими тряпками, на которых чей-то благородной кровью с ошибками написано «сволобода, раввинство, брэдство, б...ство»? Что я могу предложить в качестве альтернативного будущего?

Что я могу предложить вместо смерти?

Слушайте. И записывайте под диктовку. По буквам. Чтобы не было ошибок и недоразумений. Готовы? Врубите блюз. Пишем. Сразу на всех языках мира, включая те, на которых еще нет письменности, – слева направо, справа налево, вязью, грязью, чернилами, кровью, иероглифами, значками, крестиками, ноликами. Пишем!

Я предлагаю свергнуть диктатуру природы и объявить диктатуру культуры, диктатуру разума, что приравнивается к объявлению войны всем безголовым миллионам, ликующим и скорбящим.

Таково мое предложение. Прошу занести его в протокол ООН.

Несогласных олигархов прошу вывести из зала. Мальчики налево, девочки направо. Пусть строят свою пещерную демократию где-нибудь вне Солнечной системы, на расстоянии не менее 5-7 миллиардов световых лет от планеты Земля. Аплодисментов не надо. Не надо, я сказал. У нас не та диктатура.

«Этого не может быть. Это неслыханно!»

Не может быть будущего? Спасибо за новость. Я знал об этом еще тысячу лет тому назад. Но при чем здесь Саддам? Его-то за что?

Всем спокойной Ночи.

Я просплю вашу эпоху под мой блюз.

12

Новый Год приближается, в окна стучится!

И становится грустно и радостно всем...

Ах, семерочка, дай позабыться и сбыться!

Превратись хоть на годик в код счастья: ноль семь!

Это бездарное стихотворение я написал 31.12.06.

Делать мне было абсолютно нечего (надо было только поздравить Веру SMS-ской, поближе к полночи), времени хоть отбавляй, и я принялся размышлять.

Что празднуют люди, когда они празднуют Новый год?

Они празднуют праздник чуда, праздник веры в то, что случайность может изменить их жизнь. Отсюда и стихи (удивительно неуклюжие, но от души): поэтизация подобного мироощущения. Новый год стал едва ли не главным праздником цивилизации, ибо это праздник людей живущих бессознательной жизнью и не признающих никакую другую жизнь. Это праздник без-умия, именины сердца, торжество души. Вера в то, что одна

счастливая встреча, одно счастливое событие могут круто изменить жизнь – лучшее доказательство того, что философия людей – это поклонение Его Величеству Случаю или Госпоже Фортуне. Ты ничто – случай все. Зачем персональные усилия, зачем никчемный разум, пытающийся познать законы мира и закон законов – себя?

Чем меньше разума – тем больше энтузиазма по поводу приближения Нового года. Архетип этого праздника, как и любого другого, – противостояние культуре. Этот праздник – игра в игру, не условная, а безусловная абсолютизация ритуалов. Праздник заклинаний, пожеланий, ворожений – праздник олигархов и нищих одновременно.

Вот она, суть человека: воспринимать мир чувствами, управлять им – чувствами, с помощью чувств населять его богами – следовательно, всеми чувствами ненавидеть разум, который пытается в абсолютизации чувств увидеть некую закономерность. Человек чувствующий (душевный, психологический) ненавидит человека размышляющего (разумного), ибо второй портит все праздники, отраду и смысл жизни бессмысленного существования.

Все ненавидят меня.

И простые люди-человеки, черт возьми, правы, как всегда бывает права природа, грубо и бесхитростно. Иначе они не умеют. Иначе душа не живет. Этот праздник, как и праздник вообще, нужен и разумным – именно как праздник души, а не личности. Привилегия личности – это не привилегия перестать быть человеком, а привилегия дифференцировать проявления человека. Праздник отменить невозможно, ибо это всегда праздник жизни; можно по-разному к нему относиться.

С Праздником всех, а также и себя!

Блю-юз, пли-из...

Вообще эта новогодняя ночь оказалась на удивление плодотворной в поэтическом отношении. Сначала я отправил Вере SMS-ску: «Поздравляю со светлым будущим. С новым счастьем! Стих по случаю.

Я тебя люблю, как тысяча чертей.

Представляешь, сколько, мы б сделали детей?!

Смешно, правда?»

Вера не откликнулась.

Наверное, не смогла. Была занята приготовлением салатов.

Я затосковал, несколько раз посмотрел казнь Саддама, заснятую на пленку и показанную всем людям доброй воли по всем телевизионным каналам прямо под Новый год (иногда возникало впечатление, что вешают Санта Клауса – то ли потому, что Хуссейн был похож на славного Деда Мороза, то ли оттого, что кадры с Дедом Морозом и Снегурочкой набегали на кадры казни через повешение), и написал еще одно стихотворение:

Люблю тебя, как дикий кот.

Вот.

А еще люблю я мед.

Вот.
 Нет. Совсем наоборот:
 Я сначала съем свой мед,
 А потом люблю, как кот.
 Вот.

Но оправлять сей опус не стал. Кому? По адресу: Вселенная, моей любимой, до востребования?

Это были стихи себе, любимому, в свой личный альбом.

Прошла неделя.

От Веры не было вестей.

Мне стало ясно, что в последний наш вечер в прошлом году что-то произошло. Стало ясно, что угасание наших отношений – вопрос решенный. Для таких вопросов, списанных в утиль, существует формула: это всего лишь дело времени.

«Угасания наших отношений», сказал я, но не моего чувства.

Хотя это уже не имело к нам с Верой никакого отношения.

Когда ей стало ясно, что мне стала ясна перспектива наших отношений, и я принял все как должное, она позвонила. Разговор был бессодержательным. Беспредметным. Сам факт такого разговора говорил о том, что нам не о чем говорить.

Я не просил ее не звонить больше. Она и сама все поняла.

Розовый халатик я запаковал в полиэтиленовый пакет, чтобы не испачкался (забавно!), и выбросил в мусорный контейнер.

Но она все же позвонила еще раз.

- Ты не мог бы подарить мне подборку блюза, которую... которая у тебя есть.

- Конечно, мог бы. Блюз – музыка не запрещенная. Я оставлю диск для тебя на кафедре.

- Спасибо.

- Ну, что ты. Пустяки.

- Только, если можно, не надо оставлять диск на кафедре. Ты мог бы передать мне его из рук в руки там, на Озере? Это мой последний каприз.

- Пожалуйста, Вера. Любой каприз.

Я даже не стал уточнять, где это «там, на озере». И так было ясно: там, где я ее поцеловал.

Это было не свидание, и я не собирался волноваться. Так, слегка тряслись руки, ноги, пересыхало во рту. Не знаю, зачем я вообще ввязался в эту сентиментальную авантюру.

Вера пришла вовремя, я ее почти не ждал. Передал ей диск. Мы обошлись словами взаимного приветствия, вежливой благодарности и вежливого уклонения от нее; никаких посторонних разговоров. Даже погоду, аномально теплую в том и в этом году (что творится в мире?! жаримся на сковороде, как черти в пекле), мы не затронули. Ничего личного.

- Ну, я пошла, - сказала она.

- Конечно, конечно, - кивнул я.

И вот она уходила от меня своей легкой походкой, немного нахохлившись, вобрав голову – непокрытую, само собой, – в воротник шубки, сливавшейся с цветом ее волос (было прохладно при всех тепловых аномалиях), уходила быстро и, разумеется, не оглядываясь. Я мог пялиться, сколько угодно, не опасаясь, что мы вдруг встретимся взглядами.

И я малодушно воспользовался этим подарком судьбы, у которой, очевидно, были свои представления о щедрости: она предоставила мне шанс полюбоваться женщиной, которую незадолго до того отобрала у меня. Что за девичья память! Неужели у судьбы тоже есть возраст, и она в свое время неизбежно начинает страдать склерозом, этим неприятным спутником сосудистых заболеваний?

Возможно, это и не забывчивость вовсе, а замысел.

Что касается меня, то я, оказывается, не забыл, что скрывается под этой плотной темной юбкой в крупную клеточку, длинной юбкой, из-под которой видны только теплые сапожки.

Нет, не забыл.

Волосы ее были слегка влажными: вокруг туман, сырость. Глаза стали совсем серыми. Когда я успел все это заметить и оценить? Я всего лишь однажды скользнул глазами по ней, не всматриваясь ни в какие детали. Лицо вообще мелькнуло общим планом, казалось бы. Черт бы побрал все эти фокусы подсознания.

Неужели Провидению, Случаю, или кто там заведует счастьем людей и всей их демократией, нельзя было обойтись без этой тривиальной картины: ты стоишь, как приконченный, нет сил двинуться, а любимая девушка уходит от тебя – практически с того места, где ты ее первый раз поцеловал, как следует, а она откликнулась, – по аллее, все дальше и дальше, вот уже почти не разобрать силуэт ее фигуры, вот она скрылась за поворот.

Конец.

Навсегда.

Кажется, перед тем, как повернуть, она махнула рукой. Хорошо, не махнула, сделала легкое движение. Если сделала – то мне, кому ж еще? Или вам, Лев Львович, только показалось? Сейчас же февраль, конец зимы. Вполне возможна игра света – авроры, которые в заполярье называют северным сиянием.

Может быть, это вовсе и не Вера сворачивала с аллеи.

Может быть, она и не приходила вовсе?

Черт бы побрал все органы чувств, а особенно зрение, вначале самое сильное, а затем самое слабое место всех людей и всех учителей. Давно уже нужны очки, как папе Карле, дострогавшему своего Буратино и бросившего шалунишку, по рассеянности, в очаг вместо кресла, расположенного напротив огня.

К врачу, несчастный, одинокий, полуслепой склеротик, страдающий сердечными перебоями и фобией современности. В понедельник.

Конец. Навсегда. Кому, скажите на милость, нужна была эта сцена, этот последний подарочек, прощальный привет?

Теперь эти кадры ничем не вытравить из памяти. Это же не свидание. И не прощание. Это, если называть вещи своими именами, убийство.

Только не через повешение, а через никому не нужную гуманность.

Да, это была моя женщина. Но это еще не повод добивать меня окончательно.

Сам справлюсь.

Верно, блюз?

Размышляя над тем, что же произошло между нами в конце 2006 года, я понял одну вещь. Вера сказала мне, что она «не готова»; она просила не торопить ее. Думаю, что она просила не ее не торопить; она не хотела, чтобы я торопился. Не стоило изо всех сил спешить к такому очевидному финалу.

А разве мог быть какой-нибудь иной финал, если разобраться?

Только в моем воображении, играющем радужными аврорами. Махнула рукой, не махнула, может, ее просто занесло на повороте...

Это же детский сад, а не жизнь. Пустота.

Девушка Вера была достойна любви, в этом я никогда не сомневался, и сейчас, спустя два месяца после того, как мы расстались, убедился в этом лишний раз.

Но вот почему же я был недостойн вместе с ней легким молодым шагом плестись в светлое будущее?

Неужели это какое-то особое искусство, которое мне никак не освоить?

К сожалению, я стал понимать, почему к чувству любви непременно добавляется чувство печали, как в блюзе. Нет, вовсе не оттого, что любовь рано или поздно пройдет, нет; оттого, что рано или поздно женщина обнаружит свою природу – пустоту, которая заставляет ее гениально приспособливаться. Этот ее божий дар вызывает восхищение, но на корню убивает уважение. А нет уважения – уходит и любовь.

И я чувствовал свое бессилие справиться с проблемой, не мною созданной. И одновременно я чувствовал свою вину, вину мужчины, который должен был найти решение загадки.

Кроме того, у меня был личный мотив: мне так не хотелось возвращаться в свое одиночество, в свою пустоту, где так не хватало пустой женщины, недостойной уважения.

Очевидно, таков удел людей, наделенных умом, который обрекает их на непростительную глупость – обзавестись достоинством, ведущим в пустоту...

Что она выбрала, когда выбрала своего невзрачного, плюшевого мужа, имевшего претензию считать себя «хорошим человеком»?

Что она отвергла, когда отвергла меня, знающего цену хорошим и добрым людям?

Не знаю, что она выбрала, но убежден, что она отвергла пустоту, которую я выбрал... давно. Очень давно.

А может, я даже и не выбирал ее вовсе.

Это был выбор человечества. Меня забыли спросить. Так получилось. Несчастный случай.

Кстати, в моей коллекции был блюз под названием «Несчастный случай» (автор – Добрый Негр). Разумеется, он вошел в ту подборку, которую я презентовал Вере – там, у Озера, где плавали недоумевающие утки, нацепившие зимние перья и теперь изнывающие от жары, которая наступила вместе с расцветом цивилизации.

Пора мутировать, утки.

Приспосабливаться к новым условиям жизни.

13

Конечно, здесь бы и оставить поставленную точку. Но если ты не напишешь тринадцатую главу, это сделает кто-нибудь за тебя. Например, та же слепая судьба, страдающая провалами памяти. Вряд ли стоит ей доверять.

Да, долой маски. Автор этой повести – я, Лев Львович (если есть такие, кто еще не догадался; а они, рассеянные, всегда найдутся, во все времена). Я решил написать повесть «Пустота» и подарить ее Вере ровно седьмого ноября 2007 года, день в день.

Мотив этой бессмысленной и странной затеи, если уж маски содраны?

Видите ли, творчество – это первый (после любви, то есть в абсолютном исчислении – второй) способ сражаться с пустотой. Основной закон творчества мне известен по долгу службы: интрига в чувствах, а не в сюжете. (Я действительно вновь служу в Государственном вузе; а если служу, следовательно, исполняю свой долг.) Даже если вы пишете о мировой истории, об Аккадском царстве, о Цезаре или о кучке фарфорозубых желторотых, напавших на фантом Вавилона, то интрига все равно в чувствах, а не в сюжете.

Зачем же сражаться с пустотой – веществом, которое всех окружает, спросите вы? Вы сражаетесь по-своему, олигархи – по-своему. Зачем?

Не знаю. Вы застали меня врасплох своим детским, возможно, дурацким вопросом. У меня есть на него детский ответ. Вот, если угодно. Творчество – это еще и в буквальном смысле сражение с пустотой, заполнение пустоты: снежно-белая целина заполняется буквами, и безжизненное пространство оживает. Холодное белое поле наполняется буквами, из которых складываются слова, в которых пульсируют теплые чувства. Возникает физическое ощущение преодоления пустоты. Вы по-детски побеждаете Пустоту. Великое Ничто. Кажется, саму Смерть.

Чтобы ответить на ваш нелепый вопрос по-взрослому, мне необходимо сосредоточиться. Где-то в апреле (все цвело розовым теплым цветом – так, как будто кто-то вознаграждал нас за то, что мы пережили суровую снежную зиму, а не слякотное Рождество с Крещением) я знал точный ответ на ваш никчемный вопрос. А сейчас...

А сейчас я думаю и рассуждаю гораздо меньше прежнего. Любовь ушла – ясность мысли унесла.

К тому же слишком поздно: повесть практически завершена. Завтра седьмое ноября, и мне предстоит интересная церемония.

Если, конечно, Вера жива-здорова, если она захочет меня видеть, там, у Озера, если муж отпустит, если ребенок позволит (если он есть)...

Между тем судьба, на которую я практически перестал обращать внимание, не дремала (иногда следует отдать ей должное: как-никак мировая история – в чем-то и ее заслуга).

Седьмого утром раздался телефонный звонок. Едва ли не первый утренний звонок в этом безмятежном году. Кто бы это мог быть?

Этого не могло быть: это была Вера.

- Лев Львович, Левушка, пустышка моя, пригласи меня на свидание. Я не могу без тебя жить.

- А ты уверена, что со мной рядом нет Наташи или Светы? Или какой-нибудь иной «оконной барышни»?

- Уверена.

- Почему?

- Потому что ты любишь меня.

- Откуда такая уверенность?

- Потому что я люблю тебя. Ты забываем. Мы с тобой не оконного формата. Мы другие.

- А твой муж в курсе событий?

- Я передам ему это через его новую жену, мою бывшую лучшую подругу.

Звучало убедительно. Только вот никогда не думал, что счастье может придавить камнем, вполне надгробным по весу и по форме.

Хотя счастье, если разобраться, – пустота. Весомая, значимая пустота.

Но этого я не скажу Вере никогда и ни за что.

И повесть, разумеется, не подарю.

Даже не знаю, какой финал нравится мне больше: написанный мной, с помощью компьютера, главного достижения цивилизации, или выведенный огненными письменами судьбы (аврами)?

Знаю только, что я должен был принять финал... последний, тот, который озвучила мне Вера своим незабываемым голосом в трубку телефона – голосом, от которого я, как всегда, чуть не потерял дар речи (только вот кто автор этого финала, я или несчастная судьба? – сказать вам не могу: запутался). Безнадежно любить и писать повести, что ни говори, приятно, потому что безответственно; а вот если тебе отвечают взаимностью, да еще если у нас муж сбежал...

Тут ты (в данном случае – я) должен совершить поступок.

- Лев Львович, а ты можешь написать повесть о нашей любви? – сказала Вера, вставая с нашей постели и небрежно набрасывая на тело розовый халат (точь-в-точь такой, какой я выбросил; пришлось покупать новый; трусики же, по заведенной нами традиции, висели на люстре). Мелькнула ложбинка спины, божественной лепки попа. Боюсь, что я никогда не устану любоваться ее прелестями. Боюсь, что ничего более бесподобного невозможно было найти даже в Вавилоне.

Может, все дело в моем чудном склерозе? Я быстро забываю счастливые минуты, и мне надо переживать их снова и снова.

- Почему ты называешь меня по имени-отчеству, как барсика какого-нибудь? Лев, лев, гав, гав... Блеф. Тебе что, сложно называть меня по имени, по-человечески?

- Сложно, Лео, сложно, солнце мое. К этому я еще не готова. Напишешь, моя любовь?

- Зачем?

- Это все так поучительно.

- Я ведь не Лев Николаевич, однако. Поучать – не мой профиль.

- Но ты должен! Ну, соле мио, Лео, мяу...

- Ты меня волнуешь, красавица моя. Девочка моя...

- Запрещенный прием. Я собиралась приготовить тебе завтрак. Останешься без завтрака.

- А ты без жениха, если не накормишь его. Слепых склеротиков надо хотя бы кормить, моя любовь...

- Проживу как-нибудь одна, без мужчины. Иди сюда.

Я никогда не привыкну к тому, что для меня, только для меня, так колотится ее сердце, прерывается дыхание, закрываются глаза, совершается быстрое движение бедрами. Наши руки и ноги сплетаются. Я знаю, куда положить свою ладонь, знаю, милая... (На секунду прервусь, чтобы сделать важное замечание; торопиться мне теперь некуда, Вера теперь моя. Навсегда. Я о глазах. Ее глаза так и остались очаровательно серыми. Две серых блестящих жемчужины, которые я умею заставлять сверкать или матово тускнеть. Как захочу. В ее серых глазах поселились авроры. Оказывается серый – не самый плохой в мире цвет. Как же все изменчиво в этом мире, если даже серое может заиграть красками! Все не так безнадежно и мрачно.) Я знаю, что я должен сделать, и я с удовольствием сделаю это. Поверь.

С некоторых пор слово «должен» возымело надо мной магическую власть.

- Твоя идея с повестью кажется мне достаточно безумной, чтобы привлечь мое внимание. Я подумаю, - сказал я, мурлыча от блаженства под одеялом, но не подавая виду.

В манере держаться с некоторых пор я подражал свирепому Саддаму.

На кухне мелодично раздавался стук ножа.

- Поставь-ка блюз, под него лучше думается, - позволил я себе первый в нашей совместной жизни каприз.

- Разве ты сам не можешь? Я занята твоим здоровьем и, можно сказать, нашим будущим.

- Но я хочу, чтобы это сделала ты.

- Хорошо. Какой?

- В этом-то все и дело. Угадай.

- Тут и угадывать нечего. Я наизусть знаю всю твою золотую коллекцию. И неплохо знаю тебя. Слушай.

Она выбрала совсем не тот блюз, который звучал в моей голове, но это был именно тот блюз, который, оказывается, мне хотелось сейчас услышать. Чудеса в моей жизни продолжались.

Музыка будущего текла широкой рекой, превращаясь в то Озеро, возле которого мы встречались с Верой, когда нам бывало или очень хорошо, или очень плохо. Саксофон, гитара, вокал. Из простых компонентов состоял бесконечный мегамир. Он был сложным и раздражающе элементарным одновременно.

И с этим ничего нельзя было поделать.

У блюза было странное название: «Черный квадрат».

Декабрь 2006 – 07.01.2007

ОДИНОЧЕСТВА ПЕЧАТЬ

Между умными и глупыми людьми, по-моему, есть существенная разница.

Абай

1

- Сахар нельзя употреблять в пищу, сахар – это белая смерть, - сказала Евгения, поправляя и без того идеально расправленную скатерть.

И она не шутила – просто потому, что у нее было своеобразное чувство юмора, а именно: юмор ее раздражал. Особенно по утрам. Хотя иногда она смеялась. Как правило, ближе к вечеру. В один прекрасный лунный вечер, кстати, я с ней и познакомился.

- Покойникам можно, - ответил я, откликаясь на свои мысли.

- Покойники не пьют чай, - сказала Евгения строгим тоном. И она не шутила. Это было видно по ее серьезному лицу.

- Еще как пьют, - машинально возразил я.

- Перестань говорить глупости, - сказала Евгения. – Возьми фруктозу, она гораздо полезнее.

Фруктозу так фруктозу.

- Три ложечки, - заявил я.

- Надо две, - сказала Евгения.

- Две так две, - вздохнул я, насыпая себе в чашку ровно три чайных ложки с верхом. Евгения, конечно, сосчитала (у нее феноменальное боковое зрение, плавно переходящее в затылочное: видит все, чего замечать никак не должна), однако, очевидно, сочла ниже своего достоинства реагировать на клоунскую выходку. Только едва заметно хмыкнула, дав мне понять, что все, как обычно, под контролем.

- Тебе сыпануть вот этой белой жизни, суррогата белой смерти? – поинтересовался я тоном бывалого алхимика.

- Я пью кофе без сахара. Говорю тебе об этом в сотый раз. Пора бы запомнить. Я пью кофе без сахара.

Кто бы сомневался.

Я с аппетитом уплетал вкусные, но ужасно вредные бутерброды с копченой колбасой, сыром и маслом (масло – толстым слоем на огромном ломте свежего батона), а она смаковала, скорее всего, отвратительную, но ужасно полезную овсяную кашу, серенькую загустевшую массу, взявшуюся корочкой, меньше всего напоминавшую здоровую пищу. Я бы такую кашу подавал в комплекте с полосатой робой. К моим же бутербродам, по-моему, глубокому убеждению, полагался барский халат до пят, с кистями, не обязательно, кстати сказать, полосатый.

Мы оба наслаждались завтраком, словно в пику друг другу.

Кто бы мог подумать, глядя на нас, что еще каких-нибудь полчаса тому назад она стонала и кричала в постели, извиваясь в моих объятиях (но слова «люблю» я от нее так и не услышал, хотя сам произнес его три раза). Мне хотелось продолжения нежности, хотелось, например, погладить ее по волосам, провести ладонью по щеке, поцеловать круглую коленку,

выглядывавшую из-под махрового халатика, станцевать гопак или чардаш (что мне категорически запрещалось: уже дважды я выслушал строгое внушение, из которого недвусмысленно следовало: танцевать – это не моё) – да мало ли еще чего хотелось. Хотелось, например, чтобы и меня приласкали. Но об этом можно было забыть, я это знал по печальному опыту. В постели кричала одна женщина, а сейчас передо мной стояла другая. И ту, и другую звали Евгения, фамилия у них была одинаковая – Вьюгина, возраст приблизительно совпадал (что-то около тридцати, из-за серьезного выражения лица утром им можно было дать и больше, вечером обе казались моложе). Из особых примет – вот эта раздражающая способность к раздвоению.

Я решил прервать молчание и завести светскую беседу.

- Ты не знаешь, кто является автором выражения «одинокость печать»: Пушкин или Лермонтов?

- А какая разница?

- Ну, не скажи...

Беседа явно не клеилась. Я принялся дожёвывать свой бутерброд.

- Завтра ты разводишься с женой, - напомнила мне она, приступив к мытью посуды. Я долго смотрел на еедвигающуюся спину. Чем больше я смотрел, тем больше мне казалось, что даже спиной своей она выражала какой-то немой укор. Возможно, она ждала ответ. Волосы в пучок, короткий халатик, под которым нет ничего из белья, стройные голые ноги. Я подошел сзади, положил ладони на упругую попу с твердым намерением поцеловать ее в мягкую шею – и тут же получил по рукам мокрыми резиновыми перчатками ядовито желтого цвета (посуду мы моем только в перчатках: бережём пальчики).

- Я в том смысле, что большое спасибо, завтрак был бесподобен, - прокомментировал я свой вольный жест.

- На здоровье, - был ответ, едва слышимый из-за шипевшей струи воды.

Да, вот вам еще одна особая примета: говорит тихо, заставляя собеседника вслушиваться в свои слова, буквально склонять своё ухо в направлении источника звука, – впрочем, слова самые обычные, которые надо понимать именно так, как они трактуются в словарях. Никаких переносных смыслов. Я, разумеется, говорю громко, даже громче, чем мне самому хотелось бы, часто злоупотребляю метафорами, за что регулярно получаю выволочки тихим спокойным тоном, намекающим на исключительную воспитанность и самообладание одной из двух гг. Вьюгиных.

- До свидания, Евгения.

Я стою в прихожей, готовый к выходу в этот жестокий мир, который ожидает каждого из нас за дверями собственной квартиры: на ногах легкие летние туфли, в руках легкая светлая куртка. Экипировка современного гладиатора. У которого даже медицинской справкой о состоянии здоровья перед выходом на арену никто не интересуется. А зря: можно было бы узнать много полезного для себя, а заодно и для науки.

- Подожди, - откликается она из кухни, прекращая шум льющейся воды.

Я жду. Она выходит, словно величавая Афина Паллада из волн морских. Я невольно ищу на ней следы воды – их нет. Волосы уже распущены – именно так, как мне нравится, как было тогда, вечером, года три тому назад. Или четыре?

- Ты называешь меня Евгения только тогда, когда злишься.

- Ну, что ты, солнце моё, Женечка, - бормочу я.

Она обнимает меня, мягко целует и прижимается крепко-крепко, немотивированно превращаясь на несколько долгих мгновений в другую женщину, похожую уже на сладострастную Афродиту. Значит, мне можно положить руки на попу – что я, оказывается, давным-давно сделал.

Мы стоим так несколько минут, прижавшись друг к другу, чтобы не иметь возможности заглянуть друг другу в глаза. Наши головы – на плечах друг у друга.

- Словно коняжки, - говорю я. Она, разумеется, не улыбается.

Сердце ее громко стучит. Моё же вяло трепыхается уже который месяц подряд. Вчера вечером, когда я пришел к ней в гости, ритм окреп, но сейчас пульс ровный, несмотря на приличную дозу кофеина («которого в чае больше, чем в кофе», кто бы мог подумать). Мы вместе, мы не в силах оторваться друг от друга, мы одно целое – и в то же время не нарушаем суверенитета лобызających сторон. Это возможно только с Женей. Она и в постели умудряется вести себя точно так же: отдается мне полностью, но никогда не принадлежит без остатка. Еще одна особая примета. Интимная.

Что она прячет от меня в своих глазах в такие минуты? Возможно, нежность, которую она зачем-то скрывает сама от себя. В моих глазах, боюсь, можно разглядеть что-то вроде холмов из теплого пепла и, возможно, остатки еще тлеющей любви, искры которой так легко принять за отблески небольшого, но устойчивого пламени.

Я сам пока толком не знаю, что можно обнаружить в моих глазах.

Но почему-то не желаю, чтобы Женя разобралась в этом раньше меня. Мне нравится обладать ею, но я не испытываю ни малейшего искушения подчинить ее себе, приручить навсегда. Это меня отчего-то пугает. Отчего же?

- Завтра у тебя развод, - сказала она тише обычного, намекая, во-первых, на то, что я никак не отреагировал на эту ее многозначительную реплику; во-вторых, на то, что она не любит повторять больше одного раза. И ещё намекая на то, в-третьих, что отреагировать придётся. Она стоит поодаль, руки скрещены на груди, глаза опущены. Сейчас она, конечно, из вежливости взмахнет пушистыми ресницами, но в прохладных серо-зелёных глазах уже не будет и следа того, что она от меня скрывает. Ни тени сомнений.

- Я знаю. Ты мне уже об этом говорила. До свидания, Евгения.

На улице светит солнце, вольно гуляет свежий ветерок, гоняя по невыразительно голубому небу бело-серые растрепанные облака, с виду какие-то уставшие и растерянные. Заигрались?

Конец мая, однако. Я глупо ищу взглядом луну. Потом, опомнившись, опускаю глаза ниже. Взбитые зеленые пряди каштанов украшены белыми ёлочками (ау, декабрь!), листья тополей жирно лоснятся и бликуют под солнцем, плотные зеленые подвески, набухшие пухом, ещё не раскрылись. Впереди лето.

Как должен чувствовать себя человек, то бишь я, пятидесяти лет от роду, отец взрослого сына, человек, будем откровенны, недюжинного ума, художественно чуткий, седой, с чувством юмора, опять же, который ясным теплым утром в летних туфлях прямо от любимой женщины идет к своему бодрому ещё (а это немало, немало!) отцу, чтобы обсудить с ним, как и, главное, где ему (мне) жить после долгожданного развода с женой?

Он, этот счастливый по всем неверным приметам человек, чувствует себя отвратительно. И, разумеется, у меня есть на то достаточно веские основания – не только ноющая интуиция и соответствующее возрасту знание людей, но и упрямые факты, как-то: невнятные намеки отца, а также внезапный приезд моей не то чтобы горячо любимой, но единственной сестры Дины из России, из города Нижнего Новгорода. Раз единственной – следовательно, обожаемой. Она приезжает только на свадьбы, похороны и юбилеи. Юбилеи отшумели, свадеб не предвидится, по себе сужу. Похороны? Допустим. Чьи, интересно? Я, опять же, не тороплюсь. Тьфу, тьфу, тьфу. Закроем тему.

Что-то происходит вокруг меня на семейном, а также социальном, а также любовном фронтах. А также на дружеском. А также душевном. И еще...

Короче говоря – везде. Какие-то труднообъяснимые подвижки, словно всполохи молний, которые тревожно сигналият штормовым предупреждением, случаются с пугающей регулярностью и неотвратимостью. Дело идёт к грозе, не стоит питать иллюзий. А гроза – явление, далеко ещё не познанное наукой (Бонифатьевич подтвердит). Даже загадочное. Как и чем всё обернется – никто не знает.

Но почему, черт возьми, гроза, пусть и непознанная, загадочная пусть, – летом? Или, если так понятнее, за что мне эти бури? Я, мятежный, виноват? Грешен? Что не так?

Развод?

Я что, первый или последний в многомиллионной толпе разводящихся каждый день? Порчу человечеству статистику своим уникальным случаем? Да в моей ситуации, если разобраться, грех не развестись. В моём случае – это мужской поступок. Возможно, мне особо нечем гордиться, но стыдиться мне уж точно нечего. Зачем же пугать меня грозой?

Встречают меня как дорогого гостя и родного человека.

- Здравствуй, братик мой любимый!

- Ах, ты моя сестрица ненаглядная!

Объятия. Лобзания. Приятно, что ни говори, побыть братиком. Мой племянник и крестник девятилетний Димон вежливо стоит в стороне и ждет,

когда и до него дойдет очередь выразить родственные чувства. Он растёт без папы, и у меня с ним особые, мужские отношения.

- Привет, чучело, - говорю ему я, протягивая руку как равный равному. – В лоб дать?

- Привет, дядя Олег, - отвечает «чучело», улыбаясь огромными зубами, как у безобидной акулы (в его возрасте растут сначала зубы и уши, а уж потом подтягивается остальное лицо).

- Что это за рукопожатие? Кто так гладит суровую мужскую лапу? – я корчу свирепую рожу.

- А как надо жать?

- А так, чтобы кости трещали. Ты мужчина или Микки Маус с хвостиком? Он жмёт изо всех сил и смотрит на меня.

- Ещё, - говорю я.

Он стискивает мою ладонь двумя руками. Больше из него не выжать.

- Ещё, - говорю я.

Он послушно и старательно повторяет попытку. Тщетно.

Пользуясь тем, что внимание его отвлечено, я внезапно хватаю его поперёк туловища и переворачиваю вниз головой. Димон пищит, но не отбивается.

- Ты драться будешь или нет?

- Не буду.

- Тогда я уроню тебя вниз головой, Бэтман. И ты стукнешься макушкой очень больно, Покемон. Считаю до трёх: раз...

Димон орёт и начинает болтаться, вяло изображая сопротивление. Он в курсе, что мужчина никогда не сдаётся.

Я небрежно опускаю его на пол и, придавив к полу, рычу:

- Может, ты еще и подарок хочешь получить, Черепашка Ниндзя?

- Я бы не отказался.

Воспитан он отменно. В любой ситуации отвечает правильно и внятно. Это уже его маман расстаралась, муштруя его нещадно. Но в наши отношения она не вмешивается, хотя и делает вид, что недовольна: её малыш демонстрирует, как ей кажется, далеко не всё, на что он способен. Ей всё время хочется подсказать ему, как следует отвечать дяде, но она заставляет себя сдерживаться.

Я отпускаю Димона и начинаю рыться в сумке, доставая заготовленный подарок. В этот момент самым непочтительным образом получаю от него пинок под зад. Димон визжит и пытается удрать. Я ставлю ему подножку, он падает плашмя, словно тушка тюленя-малька, прилипая к паркету (ловкость – не сильная его сторона, хорошо, что нос не расквасил), – а я сверху бросаю на него кипу бумаг: документы на купленный мною велосипед.

- Что это?

- Подарок, - говорю я.

- А-а, - отвечает Димон. – Спасибо.

Он разочарован донельзя, потому что не понимает, какое счастье на него свалилось в виде ничем не примечательных листков. Его мечта последних месяцев. А впереди – лето...

- Что это? - уточняет он, чтобы не обидеть меня своим разочарованием.

- А ты читать умеешь, Промокашка? Читай вот эту бумагу.

- Я не хочу читать.

Он обижен смертельно. Подарок, который нельзя увидеть, потрогать, а только «прочитать»...

- Да это же велосипед, сынок, велосипед! – не выдерживает моя сестра, с которой мы тщательно подготовили сюрприз.

Димон делает вид, что он отказывается верить, хотя зубы уже выпирают из улыбки, и уши, кажется, становятся ещё больше.

- Где он?

- Где... У тебя на бороде.

- Где, где, дядя Олег?

В этот момент дед Димона, мой отец Иван Петрович торжественно вкатывает в прихожую велосипед, уже отлаженный, отрегулированный, совершенно готовый к прогулкам в парке (Димон всё лето, как обычно, будет проводить у деда, который после смерти своей жены, соответственно, моей матери, женился вторично – на женщине хозяйственной и, увы, не в меру активной). На глазах у деда слёзы: он души не чает во внуке, позднем сыне его дочери Дины, перед которой испытывает что-то вроде чувства вины за то, что не слишком удалась её женская судьба, ещё за что-то своё, отцовское. А Дина, надо сказать, – чемпион по эксплуатации чувства вины. Что-то мне подсказывает, что её приезд связан именно с чувством вины отца моего, которого мы в семье зовём просто Дед.

Мы садимся за стол, выпиваем коньяку из хрусталя за встречу, и Дед, для которого дело всегда было на первом месте, заявляет тоном прораба:

- Некогда рассиживаться, через час мы должны быть у нотариуса. Перекусите – и поехали. Потом продолжим.

- Повод для посещения конторы? – спрашиваю я, уже, конечно, догадываясь, зачем приехала в Минск обожаемая сестра.

- А вот там и узнаешь, - воинственно отвечает Дед.

Теперь догадка превращается в уверенность.

- Ты хочешь вернуть квартиру законному наследнику, то бишь мне? – спрашиваю я, накладывая себе добрую порцию горячего жаркого: это означает, что я не намерен торопиться ни к какому нотариусу.

- Квартира моя, - сразу же ошетинивается Дед, - кому захочу, тому и отдам. Вот и весь сказ.

- А захочешь ты отдать мою квартиру, разумеется, Дине. Я правильно понимаю? Подайте-ка мне, пожалуйста, хрен с горчицей, а то что-то слишком сладко жить на белом свете.

Дед бросает вилку на середину стола (видимо, его подготовили основательно) и заводится с полуборота:

- Тебя, умника, забыл спросить. Как скажу – так и будет.

- Ты не забыл меня спросить, ты меня спрашивал. Ты, наверное, забыл, что я тебе ответил. Я ответил «нет».

Сестра вскакивает с места и демонстративно покидает лучшее место за столом. Чувство вины заставляет Деда городить глупости:

- Будешь умничать – вообще без квартиры останешься.

Теперь мне хочется швырнуть вилку вместе с тарелкой в ту сторону, куда гордо удалилась сестра.

Суть разногласий такова. Отец с матерью жили в двухкомнатной квартире в городе Минске, которая была построена кооперативным способом на деньги, заработанные мной и моей женой. Это была наша квартира – в прямом и точном смысле этого слова. Своей квартиры у моих родителей не было (так распорядилась жизнь): в начале 1990-х, когда Союз Советских Социалистических Республик неловко завалился, а потом в одночасье бесславно сгинул, они вынуждены были бросить свой замечательный дом, окруженный садом, в далёкой Средней Азии и бежать куда глаза глядят (не было дня, чтобы отец с чёрной горечью не вспоминал свой ухоженный дом и взлелеянный сад). Что заставило их поступить столь неразумно на старости лет?

Война, развязанная против «русских», то есть, не узбеков – против захватчиков, колонизаторов, агентов империи (которые по совместительству были отменными трудягами, превратившими местные пустыни в оазис). Пришлые оказались чужестранцами, и их без лишних церемоний просто выставили вон. С точки зрения новых хозяев древнего ханства – великодушно даровали жизнь (да продлит Всевышний дни милостивого падишаха); с точки зрения моих родителей – лишили не только нажитого, но и смысла прожитой жизни. Обобрали. Унизили. Изгнали.

Собственной крыши над головой не стало, жить было буквально негде, поэтому поселились у меня, у родного сына (моя сестра в это время решала свои семейные проблемы – разводилась из-за ревности с предыдущим мужем и по большой любви в очередной раз выходила замуж – в городе Горьком: ей было не до родителей). Это было естественно; однако с самого начала жизнь двух семей в маленькой уютной квартире не заладилась: старческий эгоизм, помноженный на обиду, претензии к судьбе и обострившиеся болезни, делал моих родителей мнительными и ранимыми, а общение с ними – каждодневным испытанием. Вместе мы прожили целых пять лет, которые всем домочадцам показались тоскливой вечностью: всем было плохо, тесно, все считали себя правыми, а других – нечуткими и замкнутыми на себе. Все были правы, все были виноваты, и всех мирила только безнадёга: перспектив не просматривалось никаких. Совершенно никаких.

По своему отец с матерью были хорошие люди, и природу их претензий и чудачеств можно было понять, можно было даже улыбнуться их неуклюжей тактичности, которая всегда была удивительно не к месту; но ведь и мы, племя младое, прижившееся на развалинах Союза, были вполне сносными, относительно здоровыми, следовательно, тоже эгоистичными, людьми, не желающими никому зла и, по понятным причинам, остро реагировавшими на

то, что наше исконное жизненное пространство урезалось самым нелепым, глупым и старомодным образом.

Больше всего доставалось, естественно, мне: для моей жены занозой были мои родители и, разумеется, я, а для моих родителей – я и моя жена.

В результате совместное проживание оказалось тем самым адом, куда привели донельзя благие намерения всех вместе взятых участников спасательной операции.

После пяти лет мучений, я, уже побывавший в больнице после нервного срыва, каким-то чудом получил возможность построить другую квартиру, трёхкомнатную (я сполна использовал полушанс, выцарапал льготный кредит – и плакал от счастья, попав в многолетнюю финансовую кабалу). Воля к жизни, усиленная отчаянием, сделали своё дело: мы с женой построили новое жильё, напрягаясь изо всех сил, а отец с матерью остались в прежней, двухкомнатной квартире. Эта квартира стала их квартирой, в фактическом и юридическом смысле (иначе нам бы не дали возможности строить трёхкомнатную).

Всё. Квартирный вопрос, который портит людям жизнь, был решён. После смерти матери отец несколько лет жил один. А потом женился и стал жить со своей нынешней женой в её квартире.

Квартиру его (мою, в перспективе предназначенную для сына моего) они сдавали внаём, деньги, естественно, в основном тратили на Димона. Это устраивало всех – вплоть до моего развода.

Спрашивается: кто являлся законным наследником двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Неподалёку от Комаровки, д. 21 кв. 117?

Мне казалось, что двух мнений здесь быть не может. Во всяком случае, мнение юриста по этому поводу меня не интересовало. Я являлся наследником, и только я (в смысле я как представитель моей семьи). Именно в этой квартире я намеревался жить после развода. Заберите у меня квартиру (мою, заметьте, квартиру) – и я оказываюсь на улице.

Спрашивается: почему сердобольные близкие должны забрать у меня – моё? Почему я должен оказываться на улице?

- А где мне жить, скажи на милость, папа?

- Как где? – как ворона с небес врывается в разговор жена отца, Дарья Фёдоровна, которой в этой ситуации сам Бог велел разумно промолчать, а не подливать масла в огонь. – Возвращайся в семью и живи. Нечего разводиться, нечего по бабам бегать. Взяли моду: как чуть что – сразу развод. Твоё место в семье. А эту квартиру поделим между тобой и Диной.

Видимо, я действительно сын своего отца, потому что предела моему возмущению нет и справиться с ним я не в состоянии. На сей раз вилки в моей руке не оказалось, и я, как мне хотелось бы думать, сдержанно, хотя и не в самых корректных выражениях, разъяснил Дарье Фёдоровне, что не стоит ей так бесцеремонно совать свой нос в чужие дела, потому что...

Она насторожилась и услышала только то, что хотела услышать: «свой нос» и «чужие»; этого было достаточно, чтобы искренне разрыдаться и дать Деду очередной повод обозвать меня «умником».

Опыт подсказывал мне, что в этой ситуации «слабым звеном», от которого может зависеть положительный исход дела, должна оказаться моя сестра – именно потому, что она-то и была звеном сильным. Я вышел в соседнюю комнату. Сестра стояла спиной ко мне, глядя в окно. Очевидно, ожидала моего появления.

- Дина, - сказал я, - какие у тебя основания претендовать на эту квартиру, скажи на милость? У тебя нет оснований, Дина. А я развожусь – мне жить негде, сестра.

- У меня есть основания, брат, - твёрдо возразила Дина, не оборачиваясь, и сделала паузу, чтобы подчеркнуть неотразимость далее следовавших аргументов. – Наши родители, папа и мама, вкладывали в твоё благополучие больше, чем в моё, и теперь настало время тебе платить по долгам. Полквартиры меня устроит вполне. Мне надо сына растить...

В этот момент она развернулась спокойным лицом ко мне и тихо добавила:

- Ты завтра опять женишься, и опять по любви, и квартира наших родителей достанется какой-нибудь расторопной молодухе. Я сама была на её месте, я знаю, что говорю. Нет уж, дорогой, у меня больше прав на эту квартиру, чем у неё.

Я в растерянности оглянулся по сторонам, словно ища поддержки у каких-нибудь светлых сил, имеющих хотя бы смутное представление о высшей справедливости. На пороге стоял отец. Да, я говорил своей сестре о Евгении, думал, что моя тайна, которую я доверил ей, сблизит нас. Я ведь знал о Динке столько всякого, что мог бы угробить отца родного и ничтожной частью вверенных мне молодой влюбчивой женщиной тайн.

Короче говоря, сейчас я в лучших традициях басмачей, подданных падишаха, получал ржавый нож в мою не сгорбленную еще старостью спину.

- Папа, надеюсь, мы не будем обсуждать, в кого из детей вы, любящие родители, вкладывали больше? Боюсь, такая постановка вопроса нормальными людьми просто исключается...

- Мы все деньги вкладывали в тебя, в тебя! С тобой ведь жили, поэтому тратили всё только на твою семью! А молодухе – вот, кукиш с маслом!

Для Деда такая постановка вопроса, судя по всему, не была откровением. Только вот кричал он, слишком надрывно и со слезой в голосе, от боли и страха, а не от восторга по поводу торжества истины. Нож в моей спине, казалось, добрался до сердца и легко разрезал его пополам, как спелое райское яблоко.

- Конечно, в тебя, в кого же ещё! – отца в дверях подпирала неутомимая Дарья Фёдоровна, которая пришла в себя и давала мне понять, что она не собирается соблюдать нейтралитет; боевая поза злобного хорька, у которого нос был похож на клюв, говорила сама за себя: нанесённая ей обида на её территории будет стоять мне недёшево. Полквартиры как минимум.

- Отец, - сказал я, стараясь не смотреть на Дарью Фёдоровну (которая, вращая клювом, словно мечом, так и лезла мне в глаза, очевидно, догадываясь, что особенно меня раздражает). – Я никогда не соглашусь на этот дикий вариант – отдать половину моей квартиру сестре, которая припеваючи отсиживалась в своём городе Горьком, когда мне здесь пять лет приходилось, ох, как несладко. Ты хочешь быть добреньким за мой счёт...

- Если ты не поделишься квартирой с сестрой, то у меня нет сына, - отчеканил отец (реагируя – голову даю на отсечение! – на так ловко и так некстати ввинченные мной «пять лет», «несладко» и «за мой счёт»: родные люди, даже если они по духу чужие, тонко чувствуют друг друга, и потому бьют в самые незащищённые места – как это сделал я, с ножом в спине).

- А у меня нет брата, - сказала сестра (это она, мать Димона, открыто встала на сторону «оскорблённого» Деда).

- Ты воспользовался положением родителей, забрал их себе, чтобы улучшить свои жилищные условия, а теперь отбираешь квартиру, которая тебе не принадлежит. Да, да, тебе бы никто не дал льготный кредит, если бы не родители, я специально узнавала! - Дарья Фёдоровна, привычно оставляя за собой последнее слово, двинула смелую версию, делающую меня злонамеренным монстром, всю жизнь державшим пакостливые умыслы за пазухой.

Очевидно, всё это уже в общем и целом, а возможно, и в деталях, обсуждалось за моей спиной. Возможно, не раз.

Я посмотрел на отца. Он не протестовал против версии Дарьи Фёдоровны, которая воспитывалась в детском доме. В тот момент мне показалось, что подобные измышления могли возникнуть только в голове человека, прошедшего счастливое детство в послевоенном детдоме. Чтобы во имя любви к ближним с такой ненавистью откликнуться на бытовые проблемы окружающих тебя нормальных людей...

Это «с ног на голову» надо было впитывать в себя с детства. Но ведь сестра моя росла не в детдоме, и не сиротой, а в одном со мной доме наших родителей...

В одно мгновение привычная жизнь с привычными родственными отношениями превратилась в пустой унылый звук, в далёкое воспоминание, которое не связывало меня ни с кем и ни с чем. Так, картинки с выставки. Горы вдалеке, жара, хлопок, высокое выгоревшее небо, гул самолёта, медленно летящего курсом на сказочную Москву, где даже летом прохладно, мама на кухне стирает бельё, я смотрю за Динкой – попури из прошлой жизни.

Казалось, всаженный в меня нож провернули с нечеловеческой силой. С хрустом.

Я вскипаю с пугающей себя самого яростью:

- Кто ты такая, Дарья Фёдоровна, и почему ты нагло лезешь в мои дела? Кар, кар... Ну, кто ты такая для меня, скажи на милость? Мать? Ты мне, слава Богу, не мать. Ты – тётка, которая живёт с моим отцом. Злобный хорёк!

- Я?!

Она, заваливаясь, повелительно косит взглядом в сторону отца.

- Она моя жена, - говорит он, выпучив глаза.

- Пусть твоя жена присядет и помолчит, - совершенно бескорыстно даю я разумный совет.

Лучшего повода броситься в истерику придумать невозможно. Этот повод становится ещё одним доводом лишить меня собственной квартиры как законченного монстра и негодяя. Сестра громко рыдает (чего за ней от роду не водилось; впрочем, не настолько громко, чтобы напугать Димона, растворившегося вместе с велосипедом где-то в недрах квартиры), Дарья Фёдоровна бьётся в нервном припадке и хватает ртом воздух, отец вынужден защищать обиженных женщин. Делает он это по-рыцарски широко и самоотверженно:

- Вон из моего дома!

Характерная оговорка, однако, — «моего» дома. Щепетильный отец не бросается словами, он мог разве что обронить, нечаянно выронить глубоко спрятанное слово. Уж не сговорила ли моя семейка со сварливой Дарьей Фёдоровной по поводу того, что её квартира может перейти в наследство моей сестре, матери Димона? И не в этом ли кроется причина недостойного поведения моего отца? И не за этим ли кушем (а мне — кукиш) так поспешно прилетела сюда моя сестра? Не потому ли им всем так выгодно лепить из меня монстра?

- Папа, твой дом — мой дом, тот самый, который ты у меня забираешь, я правильно уловил мысль? - пытаюсь я вернуть отца в границы здравого смысла.

- Слышать ничего не желаю. Вон!

- Ну, что ж, если я вас всех правильно понял, то у меня с этой минуты нет сестры и нет отца, а эту добрую женщину я вижу последний раз в жизни, - сказал я.

Затянувшуюся немую сцену (все всхлипы как-то разом оборвались) оживил племянник.

- Дядя Олег! — Димон, всё это время изучавший на кухне механические секреты велосипеда, выкатил его в прихожую. — А как на велике переключать скорости?

- Обращайся к деду. Дай краба, - я протянул ему ладонь, которую он стиснул изо всех сил, сияя зубами. В детстве все мы хороши, только вот старость всё портит.

И я бреду в свою трёхкомнатную квартиру, которая завтра тоже станет не моей.

3

С утра зарядил дождь. На улице серо и прохладно. Такую же грустно-муторную погоду обещают в течение ближайшей недели. Лето явно не торопится вступать в свои законные права.

Мрачная прямоугольная коробка здания Суда Советского района г. Минска.

- Гришин Олег Иванович! Истец! – резкий обвиняющий голос рыжей секретарши сквозь полуоткрытую дверь приёмной. Одета она без затей: белый верх – тёмный низ. Пытаюсь представить себе, как кокетничает эта аккуратная рыжуля в свободное от работы время – и мне удастся сделать это без особого труда. Она вульгарна, и кокетничать будет, разумеется, тоже грубовато и по шаблону. Несколько заученных фраз и хорошо освоенных игриво-наступательных интонаций – вот и весь наш небогатый женский арсенал, мисс очарование Суда Советского района г. Минска, не так ли?

Я вхожу в кабинет судьи, ещё не старой, но ужасно строгой женщины, чем-то напоминающей одновременно Дарью Фёдоровну и Евгению. А также, не исключено, мою маму и Динку. Она бросила на меня оценивающий взгляд, и, кажется, увидела всё, что ей было нужно.

- Ваша жена, Олег Иванович, не придёт сегодня на заседание суда. По уважительной причине. Она вчера была здесь, вот её письменное заявление. Я вас с ним ознакомлю. Почитайте сами.

Из заявления следует, что моя жена тяжело и неизлечимо больна, справка прилагается (отчасти это верно, но её болезнь всегда как-то особенно обостряется, когда дело касается наших отношений). Из заявления также недвусмысленно следует, что у нас на протяжении двадцати четырёх лет совместной жизни была если не идеальная, то образцовая семья. В последний год меня, супруга, как подменили. Я завёл на стороне молодую любовницу и решил бросить больную жену. Учитывая всё вышеизложенное, моя жена категорически против развода. Она просит суд дать шанс нашей крепкой семье на возобновление прежних отношений. Дата. Подпись.

- Что скажете Олег Иванович?

- А что я должен сказать? Если подано заявление о разводе, значит, не всё было так идеально.

- Это верно, это верно... В своём заявлении вы указали такую причину: «Не сошлись характерами». Что вы имели в виду?

- По-моему, это стандартная формулировка. Не стану же я расписывать, что происходило между двумя людьми на протяжении двадцати пяти лет... У меня ведь есть право не пускать посторонних в мою личную жизнь, Ваша честь?

Я не собирался иронизировать, но «Ваша честь» по отношению к обычной женщине само по себе звучит как издевательство. Судью такое обращение, кажется, не оставило равнодушным.

- Да, такое право у вас есть, истец. Но не хотите ли вы пояснить, что для вас стало причиной развода?

- Уж точно не болезнь жены.

- Ей, похоже, грозит инвалидность, она ходит, опираясь на трость. Вы же мужчина...

- Вот именно – мужчина, а не начальник хосписа и не Господь Бог. Я не отказывался помогать жене, не отказываюсь сейчас и не собираюсь отказываться в будущем. Хотя излечить саму болезнь я не в состоянии. Но её болезнь не основание ставить крест на моей жизни.

- А на вашей жизни прямо-таки ставят крест какие-то басурмане...

- Уважаемая Лариса Михайловна... - табличку на кабинете я успел прочитать. – Я догадываюсь, что с женой вы говорили достаточно долго для того, чтобы принять то решение, которое вы приняли; но я не собираюсь рассказывать вам о том, как выворачивались мои карманы, потрошились бумажники, просматривался мобильный телефон, каждый вечер вместо молитвы устраивались истерики, контролировался каждый мой шаг. Всё это, разумеется, в порывах благородной ревности. Началось это, Лариса Михайловна, не год тому назад, и даже не пять лет тому назад, а гораздо раньше. К сожалению, у меня были основания написать заявление о разводе.

Она посмотрела на меня более продолжительно и явно более мягко, откинула прядь осветленных волос и сказала неожиданно извиняющимся тоном:

- Мы отложим рассмотрение вашего дела на полгода. На шесть месяцев. Но у вас есть право подать заявление об ускорении пересмотра дела, - добавила она торопливо.

И сразу же после этого строгие складки (тавро на Том, Кто обречён повелевать судьбами других) вновь легли на её лицо.

- Вам понятна суть моего вердикта, Олег Иванович?

- Мне понятна суть вашего вердикта, Ваша честь.

- Вы свободны. Следующий!

- До свидания, - сказал я секретарше, - скоро пути наши опять пересекутся.

Она смерила меня взглядом – сверху вниз – и у меня появились основания запротестовать:

- Нет, нет, я никого не убивал, что вы; я всего лишь мужчина, стремящийся обрести свободу.

- Разведённый мужчина... Вот большое счастье, всю жизнь мечтала, - ответила она негромко, но внятно. При желании можно было продлить диалог, вступить за свою честь.

Однако я сделал вид, будто не нашёлся, что возразить на этот исключительно сильный словесный выпад в мой адрес.

На улице возле здания суда меня ждала жена. Всем своим видом она давала понять, что ей известно, какое решение приняла «Ваша честь».

- Что скажешь? – сказала она тоном, которым обычно праведники сопровождают подношение кукиша к физиономии злодея: «ну, чья взяла?».

- А что я должен сказать? Через два месяца ты опять получишь повестку.

- Знаешь что, Олег... - она привычно заняла ту позицию, с которой обычно начинались её истерики. – Надо забыть всё, что было, и начать всё сначала.

«Забыть всё – значит, забыть твои идиотские истерики; а вот начать – что?» Я не произнёс вслух этих слов; лишь отметил про себя, что всё уже началось сначала: бессмысленные общие фразы, за которыми стоял только один императив истукана: вернись, моли о прощении – докажи, что ты хочешь быть рядом с женой. Докажи. Моли.

И поначалу я так и делал: просил прощения, не чувствуя за собой ни малейшей вины, ибо полагал, что оправданно – из гуманных соображений – шёл по пути наименьшего сопротивления. Главное – мною руководили благие намерения: я хотел мира и согласия. Во имя отца, и сына, и матери его. А от меня ожидали уже следующую уступку, потом следующую – и дело всегда заканчивалось одним и тем же: в конце концов, от меня требовали невозможного, а именно: любви. Мою жену раздражало, что я тяну семейную лямку, потупив очи долу, ей хотелось, чтобы глаза мои горели и сияли от счастья. А то, что счастья не было, её мало интересовало.

Если бы «Сказка о рыбаке и рыбке» не была написана, я имел бы все шансы стать её автором. Жена раз за разом оказывалась старухой у разбитого корыта, счастливо не замечая, что движется она по одному и тому же кругу. А я уже понял, что не в состоянии ей этого объяснить. И вот – «начать всё сначала». Говорится это без тени шутки, само собой. С горящими голубыми глазами.

Я всерьёз стал подозревать, что жена получает удовольствие от зрелища разбитого корыта: это давало ей возможность ещё раз попробовать стать всесильной «владычицей морскою», чтобы на законных основаниях требовать от меня невозможного.

Пока я думал обо всём этом, жена уверенно двигалась по кругу.

- Бросил меня... Предал... Ушел к молодой... Стыд, позор... Загубил мою жизнь... Костыль... Бросил...

Тут я решил вклиниться в монолог обиженной женщины и попытаться сыграть на противоречиях – постараться хотя бы привлечь внимание к тому, что говорит она одно, а на самом деле вкладывает в свои слова совершенно другой смысл.

- Раз я такой монстр, раз я загубил твою жизнь, раз я предал тебя – так разведись ты со мной, и точка. Стань свободной. Забуди меня – и баста. Ведь счастье само плывёт тебе в руки: я помогаю тебе избавиться от себя – от предателя, изверга и кровопийцы.

- Знаешь что... Пошел ты к черту!

Она развернулась и поплелась живым укором, тяжело опираясь на изящную трость. Смотреть на это было выше моих сил, это она рассчитала верно.

Но ведь она серьёзно ждала, что я откажусь от себя, приползу к ней на коленях и сам предложу быть у неё на посылках.

Это выше моего понимания. С ума сойти.

4

- Папа, ты не прав, - говорит мне сын.

- Я готов выслушать твои аргументы, - пытаюсь быть хладнокровным я.

- Понимаешь, папа... Умные не женятся. Женятся дураки. Женщины – это ведь... не люди. Нельзя связывать свою судьбу с каким-то полоумным существом.

- Женятся либо дураки, либо мудрые. Давай рассудим.

- Давай.

Я не готовился к разговору, но, почувствовав боль в словах сына, сразу беру быка за рога.

- В человеке есть две сферы: психоэмоциональная (чувства) и рационально-логическая (ум). Жить более-менее полноценной жизнью – значит, испытывать чувства и пытаться их контролировать. Эта данность неотменима. Согласен? Вот почему, нравится тебе это или не нравится, ты (или я, неважно, кто – любой из нас) вынужден снабжать пищу ум и душу.

Лучшая пища уму – задача такого плана: отформатировать мировоззрение в философскую систему; лучшая пища душе – дружба и любовь. И душа, заметь, поставляет пищу уму, сама получая взамен «инструкции по переживанию». Возражения есть?

Умным возразить нечего. Соглашаться надо уже из чувства собственного достоинства.

Молчание сблизило нас.

- А теперь о женщинах...

Если женщина глупа, это не значит, что мужчина может позволить себе стать по отношению к ней скотом. Люди вообще не заслуживают человеческого отношения; но если относиться к ним так, как они того заслуживают, сам перестанешь быть человеком.

Не стоит обезличивать женщину. Не все женщины одинаковы.

Да, женщина – это во многом стихийное, природное явление; но даже кошки и собаки не одинаковы. Даже лес неодинаков. Даже камни.

Чтобы найти свою женщину и получать удовольствие от общения с ней, надо потрудиться. И вот тут я скажу тебе следующее.

Я не знал, что произнесут мои уста через несколько секунд, но я был уверен, что сумею выразить нечто достойное внимания: я чувствовал, что я прав, и это чувство рождало во мне силу и энергию правоты.

- Любить может только умный мужчина, и любить можно только душевно одарённую, тонкую женщину. Не обязательно, чтобы она тебя понимала; но она обязательно должна чувствовать твою правоту. И вот тогда вы достигните гармонии. Натура и культура (психика и сознание) гармонично сочетаются и на уровне личности (мужчины, то есть тебя), и на уровне отношений мужчина – женщина. Гармония! И госпожа Удача не оставит тебя – по закону космической гармонии. Удача – это способ реализации закона. Вот почему Удача на стороне умных. И Удача – это на всю жизнь. А дуракам – всего лишь везёт. И счастье будет, если ты умён. А у дураков счастья не бывает: они могут быть лишь довольны или недовольны жизнью.

Получается так, сын мой, что тебе придётся рискнуть с женщиной. Иначе – глупо.

Молчание подчёркивало весомость моих слов и, в конечном счёте, утверждало мою правоту.

- Не скажу, что ты меня убедил, но... Поживём – увидим.

- И последнее... Сильным, но не умным людям кажется, что испытывать чувства – это признак слабости. Не надо быть бабой, дескать. Они

отказываются от чувств – и превращаются в сухарей, зануд, суперменов, мачо – в несчастных существ, в слабаков, которым иногда везёт, и они испытывают нечто вроде удовлетворения от жизни. Нет, сын мой. Чувства – это проявление силы.

- Я подумаю, папа.

А я подумал вот о чём. Хорошо, если у вас в роду есть (или был – неважно, ибо это вечная родовая отметина) счастливый человек. Это значит, в роду в принципе может быть – и обязательно будет – счастье. Это великий род.

- Сила мужчины, в конечном счете, определяется простой мерой: насколько счастливо он прожил свою жизнь, - откликнулся я на свои мысли.

Так говорил я сыну Никите.

А тем временем события развивались по катастрофическому для меня сценарию. Дед великодушно выдал мне ключи от «моей» квартиры (через сына), и жил я именно там. Жена попросила сына доставить мне ключи от машины, от тёмно-синего «Пежо», что означало: домой больше не возвращайся, твоя доля имущества тебе выделена. Наслаждайся жизнью и свободой, несчастный.

Все ждали, что я вот-вот вернусь домой, заберу заявление о разводе – и мы заживём как прежде, не без проблем, но припеваючи. Собственно, как все. Жена моя, до того не ладившая со свёкром и с моей сестрой, теперь ежедневно созванивалась с ними, и они обсуждали, что надо делать для того, чтобы вернуть заблудшую овцу, то бишь меня, в наше сплочённое стадо. Жена, разумеется, теперь также считала, что полквартиры по праву принадлежит Динке (а ведь до этого именно жена изводила меня упреками в том, что я занимаю недостаточно твёрдую позицию по «нашей» квартире, что я «упускаю» квартиру нашего сына, что деньги от сдаваемой в наём квартиры должны идти не Димону, а нам). Теперь она поменяла тактику: если у меня не будет крыши над головой, то мне негде будет жить; следовательно, я как миленький вернусь домой, к её разбитому корыту и нарисованному очагу. Цена моего возвращения, цена вновь обретённого ею счастья пилить меня, кругом виноватого, до скончания века – всего-то полквартиры...

Серебряные копейки, в сущности.

Разумеется, Дед, ободрённый поддержкой моей жены, напуганный заботой моей сестры и сбитый с толку солидарностью своей жены, проклинал меня с особым чувством. Обо всём этом рассказывал мне сын, демонстративно не давая никакого комментария разворачивающимся за моей спиной интригам. Судя по всему, созерцание той стороны души, с которой раскрылись близкие люди, от которых впредь хочется держаться подальше, впечатлило его.

А я, готовясь неизвестно к чему (к очередной грозе с громом среди ясного неба?), тем временем вживался в новую для меня «старую» жизнь. Как-то само собой прорезалось желание бегать по утрам – как тогда, двадцать лет назад, когда я готовился к схватке с миром за право состояться как личность.

А возможно, желание бегать – это проекция желания убежать от самого себя? От своих проблем? Желание уклониться от грядущих схваток?

Так или иначе, я нарезаю по знакомому парку те же круги, что и двадцать лет назад. Дразнящая ассоциация «на круги своя» не даёт мне покоя. Заигрался? Как-то незаметно превратил жизнь в игру?

Я давно заметил: как только прекращаешь бессмысленно приспосабливаться под реальность, данную нам в ощущениях, и начинаешь следовать мировоззренческим принципам (то есть, приспосабливать, перекраивать реальность под себя), жизнь в значительной степени превращается в игру. Серьёзное отношение к жизни до жути напоминает игру. Что это за фокус такой?

У меня нет ответов; у меня даже вопросы формулируются в таком пугающе простом виде впервые. Аки пёс на блевотины своя?

Нацепив спортивные трусы и кроссовки, выхожу из подъезда. Узнаю некоторых соседей, резко постаревших и сильно сдавших, напоминающих скукоженные тени самих себя. Здравуюсь. Они, живые, отвечают мне вяло и без интереса. А иных уж нет, как я догадываюсь. Узнаю тебя, жизнь.

Перехожу дорогу. Начинаю пробежку. Узнаю камни. Узнаю детскую площадку с песочницей посередине – это центр парка. И здесь всё точно так же, как и двадцать лет назад, когда я приводил сюда своего сына играть, осваивать науку жизни, – просто потому, что и тогда уже разваливаться было, собственно, нечему. В неприкосновенности сохранилась сама атмосфера разрухи. Скамеек по-прежнему нет, торчат лишь вечные бетонные столбики, на которых, по идее, должны крепиться доски, превратившие бы два бетонных надолба в скамейки. Мне так и не удалось посидеть и понежиться на них. Да и не того было. Ах, ты, молодость, буйная молодость...

Вокруг песочницы – незамысловатые железные снаряды, как-то: прочно врытые в землю сваренные из толстых труб рамки для качелей, служащие энтузиастам подобием турника (самих качелей я не видел никогда; возможно, их просто забыли повесить); лесенка в виде радуги, что-то вроде шведской стенки полукругом: нужны годы тренировок, чтобы пройти по ней и, если крупно повезёт, уцелеть (детям этого не объяснишь, поэтому вся забава вокруг этого снаряда сводится к тому, что круглоглазые детки рвутся к нему, чтобы опробовать свои врожденные способности, а мамы с округлёнными от ужаса не накрашенными глазами их не пускают); классическое сооружение из металла, неременный атрибут и украшение всех детских площадок, собственно, и делающее их детскими, – крутая лесенка, поручни, жёлоб: этот аттракцион, несколько напоминающий голову слона с вытянутым хоботом («А где же сам слон и где его ноги?» - озабоченно разводил руками сын Никитёныш. «Представь себе, что его закопали». «Люди?» «Конечно, люди». «Добрые?» «Самые добрые на свете». «Зачем?» «?!» «Зачем они его закопали?» «Так...» «Просто так», - успокаивался сын. «?!!!»), пользуется неизменным успехом у несмышленной детворы, которая живым конвейером с визгом скатывается на пятой точке прямо на песочную

площадку, стремясь сотворить при этом чудовищную кучу малу. Жёлоб отполирован, кажется, до дыр. По обе стороны жёлоба – эскорт сияющих от счастья мамаш. Папаш, как и во времена моей молодости, почти не видно.

Но песок на площадке, что характерно, свежий, и относительно недавно (года два, три тому назад) выкрашены железные снаряды, пусть и не очень старательно, но с очевидно добрыми намерениями. Эти два противоречащих общему контексту разрухи обстоятельства – песок и краска – располагают к элегичности и сентиментальности. Всё кажется не таким уж плохим. И по-прежнему в середине песочницы валяются забытые болтливыми мамашами разноцветные пластиковые лопаточки и формочки. Жизнь продолжается?

Детская площадка по утрам становится местом спортивным. Многие, совершающие утреннюю пробежку, любят здесь размяться: относительно просторно, вокруг деревья, да и снаряды, опять же, под рукой. Вот и я по старой привычке решил потряхнуть стариной – подтянуться на турнике.

Но место возле искалеченных качелей было занято: меня опередила старушенция в сиреневых буклях с крючковатым носом, которая, отставив в сторону трость, пыталась, если я правильно истолковал её движения, размахивать руками. Я знаю, что принято умиляться при виде карапузов, которые стараются выглядеть «большими», а также при виде почтенной старости, которой взбрело в голову вспомнить молодость. Но меня прыть старых кляч только раздражает. Их достоинство в том, чтобы умерить прыть, а не выставлять на всеобщее обозрение немощь, компенсируя её глупостью, которую в их возрасте принято считать бодростью духа.

Очевидно, она ждала, что я подойду и сделаю комплимент её дерзкому вызову природе. Но я энергично разминался на расстоянии, исключавшем контакт любого рода.

Тогда она решила удивить то ли меня, то ли Господа Бога, а может, и саму себя: поплевав себе на скрюченные ладони, она вытянула руки вверх и ухватила за перекладину турника, сделав вид, что болтается. Я насторожился: если физкультурница с вековым стажем вздумает оторвать ноги от земли, то в ту же секунду рискует оторвать себе руки, не исключено, по самые плечи, так и будут болтаться кисти с предплечьями отдельно от подвижной старушки как напоминание молодому поколению, до чего может довести неразумный культ здорового образа жизни.

Что тогда делать мне? Прерывать разминку?

В ту же секунду я понимаю, что никогда больше в жизни не подойду к этому заплёванному, осквернённому турнику, на котором я так любил почувствовать упругость мышц.

Жизненное пространство вокруг меня сокращалось при помощи каких-то, на первый взгляд, случайных обстоятельств или людей. Но меня не покидало ощущение, что за всем этим стояла железная, неумолимая закономерность.

5

Конечно, он меня подрезал. Безо всякой на то надобности. Я, разумеется, был готов к этому, поэтому резко тормознул, едва не задев бампер его

серебристой «Volvo» (сам при этом слегка вжал голову в плечи: въедет в меня сзади какой-нибудь ублюдок или нет? На сей раз нет? Спасибо, порадовали). И что нравится Евгении в этих «Volvo». А, Евгения?

- Хамло. Урод, - прокомментировал я маневр... кого, собственно?

Мне захотелось хотя бы в профиль взглянуть на физиономию уroda, и я нажал на педаль газа. Настиг его небыстро. Хамлом оказалась милая девушка, блондинка, кто бы сомневался, которая почти с улыбкой встретила мой твердый взгляд-выпад. Здравсьте, леди, блин.

На парковке перед магазином не было свободных мест. Что они здесь делают, толпы опарышей, в это время суток, когда обед давно закончился, а до конца рабочего дня еще сидеть и париться? Работать надо, а не по магазинам шастать. Есть хотите? Поэтому надо работать.

Я подождал минут пять. Радиоприемник у меня в машине не настроен (слушать ублюдочный треп жалких джеев? внимать глупости, замаскированной под весёлое, беззаботное остроумие? радоваться отсутствию вкуса и чувства юмора у взрослых людей? только под страхом смертной казни). Время тянулось медленно. Складывалось впечатление, что опарыши вошли в магазин, а выходить оттуда не хотят ни за что на свете. Как будто им там медом намазано. Или чипсы бесплатные, политые пивом, в тазиках расставлены на каждом углу. Ну, не чернь ли?

Наконец, передо мной освободилось местечко. Я уверенно вписался в отведенный мне судьбой кармашек между двумя толстомордыми джипами. Вышел из машины. Нажал на кнопку брелка – закрыл дверь.

В этот момент бесшабашно распаивается дверь одного из джипов и задевает мою водительскую дверь. Вмятины не будет, а вот царапина – как пить дать появится. Обстоятельства же, между прочим, могут сложиться так, что мне машину скоро придётся продавать.

- Алло, - говорю я. – Поаккуратнее можно?

Вываливается жлоб и, не прекращая говорить по мобильнику, поднимает вверх два перста: дескать, извини, брат. Нереальный тебе респект и уважуха. И направляется в магазин.

Ну, не сволочь?

В магазине народу оказалось немного. Вот объясните мне, почему народу нет, а все места на стоянке заняты?

Продавщица, мне показалось, была со мной особенно нелюбезна, как будто я украл что-нибудь в магазине или не дал ей щедрых чаевых.

Свежих батончиков, кто бы сомневался, уже не было. Твердый сыр оказался мягковатым – будет не резаться, а крошиться, к тому же вместо ожидаемой терпкости непременно будет отдавать сиропной сладостью. И я его почему-то покупаю. Вместе со вчерашним батончиком, выпеченным позавчера.

Что же это: заговор против меня?

Меня настигла и подмяла под себя депрессия, в этом не было никаких сомнений. Я не испытывал никаких эмоций, никаких желаний. Никаких стимулов. Впал в своего рода спячку наяву.

Я сидел на стуле, тупо смотрел на гору свежевыстиранных, но мятых, носков, трусов, рубашек и не испытывал ровным счетом ничего.

Алкоголь? Не хотелось.

Женщины, в смысле покинутая мной на неопределённый срок вследствие невразумительности наших отношений Евгения? Либи́до мое дремало и просило его не беспокоить. Чем еще можно было прельстить немолодого, но и далеко еще нестарого мужчину, то есть себя? Чем?

Опасаясь какой-нибудь мистики, включил взятый на прокат телевизор. Оберегая свою нервную систему, выбрал новостную программу. И на тебе, нарвался на сенсацию. Одной из топовых новостей, идущих сразу вслед за известием об умопомрачительных пожарах в Калифорнии, была такая: оказывается, пик интеллектуальной деятельности, по мнению высококолобых пожилых исследователей, приходится на 39 лет. После этого клетки мозга интенсивно отмирают. Умственная активность падает. Человек глупеет. И все это молодая ведущая изложила с идиотской улыбкой.

Каково слышать это человеку, которому уже 50?

Настроения мне это не прибавило. Но и не убавило, что дало повод теоретически порадоваться за мой пришибленный оптимизм. Когда нечего терять, ничего и не потеряешь. И это хорошо – с одной стороны.

А с другой... Меня злило, что даже когда все исключительно плохо, обязательно найдется что-то хорошее, пусть в микроскопической дозе, – и все испортит. Ложка меда в бочку с дегтем – и всё пропало: исходный продукт уже не равен сам себе. Чистота нарушена. Устройство мира раздражало.

Русская хандра? Интересно бы знать, по какому поводу? По вселенскому? Это бы меня развеселило. По поводу Евгении?

Это не смешно, однако объяснение – враг хандры. Легче не стало, стало понятно, что легче не будет – и в этот момент на душу снизошло нечто вроде облегчения.

Я уже знал, что рано или поздно поеду к Евгении, только вот зачем-то оттягивал неизбежное. Ждал вечера?

Луна набирала силу, прямо на глазах превращаясь из бледного пятна в желтоватый диск, уверенно становившийся центром мироздания.

- Неужели ты не мог объяснить судье, что развод неизбежен? Как можно было отложить дело на полгода? На полгода! Это невозможно! Мы не сможем жить вместе, я не смогу жить с женатым мужчиной. Я чувствую себя девкой. Убери от меня руки!

Она говорила тихим голосом, в котором нервно-печально переливались слёзы. Туда – сюда, словно из пустого в порожнее. Ещё год назад я был бы восхищён её чувством собственного достоинства и раздавлен ощущением собственной вины. А сейчас я, не испытывая никаких чувств, понимал, что не могу уклониться от разговора, который казался мне бессмысленным.

- Ты считаешь, что главная проблема наших отношений в том, что я не разведён? Тебе кажется, Евгения, что других проблем в наших отношениях не существует?

- Да, главная проблема в том, что ты муж своей жены. Ты не мой муж, - сказала она тоном обиженной девочки, которой не досталось фантика.

- Главная проблема в том, что ты меня не любишь. Когда-то любила, а теперь не любишь. При чём здесь моя жена?

- При том, что я не верю тебе. Мне кажется, ты просто тянешь время. А потом вы опять сойдётесь с женой и будете вместе растить внуков.

Не возражать на подобные обвинения значило бы согласиться с ними. Очевидно, я должен был активно протестовать. Доказывать. Следовательно, оправдываться. А мне даже зевать было лень в ответ на то, что услышал.

И вдруг я ощутил лёгкий приступ той злости, которая помогала мне реагировать на вселенскую глупость.

- Подожди. Ты хочешь сказать, что наши отношения наладятся сами собой после того, как я разведусь? Ты хочешь сказать, что в тот самый момент, когда изменится мой семейный статус, у тебя появятся чувства ко мне, чувства, которых сейчас нет? Евгения, я правильно тебя понимаю?

Молчание.

- Скажи мне только оно: ты меня любишь или нет?

- Не знаю, - говорит она, по-мужски великодушно пренебрегая возможностью многозначительно, по-женски, помолчать, придавая простым словам сумрачный смысл, делающий меня виноватым (уж не за эту прямоту я так люблю её? да и люблю ли?). - Думаю над этим.

Это ответ в стиле рыжеволосой секретарши в суде. Неужели сын мой прав – все женщины одинаковы? Она опять держит меня на расстоянии, но не отпускает от себя. Собираю остатки здоровой злости и говорю, на мой взгляд, жёсткие вещи:

- Я не чувствую твоей любви. Честно говоря, я уже и сам не знаю, как я к тебе отношусь. Во всяком случае, возможность разрыва с тобой меня уже не пугает...

Мне не без труда дались эти слова, которые я столько раз произносил про себя по утрам и вечерам, но не решался сказать их, глядя в лицо Евгении. Мне казалось, что это равносильно жесту отчаяния: набраться мужества – и указать на трещину в наших отношениях, которую она, возможно, не замечает или не желает замечать. Первым обнаруживает трещину тот, кто больше любит; но – вот ирония! – кто первый решится указать на неё, тот и становится инициатором рокового расставания. В народе, который крепок духом опарышей, это называется «он решил меня бросить».

Однако она реагирует на мои слова преспокойно. И я не понимаю природы её дурацкого спокойствия. Её раздвоенность явно не мужского происхождения.

Каков мой статус, её статус и статус наших отношений после подобного решительного объяснения?

Ясно одно: на ночь у неё я не остаюсь. Это, как день, ясно нам обоим, и она прощается со мной подчёркнуто холодно, не целуясь.

Надо ли говорить, что на дворе стояло лето, до безобразия напоминавшее позднюю осень. Туман сырым холодным облаком окутал землю. Все жили в

облаках – на земле, и вместе с тем словно на небе. В двух измерениях сразу. Вдоль тротуаров торчали мокрые деревья. Казалось, темнело гораздо раньше положенного срока. Луны, на которую, возможно, захотелось бы поковырять, просто не было видно.

Все было против меня.

Но что-то в этом противостоянии меня радикально устраивало.

Интересно, может ли мизантропия быть формой жизнелюбия или это всё же не слишком высокая болезнь, вариант банального самопоедания?

Возможно, таким образом природа избавляется от особей не слишком жизнеустойчивых – запускает программу самоликвидации.

6

Из пищи для души осталась только дружба. Позавтракать?

И я отправился в гости. Утром в гости пойдёшь далеко не к каждому. Только к тому, кому не надо объяснять, что если ты явился ни свет ни заря, то у тебя есть на то веские причины. К тому, кто не перепутает бестактность с сигналом SOS.

И вот здесь меня поджидал немаленький сюрприз.

- Ты вздумал развестись со своей женой, Олег Иванович? – воскликнул мой просвещённый и верный друг Александр Доброхотов, профессор, во времена былые и незапамятные влюблённый в мою жену Нину, и даже, как он уверяет, ходивший одно, весьма непродолжительное, время в неофициальных женихах. Утверждать подобную чушь даёт ему право то обстоятельство, что Нина во время первых горячих размолвок со мной коварно соглашалась слушать пылкое чтение стихов «при звездах» (по мне куда лучше «под луной») в исполнении моего закадычного друга. Причём, читал он ей не только талантливые чужие, но и отличные свои стихи, что было, по-моему, особенно подло.

- Ба, ба, ба, - ответил я.

- Не ожидал я от тебя такого, - мой добрый друг решил не понимать шуток. Мне это, естественно, не понравилось, что я тут же выразил живейшей мимикой. В ответ, однако, не получил умилительно кривой рожи, на что я, откровенно говоря, очень рассчитывал.

Здесь я сделаю лёгкое лирическое отступление, посвящённое шуткам. У меня есть теория (профессор-филолог в курсе, хотя презрительно кривится: а хороший знак!), согласно которой все самые серьёзные вещи можно выразить только в шутливой форме.

Отношения стремящихся навстречу друг другу «ума» и «чувства» (скажем смелее: мужчины и женщины) – всегда смешны, как и все то, что обречено на очевидный провал; однако при всей нелепости благородного побуждения «а давайте совмещать несовместимое! давайте жить дружно, стремиться к счастью!» в отношениях этих нет ни капли смешного: это форма существования трагического. Именно так. Само по себе трагическое непременно включает в себя момент иронии. Получается: тот, кто не делает

смешной, обреченной на неудачу попытки, тот попросту не живет. Тот самый смех и грех: смеяться грешно, а не смеяться – глупо.

Вот почему шутки являются оборотной, комической стороной трагического: и там, и там с экзистенциальным скрипом происходит сочетание несочетаемого, трагикомедия (современная форма трагедии) становится формой воплощения «единства противоположностей».

Вот почему шуточный тон великих романов (а все великие романы шутивы, на мой дерзкий вкус) как форма существования невозможного самим фактом своего присутствия в тексте как бы «доказывает», внушает надежду, что мужчина и женщина могут быть вместе, должны быть вместе – именно потому, что это невозможно. Шуточный прием нагружен философией до такой степени, что смешного в романах практически нет ничего. Смешно, не правда ли?

Шутка смешна тогда, когда она глупа, одномерна (да и то для тех, кто не понимает; для умного человека появляется повод горько посмеяться над теми, кто никогда не смеется последним); если же она серьезна, то за смехом всегда стоят «невидимые миру» слезы. Хочешь говорить о серьезном – говори смешно, иначе вся серьезность станет напыщенной, смешной, культурно бессодержательной. Именно смешное наиболее адекватно серьезному. Серьезная шутка – это по-настоящему не смешно: в этом и соль шутки, над которой хочется смеяться всегда.

- Что необычного разглядел ты в том, что приличный, зрелый мужчина решил, наконец, развестись? – сказал я, примирительно настраиваясь на «серьезный» лад.

- Фигляр и паяц, - парировал неулыбчивый профессор Доброхотов. – Жертва парадокса.

Дальше, чтобы не утомлять своего читателя, буде такой найдётся (рад познакомиться, чрезвычайно рад, польщён, так сказать, и тронут, гм, гм, ценю, ценю), я опущу пылкий монолог неглупого (вот беда!) профессора (честно говоря, не хочется утомлять прежде всего себя пересказом всего того, чем развлекается наиболее морально устойчивая часть человечества на протяжении последних двух тысячелетий). Он даже ссылаясь на заповеди, замшелые, но, якобы, вечно живые и актуальные. Строго говоря, такого я от профессора не ожидал – хотя и подозревал, что годы берут своё, и «пора бы уже перестать хихикать», «пора вырасти из коротких штанишек иронии», «пора обратиться к вечным ценностям», «обратить свой взор» и тому подобные проверенные временем перлы всё чаще украшали слог профессора, и чем строже и напыщеннее становилась его речь, тем сложнее достигали мы взаимопонимания. Словом, тьфу бы на всю эту галиматью, однако...

Неужели дура ведущая была права – после 39 лет клетки мозга отмирают, человек тянется к кресту, становится лучше, потому что резко глупеет, и на нём пора ставить крест?

А как же тогда я? Исключение из правил? Или я просто не замечаю, как деградирую, только в какую-то обратную сторону?

- Кто является автором бессмертного выражения «одинокость печать»? – внезапно озадачил я моего доброго друга Александра Доброхотова.

- Ба, ба, ба, - проблеял тот. Потом снизошёл до ответа:

- Не Иосиф Бродский.

Ответ мне понравился, хотя и несколько озадачил.

- С чего ты взял?

- «Письма римскому другу» читал? Там нет такого.

Я не стал вникать в детали и вновь поставил вопрос ребром:

- Кто же тогда?

Многозначительное молчание. Я решил не торопить его и дать покрасоваться вволю.

- Отдаёт веком девятнадцатым, веком гениев, забияк и дуэлянтов, - изрёк, наконец, Доброхотов.

- Мне нужен автор, - упорствовал я.

- Не-ет, тебе не автор нужен, тебе нужно понять, какой смысл ты вкладываешь в это нелепое выражение! Я ведь тебя до потрохов вижу! До мозга костей! Ты замыслил какой-то дурацкий побег! «Одинокость»... Куда, дурашка? Как можно разводиться с такой женщиной? Ты же коверкаешь ей жизнь, ты бросаешь её! Предаёшь! Её и себя! И меня! Что же тогда остаётся на белом свете святого? А?

Духовно близкие люди бьют похлеще родственников: норовят ткнуть святым кулаком в смертельно опасные точки-сплетения, словно специально обученные боевым искусствам миролюбивые монахи.

- Ты ведь знаешь, почему я развожусь: моя пытка длится годами. Нина постоянно требует от меня невозможного, требует агрессивно, тупо, и так и будет вытрясать из меня душу во веки веков. С ней мне один путь: либо её изводить, либо самому подышать.

- Скажи мне честно: ты ведь уходишь к Евгении?

- Я ухожу от Нины, а не к Евгении. Разницу улавливаешь?

- Ты хитришь и крутишь хвостом. Я тебе не верю.

- Спасибо на добром слове. Тебе очень выгодно мне не верить. А ты машешь языком, как помелом, прячешься за готовые шаблоны, лекала, прописные истины и чадишь кадиллом морали, напуская туману. Ты социоцентрист! Скрытый моралист! - внезапно выкрикнул я. – Для тебя личность – пустой звук! Так ты докатишься, если уже не докатился, до корявенькой идеи Бога! Это ты-то, в недавнем прошлом великолепный бабник, сибарит и гедонист! Большой ум!

Я невольно оглянулся, как бы ожидая увидеть за своей спиной на кухне у друга любовно разложенный по всем правилам костёр – пекло для еретиков.

- Ты Бога не трожь, - сказал Александр Доброхотов, бывалый турист и путешественник. – А лучше на себя посмотри: ты же деградируешь, глупец. На тебе действительно какая-то печать, если присмотреться, какая-то отметина. Ты – меченый, я давно это разглядел. Нельзя быть таким воинственным. Неужели тебе просто не жалко Нины? Неужели тебе не стыдно?

- Только сволочь может задавать такие вопросы своему другу, Саша.

- Только сволочь может бросить больную жену, прикрываясь «печатями», Олег Иванович.

- Но ведь у тебя же ребёнок от другой бабы, Саша, дорогой мой Шурави, и не тебе читать мне мораль! – я был взбешён до крайней меры.

- Но я не развожусь со своей женой, заметь, и я не заставлял «другую бабу», как ты выражаешься, рожать от меня.

Мне бы хоть немного этой идиотской уверенности больших умов в собственной непогрешимости. Кажется, я понимаю, в чём биологический смысл интенсивного отмирания клеток мозга: расчищается место вере, и человек может достойно завершать свой жизненный путь. Чем меньше думаешь – тем лучше и чище становишься. Идиот, как известно, до сих пор остаётся единственным положительно прекрасным персонажем в мировой литературе, своим одиночеством и неприкаянностью подозрительно напоминающим Иисуса Христа. Шёл Иса к Мусе. Амен.

- Одиночества печать, Александр Бонифатьевич, – это такая печать, которой от рождения мечены мы все. Думаешь, тебя минует чаша сия?

- Я думаю, что в старости рядом со мной найдётся человек, который поднесёт мне чашу или хотя бы стакан не отравленной воды; а вот ты останешься один, совсем один... Абсолютно один-одинёшенек. Представляешь?

«А нужна ли мне такая старость, когда даже стакан не отравленной воды мне будет не под силу?» - подумал я, но отчего-то не произнёс этой крамолы вслух.

Тем не менее, жизненное пространство вокруг меня, реагируя на ничтожно слабые импульсы (эффект виртуальной бабочки?), напряглось, качнулось и сократилось, по моим ощущениям, сразу на добрых пару галактик. Может, я успел накаркать себе что-нибудь не то?

Всё было плохо, но ведь луну с её колдовским гипнотическим свечением никто не отменял, и я, подчиняясь какой-то вечерней неразумной воле, поехал к своему персидскому другу поэту Ахура. «Луна – моя единственная возлюбленная, которая никогда мне не изменит, потому что никогда не будет моей», - любил повторять он с некоторых пор. Его грустные карие глаза при этом оживали и начинали отливать жёлтоватым блеском, словно в них отражалась луна.

- Одиночества печать? – переспросил Ахура, всегда оживлявшийся к вечеру. Он великолепно владел русским языком, немного хуже, чем персидским, но лучше, чем английским. Стихи в зависимости от настроения он писал то на русском, то на персидском. – Сильный образ. Это выражение нашего великого Омара Хаёма.

И в подтверждение своей мысли он распевно прочитал стихи на древнем персидском наречии.

- Вот видишь? – сказал Ахура. – Он, правда, говорит «клеймо одиночества», открывающее доступ в касту избранных, которых чернь

считает отверженными. И носить такое клеймо – большая честь. Это как высший знак отличия. Как царская корона.

И он опять прочитал несколько строк, поражавших русское ухо экзотическим звукорядом: обилием акцентированных, перетекающих друг в друга гласных, и хрипловатым гортанным клёкотом согласных, хранившим энергию предков-победителей. Строки завораживали и убеждали. Было совершенно ясно, что речь шла об одиночестве.

Возразить было сложно. В принципе я был удовлетворён таким разрешением мучавшей меня загадки; я только уточнил:

- В этих стихах наверняка речь идёт и о луне?

- О, да, конечно, о луне. Где одиночество – там и луна. Помнишь «Лунную сонату»? Это же об одиночестве.

- А в каком веке жил великий Омар Хаём?

- В 12 веке жил. Но вообще-то в этом своём стихотворении он намекал на суру из Корана, если я правильно помню. А сура... Подожди секунду.

Он позвонил кому-то, сердечно поздоровался, что-то горячо обсудил, страстно, будто навсегда, попрощался и торжественно объявил мне:

- Я так и знал. «Одиночества печать» – это подлинный зороастризм. Можешь не сомневаться. Я даже знаю откуда: это «Гаты», священные гимны Заратустры. Выражение появилось гораздо раньше, чем тексты авраамических религий – культовые книги иудаизма, христианства и мусульманства.

- Вот как... - я был озадачен. Это было гораздо больше того, на что я рассчитывал.

- А теперь послушай, - сказал Ахура и, блеснув жёлтым пламенем в больших выразительных глазах, прочитал мне своё стихотворение.

*Луна,
в тишине омывшись,
на плечо ночи склонилась,
холодной улыбкой сжигая сон,
обнимая мысли крылатой тенью.
Звон тоски,
как взмах глухой,
над ложью тускнеющих дней
возрождает во мне
седой путь
к беззвучным краскам воспоминаний
соленой росой.
И я,
играя адажио растраченных лет,
в усталых улицах века
на лодке бумажной
в поиске Человека
в тайну ночных высот плыву,*

всегда предпочитаю определённую: уволен так уволен. Мировой финансовый кризис подкосил и наше книжное издательство «А 4», которое позволяло себе издавать нечто не совсем коммерческое – стихи мечтателя Ахура, например, или монографии и учебники Доброхотова, а также прочую «нетленку».

Вопрос продавать или не продавать машину отпал сам собой: я не мог позволить себе роскошь содержать машину, нигде не работая. А кушать хотелось. Пищу для тела брэнного тоже никто не отменял.

Покупатель подвернулся сам собой. Им оказался человек весьма достойный, уверенный в моей аккуратности и добропорядочности, а именно: Александр Бонифатьевич. Не обманет. Не предаст. Не обжулит. Заставил, правда, сбросить несколько сотен с первоначальной цены – так ведь рынок и кризис не он выдумал. Почтенный человек.

И я в полной мере ощутил на своей шкуре силу парадокса: только лишившись работы, перестав зарабатывать деньги, я в кои-то веки разжился золотом, держал в руках своих кругленькую сумму в несколько тысяч долларов. Говорят (сошлюсь, в частности, на всеведущего Александра Бонифатьевича), всего несколько еврейских, глубоко религиозных, семей в Америке контролируют печатный станок, который и штампует доллар. Я не испытывал к ним ни зависти, ни классовой или какой-либо иной ненависти; напротив, я был почти счастлив, и даже благодарен тем семьям, и даже восхищён их семейным инстинктом. Я был готов послать им телеграмму: мол, ваши условные единицы принесли мне, лично мне, Олегу Ивановичу такому-то, несколько безусловно счастливых минут. Печатайте и дальше, дай бог (нет, Бог) здоровья вашему печатному станку (бог с ним с нашим, с издательским). А также вам и вашим близким. Скорее всего, «Вам» и «Ваши» я везде писал бы с заглавной буквы. От щедрот душевных. С уважением.

Может, я не на то потратил жизнь? Может, стоило повнимательнее отнестись к баблу? Может, не той печатью меня промаркировали при рождении?

Всё это риторические вопросы, как сказал бы Александр Бонифатьевич. А уж он-то знает толк в этих «вечных» вопросах (см. его нетленные монографии – нетленку, как он, не чуждый самоиронии, любит выражаться).

Я купил сыну компьютер, какой-то навороченный ноутбук, купил себе угловой диван. У меня не было холодильника, телевизора и спального места. Я решил начать с углового дивана. Чтобы вечерами уютно волком выть в глухом углу?

Ещё часть денег я передал отцу: ему предстояла недешёвая операция по удалению катаракты. Неужели я, сын своего отца, к старости ещё и ослепну?

Меня это не пугает: я не очень верю в собственную старость.

8

- Понимаешь, папа... Всё-таки я остаюсь при своём мнении. Женятся они дураки. А если ты женился от большого ума, зачем-то родил сына, будь добр тащить свой крест до конца.

- Ты считаешь, что я предал маму и переложил свой крест на тебя?
 - Может быть, не так грубо, но что-то вроде того.
 - А не кажется ли тебе, что, оставшись при ней исполнителем её желаний, глупейшей воли ея, я предаю самого себя, тебя, всё на свете? Нельзя же сознательно становиться слугой глупости, рабом женского бессознательного. Нельзя же смотреть на жизнь так ветхозаветно и так... обречённо.

- Не знаю. Для меня это просто слова. Пустые слова. А маму мне жалко.

Ещё лет пять тому назад я бы непременно полемически воскликнул: «А меня тебе не жалко, Никита? Почему, чёрт возьми, меня никто никогда не жалеет? Никто даже мысли не допускает, что меня тоже можно пожалеть. Я бы желал знать: почему? Почему тест на человечность непременно включает в себя пункт – чёрным по белому – отсутствие жалости ко мне, Олегу Гришину? Ты думаешь, мне не жалко маму? Не жалко тебя, и даже себя? Тут не в жалости дело; тут проблема в другом: что делать, если клетки мозга не отмирают? А, сын?»

Но сейчас мне это даже в голову не пришло. Мы меняемся постоянно и достаточно быстро, обновляемся, так сказать, на клеточном уровне. Даже за собой не успеваешь уследить, не можешь разобраться, что к чему, где уже думать о других. Я думал одно, а сказал почему-то другое:

- Мы же в XXI веке живём, а договариваться друг с другом и понимать один другого так и не научились. Даже попыток не делаем. Сразу – обиды и проклятия.

- Я не силён в истории. XXI век – это ещё до эпохи Интернета или уже после?

Сын мой, я уверен, не шутил.

- XXI век – это сейчас, - в тон ему ответил я.

- Мне это ни о чём не говорит. Именно сейчас люди живут в разных эпохах. С теми, кто живёт в эпоху Интернета, я договариваюсь в течение трёх секунд. Мы понимаем друг друга без слов. В эпоху Интернета люди не женятся, не рожают детей и, как следствие, не бросают жён и детей. Для нас семья состоит из одного человека: из себя, нелюбимого. Как мы размножаемся? Как придётся. Мы не делаем из этого проблемы. Почему, ты думаешь, нам так любезен гомосексуализм? Мы стараемся избегать будущего. По крайней мере, не продлять его в собственных детях. В эту пресную, но предсказуемую, эпоху люди работают, как черти, зарабатывают доллары. Иногда отдыхают. Тоже, как черти. Чтобы так работать и отдыхать – надо много, очень много долларов. Доллар – это наше знамя, религия и... В общем, это член семьи. Чувства для нас, людей действительно современных, – большая роскошь. Познавать себя – это даже не дьявольское искушение. Всё куда проще: это дурной тон. Познавать себя – неприлично. Быть умным – глупо. Мы не умеем любить, поэтому приносим минимум зла. С теми, кто живёт до эпохи Интернета, мы разговариваем на разных языках. Для них «трава» – это экологически чистая зона, не асфальт; для нас – банальная марихуана, которая приобретается за доллары и становится пищей для нашего ума. Для них булочка – это вкусная выпечка, а для нас – один из

способов потребления гашиша. Эти благородные доисторические люди сначала женятся, потом заводят малышей, потом начинают разбираться в себе и, наконец, приходят к выводу, что они глубоко ошибались. И всё это только для того, чтобы жениться в очередной раз – чтобы совершить ещё более катастрофическую ошибку. Да вы в сказке живёте, пипл. К тебе с моей стороны, в сущности, только одна претензия: зачем надо было рожать меня? Что мне делать в этом мире?

Передо мной стоял мой сын, генно-модифицированный продукт, мутант, практически, в котором я с трудом узнавал себя. В нём не было даже признаков благородной ярости и злости – пороков, которые я презирал в себе.

Начинался конец лета. Стартовало оно чёрной неделей и заканчивалось неделей пречёрной. Ночи становились всё длиннее и длиннее. Дни, соответственно, укорачивались. Движение какое-то, положим, было; но было ли позитивное развитие в благословенную эпоху Всемирной Паутины, которая оплела планету на неопределённое время?

9

Полное одиночество, когда некому подать стакан воды, наступило гораздо раньше старости. Как я и предполагал.

И не так уж это и страшно. Скорее, даже забавно. Лежишь себе в своём углу на новом просторном диване, губы сохнут, кухня рядом, там чайник (китайский, жестяной) на плите, а в нём – кипячёная вода. Много воды. А вот сил подняться и налить себе стакан, другой, третий просто нет. А почему их нет?

А потому что я заболел. В самом конце лета. Глупо, нелепо и необъяснимо.

А чем заболел-то?

Неизвестно. Возможно, утрата иммунитета. Возможно, гормональная перестройка. Симптомы какие-то размазанные и подозрительные. Температура (прыгающая). Беспричинная тревога на фоне хронической усталости. Отсутствие аппетита. Плюс какие-то неконтролируемые впрыски адреналина в кровь, которые приводят к страху перед жизнью (если я правильно понял). Дословно: «Панические атаки на фоне нервного срыва». В результате – измождение на ровном месте, а в конечном счёте – острый дефицит уверенности в себе.

Опять же: сочинял бы роман – непременно выдумал бы коварную и необъяснимую болезнь героя, подтачивающую его силы. Как-то всё это органично: герой противостоит напастям, сражается с другими и с собой. Нормальный здоровый человек после всех описанных передрыг обязательно должен заболеть. Чтобы выздороветь и всех победить. Или погибнуть героем. А тут сама жизнь подбросила заковыристую болезнь.

Если серьёзно...

Ага! Упс, если по-современному! Вот она, оговорочка, выскочила из меня в тот самый момент, когда я вновь, уже не как пациент, а как писатель,

погружаюсь в расслабленно-апатичное состояние, когда я дьявольски уязвим! Можно подумать, до этого я был не серьёзен. Был шутлив, игрив – следовательно, серьёзен. Sic. Даже я, автор серьёзной теории, постоянно путаю шутливое с серьёзным. Если серьёзно и шёпотом, то угасание чувства юмора – это плохой симптом. Гораздо хуже, нежели температура, тревога и паралич воли к жизни вместе взятые.

Так вот, возвращаясь к оговорке... Болезнь – это выражение кризиса, его финальная стадия, что должно быть особенно приятно больному, не утратившему способность соображать. А кризисы я обожаю, ибо кризис – это наглядное свидетельство духовного здоровья. Здоровый дух здоров именно периодическими кризисами, когда происходит перегруппировка сил, когда клиент собирается с мыслями и принимает судьбоносное решение. Короче, кризис – это форма обновления. Радоваться бы надо. Казалось бы.

Я чувствую, что мой кризис, моя паника как-то связаны с любовью. Меня лишили любви – пожалуйста, прицепилась хвороба. Как говорится, свято место пусто не бывает. А ещё они связаны – с усталостью от жизни не в медицинском смысле (врач, молодая и продвинутая, бодро сказала, как отрезала: «на вас просто клеймо синдрома хронической усталости, мужчина», на что я вяло возразил: «боюсь, то в массовом порядке мрут клетки мозга, не давая размножаться клеткам души»; она криво улыбнулась, запахивая полу халатика). Мои шоки и стрессы лупили не столько по организму, сколько по стимулам. Белые халаты меня раздражали, несмотря на то, что не скрывали круглые коленки, а от витаминов меня тошнило.

Трудно свести воедино точечные прозрения, но я загривом чувствовал, что в состав сложной формулы болезненного недомогания какими-то неразложимыми молекулярными соединениями входят и сестра моя, и отец, и сын, и жена, и Евгения, и Александр Бонифатьевич, и я сам. Таблетками это не лечится (салют халатам, без обид).

Однажды во сне, кошмарном, но интересном, очень своеобразном по драматургии, ко мне пришло какое-то светлое решение. Даже не так: оно ослепительно блеснуло, словно молния в грязно-чёрных тучах. Я помню, что с облегчением вздохнул: значит, кризис не больше чем кризис. Вздохнул – и проснулся, не дожидаясь освежающего дождя, который неминуемо должен был последовать за победными раскатами грома. Потом тучи, разрешившись тёплым летним ливнем, побледнели бы, посветлели и унеслись бы вдаль. За горизонт. Как обычно, когда добро побеждает зло.

Проснулся – и забыл оригинальное решение, рецепт волшебного выздоровления. Где-то под ложечкой распылённым холодком ютилась только уверенность в том, что решение есть. Оно где-то рядом, вокруг, растворено в логике вещей, в воздухе. В реальности. Как ни странно, этого оказалось вполне достаточно, чтобы пойти на поправку. Панические атаки отступили.

Выздоровливать было смешно: я не знал, зачем мне жить, что мне делать – а тело стремительно наливалось соками и внушало сознанию: что ни

делается – всё к лучшему. И сознание сладко замирало в каком-то благоприятном предчувствии. Цирк, ей-богу, душевный цирк.

В конце лета погода была переменчивой. Солнце быстро выглядывало из-за туч-пышек, подгоняемых ветром (куда мы все так спешим? суета и на земле, и в небе), и тут же пряталось. Оно явно нервничало. А луна...

А на луну я смотреть не хотел.

За всё время моей болезни мне ни разу не позвонил никто.

Ни разу.

Никто.

10

Дождливая осень, очей (слепых?) очарование, началась с раннего звонка сына.

- Папа, как дела?

- Нормально. Не хорошо или плохо, а именно нормально. То есть, должно быть так, и никак иначе. Кажется, я прихожу в себя. Во всяком случае, я скорее жив. Скорее, на этом свете. Знаешь что? Я тут подумываю, лёжа на боку... Можно продать квартиру, мою квартиру, с дедом как-нибудь уладим эту проблему, и ты сможешь учиться в Гамбургской Школе рекламы, о которой ты мне говорил. Будешь продавать воздух и иметь реальные доллары. С пиплом по-другому нельзя. Как тебе такой проект?

- Вижу, что выздоравливаешь. Шутить изволишь.

- Я не шучу.

- Значит, говоришь глупость. Но всё равно приятно слышать. Хочу сказать тебе, что... В общем, я не силён в этом... Короче, мне тебя жалко, жалко гораздо больше, чем всех остальных вместе взятых. Ха-ха.

В горле у меня стоял точно такой же ком, как и в горле у моего сына. Наверное, он всё же мой сын. Хотя бы наполовину.

- Понимаешь, почему я говорю тебе об этом в *такой* день? – на что-то намекнул сын.

Но мне было не до нюансов. *Такая* жалость сына стоила любви – вот что было главным.

Затем (через час) последовал звонок мне, уволенному редактору, от бессменного директора издательства «А 4» Аполлона Свечкаря, которого за глаза все величали Асом. Появились новые заказы. Солидные. Интересные. Добро пожаловать в обмятый хомут, приносящий деньги, свободу и независимость. Ас был неотразим, хоть к ране прикладывай. Как бальзам.

Все налаживается? В смысле – на круги своя? Ась?

И уж мистикой какой-то неправдоподобной воспринимался звонок от Евгении (ближе к вечеру). Неужели соскучилась? С её способностью к раздвоению это можно было допустить. Теоретически.

На практике всё проще: она подумывает о том, не выйти ли ей замуж.

- За меня? – недоумеваю я.

- Почему обязательно за тебя? Мне поступило ещё два предложения от двух достойных молодых людей.

Разумеется, сказанное – не шутка.

- Как, как ты сказала?

- От двух молодых людей.

- Нет, ты сказала – достойных. В этом мире есть ещё достойные люди?

- Сколько угодно. Надо только не быть эгоистом, и видеть иногда других, хотя бы сквозь призму собственного интереса.

- На твоём месте я бы вышел замуж сразу за двоих. Это изумительный шанс. Тоже несколько эгоистично, но зато тебе достанутся сливки со всего восточного полушария.

- Я думаю над этим.

- Напрасно.

- Что напрасно?

- Напрасно думаешь. Только время зря теряешь. Достойные требуют внимательного отношения и оперативного реагирования. К ним нельзя относиться, как, например, ко мне. Или сейчас достойных – в каждом пыльном углу штабелями?

- Дурак, - с грустью (в которой мне приятно было разобрать отголоски былой гордости за меня) произносит Женя. – С чем тебя и поздравляю.

- Пожалуй, соглашусь с тобой. Только видишь ли какое дело... Быть деятельным дураком в пятьдесят – это мечта. Боюсь, мечта недостижимая. Ты льстишь мне, моя радость, называя меня дураком.

- Тебе бы всё шутки шутить.

- Я не шучу; я уже давным-давно не шучу, Евгения. Моя проблема в том, что я буквально говорю то, что думаю. Почти как ты.

Я ждал от неё хоть какого-нибудь раздвоения, но так и не дождался.

Евгения положила (читай: вежливо бросила) трубку, предоставив мне возможность решать, люблю ли я её, дурак ли я, и что мне делать с оставшейся жизнью, ближайшие лет двадцать из которой вполне можно рассматривать как активные, творчески зрелые годы (если, конечно, самоуверенно наплевать на теорию, согласно которой после 39 ничего уже не светит).

Только вот чем их занять, эти годы?

Номер отца я набираю сам: что-то подсказывает мне – от него звонка я не дождусь. Дед поднимает трубку. Он смертельно обижен. Почти плачет (вот он, тот самый фамильный ком в горле). Демонстрирует мне бодрость духа, помноженную на неувядаемость и сдобренную сентиментальностью. Спросил меня, не собирается ли Никита жениться. Я ответил, что ему это не грозит. После этого он тоже язвительно поздравил меня с моими временными трудностями, не забыв, как всегда, уточнить, что нет ничего в мире более постоянного, нежели временные трудности. Шутку, которая ему понравилась, он сначала выучит, а потом крутит её годами, как пластинки

своей молодости, смеясь при этом так громко и заразительно, будто шутка ему удалась сию секунду.

Возможно, в его возрасте это и называется «так держать!». Из него прёт нечто женское, чего так не хватает моему сыну – негибкая, железная воля к жизни. Вперёд, на турники. Всё выше и выше. О, божественные шутки жизни, которые разгадывает серьёзная генетика. Я помнил, что я сын своего отца, но остался равнодушен к перспективе обнаружить железные залежи в себе.

Что ж, наверное, я действительно иду на поправку: интуиция моя вновь заработала в привычном режиме – то есть, стала вовремя и внятно, со скрежетом душевным, оповещать меня о грядущих катастрофах.

11

Не успел я как следует разозлиться на свою интуицию, как она выдала очередной трюк. Она подсунула мне чистый лист бумаги (этого добра в доме всегда в изобилии), красивую дорогую ручку (откуда она взялась, массивная, бордовая, в изящном футляре? у меня в доме отроду не водились подобные аксессуары, я привык работать карандашом, нервно, с сухим шелестом летящим по белоснежной странице) и заставила вывести крупными буквами то, что, несомненно, смотрелось как заглавие: «Одиночества печать». И не сотрёшь.

Чтобы не было уже никаких сомнений, под заглавием мельче и скромнее вывелось: «повесть». А откуда взялся эпиграф, навеянный обессиленным ветром из Великой Степи, эпиграф, делающий далёкие просторы близкими и понятными, я сказать просто не в состоянии. Аукнулась моя Средняя Азия?

Самое интересное: в этот момент я вспомнил свой сон, пугающе тёмные тучи, разломные линии ослепительных молний, метастазами пропоровшие чёрные черева, и понял, что проект «Одиночества печать» не просто связан со сном, но рождён во сне, так сказать, является законным дитятей козней подсознания. Доказательств не было никаких, а уверенность присутствовала полнейшая. Всё строго по классике психоанализа.

В следующий момент (время сжалось до предела, единицей времени стали мгновения, кадр за кадром) было принято очередное верное решение: я не стал вспоминать свой сон, я стал записывать известные мне и вам события, не нарушая внутренней логики. Я добросовестно записывал события моей жизни, а получалась повесть о постороннем умном человеке. О пути. У меня уже был опыт сочинения романа (опубликованного, кстати, нашим издательством и вызвавшего, между прочим, одобрительно-кривую улыбку самого Бонифатьевича), но в то время я боялся, что книга будет похожа на жизнь, что в герое каждый может узнать меня, поэтому я делал всё, чтобы развести текст и жизнь, и по этой причине роман так и не стал фактом искусства. Так, забава. Фокусы. Улыбка Чеширского кота (это когда улыбка сияет, а самого кота не наблюдается). Назывался роман «Мизантропическая симфония».

Сейчас я постигал нечто совершенно новое для себя. Описывая закоулки своей личности, я понимал, что пишу обо всех тех, кто отважился обнаружить в человеке катакомбы одиночества. Строго говоря, я писал о каждом, хотя не каждый понимал, насколько он одинок. Сейчас я стремился к тому, чтобы каждый узнал меня.

Боюсь, эффект будет обратным: меня не узнает никто. Да я и сам себя не узнавал, отражаясь в зеркале какого-то русского Дао...

И это замечательно, ибо являет собой эффект прикосновения к истине. Всё это было очень интересно и неожиданно для меня; но самым удивительным было всё же появление в моих пальцах фирменной ручки. Это было просто необъяснимо. Феноменально. Даже немного смущало меня. Допустим, интуиция подсунула мне ручку, допустим; но где она её взяла? Заигралась?

Тем не менее, я дорожил этим стилем и не выпускал его из рук. Собственно, этой ручкой-штучкой и была написана повесть. Размашистым, уверенным почерком. Отчасти небрежно-снисходительным, отчасти злым (что, боюсь, иногда маскировало мою растерянность).

И вот я описал все, что со мной случилось за прошедшее лето (на это ушла целая осень). Какой в этом смысл?

Никакого. Ровным счётом – ни-ка-ко-го. Но!

Одиночество моё вдруг перестало на меня давить, клоня к земле. Более того, я был готов взмыть ввысь. Сотворив повесть, я стал другим человеком. Я пересоздал самого себя. Искусство – страшная сила. Гм-гм. С чего я взял, что причастен к искусству (вопрос напрашивается, согласен)?

Это очень просто: писатель всегда знает себе цену как писателю, а если он заблуждается по поводу своей одарённости, то лучше отложить стило в стол, в долгий запущенный ящик, где всегда найдётся местечко так и неокрепшим талантам. Я вообще подозреваю, что человек знает о себе всё; другое дело, что он боится этого знания, скрывает от себя свои возможности – пытается избавиться от себя посредством всё того же долгого, как жизнь, ящика...

Это, повторюсь, совсем другая история.

Повесть в моей жизни оказалась той самой ложкой мёда в бочке с дегтем. Она всё испортила: поманила медовым нектаром, разрушив дегтярную моносреду. В молодости мне казалось, что я – счастливый обладатель бездонной бочки с мёдом; потом туда неизвестно как попала ложка дёгтя – и это всё было терпимо, хотя и неприятно. Постепенно в бочке, ложка за ложкой, оказался один дёготь, только по виду напоминавший мёд. И вот теперь, к пятидесяти годам, когда наступило полное и окончательное торжество дёгтя, в бочке опять завёлся мёд. Если это не торжество горько-сладкой диалектики закона, то что это? Просто абсурд? Случай?

Эта повесть, которую мне хотелось длить, и длить, и длить, словно подтвердила мою правоту, обосновала мою исключительность и доказала неотвратимость финала. Я дошёл до того момента (который, судя по всему, я сейчас оттягиваю, ибо заговариваю себе зубы), когда должен завершить то, что в жизни ещё не завершено. Я уже понимаю всю ответственность

писательского решения. Я знаю, что финал должен быть неотвратим. Но вот каким должен быть финал – я не знаю. Это полный сюрприз для меня.

Финал не получается. В жизни он был, есть и будет всегда, его молекулярные следы ощутимы в потоках воздуха, которым я пока дышу, а я в упор не вижу его контуров, словно слепой, не могу выделить как осязаемое вещество.

Мудрости у меня хоть отбавляй, но она, как это случается с умными людьми, вдруг начинает существовать сама по себе, отдельно от жизни, которой, собственно, и была порождена. Но если не к мудрости апеллировать, то к чему же?

Этот риторический вопрос (как-то особенно весомо располагающийся в звенящей тишине пустых заброшенных конференц-залов – сразу же хочется избавиться от него, вызывающего неловкость у мыслящей аудитории) всегда являлся для меня убедительнейшим ответом.

Давайте рассудим. Что там с моей любовью?

Она была. Я хочу сказать, я любил Женю. Но... Любовь, которую я нашёл, была не твёрдой константой (то, что даётся раз – и навсегда), а летучим соединением, наподобие какого-нибудь бериллия, который существует доли секунды, мгновения по меркам даже человеческой жизни, – но мне в принципе удалось обнаружить любовь в этом мире, вот что важно. Я её открыл. Нашёл. В XXI веке это что-нибудь да значит.

Стоило ли её искать, если это не золото, а бериллий?

Сложный вопрос. Стоило – если без неё никак. Любовь живёт секунды, а убери её – и вокруг пустыня. Асфальт.

Но вот почему наши две судьбы фатально не сливаются в одну? Что это: случай? Закон? В повести случай – это и есть закон (ещё одно моё открытие). Значит, почему-то воссоединение невозможно. Но почему?

Вот попробуйте сотворить из этих рассуждений финал. Рассуждения – верные, любовь – есть (я тому несчастный свидетель), а вот счастливый, или хотя бы правдоподобный финал, достойный XXI века, не получается.

Александр Бонифатьевич когда-то поведал мне, что у физиков в ходу понятие «остров стабильности». Это характеристика сверхтяжёлых атомных ядер. Всё вокруг живёт доли секунды, а «остров стабильности» может существовать миллионы лет. Практически – вечно. Правда, его ещё надо открыть. Найти. «На сегодняшний день синтезированы и охарактеризованы элементы по 109 включительно. Сейчас готовится элемент 110», – было написано в научно-популярной брошюре, которую он мне зачем-то подсунул, а я зачем-то стал читать.

Почему же я тогда назвал свою повесть не «Остров стабильности» (в заглавии присутствует харизматический смысл, но *так* названная повесть, не сомневаюсь, сложилась бы совершенно иначе), и не «Элемент 110» (другой – с привкусом фантастики – поворот темы), а – «Одиночества печать»? Это что – случайность?

И, вообще, почему филологов так тянет в строгую физику, а физикам – хлебом не корми – дай пописать на рабочем месте неизвестно как

возникающие стихи, пусть и представляющие собой убогое подобие поэзии, или, на худой конец, антиутопические повести с сомнительными, с точки зрения естественной науки, финалами, где всё подчиняется законам любви, а не физики?

Что это за устройство мира, где противоположностям не живётся по отдельности с высшим комфортом?

Так рассуждал я.

И в этот момент раздалась телефонная трель. Я не знал, кто мне звонил, но это не имело значения, потому что здесь важна была моя реакция: почудилось, что мне звонит Женя, и я понял, что я люблю её, хотя любовь, вроде бы, улетучилась (см. свойства проклятого бериллия). Я бы не выдержал, если бы оказалось, что звонила не она, поэтому просто не снял трубку. Струсил. Как последний человек доинтернетовской эпохи. Паническая атака застала меня врасплох.

И мне стало казаться, что я действительно ушёл к Жене, а не от жены (следовательно, Нина и Александр Бонифатьевич были правы, и даже сестра моя была в чём-то права, и даже Дарья Фёдоровна — о, горе моему самоллюбию!); мне стало казаться, что я всю жизнь искал любовь, я всю жизнь бежал от одиночества — я искал предсказанный «остров стабильности», и, возможно, нашёл его, только не готов пока в это поверить (так уже было, помнится, с Колумбом; всё в мире на круги своя?).

Я растерялся, запутался (паника! паника, которая, словно вирус, сидела во мне всегда!), и моё подвешенное состояние стало казаться мне единственной формой стабильности в этом подлунном мире. Да, да, те самые временные трудности обнаруживали свою фундаментальную природу. Разве не смешно?

И это, похоже, становится финалом (вот умора!). И я этого не предполагал. И мне это не нравится: в этом мало изящества, это годится разве что для жизни; что касается повести...

Всегда я рад заметить разность между повестью и жизнью, между собой и моим героем, хотя, не исключено, всё делаю для того, чтобы разность эта не существовала. Что делать, а, Омар Хаём, Ахура, Заратустра? Кто знает?

Позвонить Жене?

В этот момент опять раздалась трель. Могучая вибрация от телефонного аппарата передалась полу, потолку, сотрясла воздух и через него пронзила меня. Я, не давая себе времени опомниться (интуиция, лапочка, начеку), схватил трубку. Ша, паника.

- Тебе понравился мой подарок? — спросила Женя.

- Какой подарок?

- У тебя в начале осени был день рождения. Я положила тебе в сумку подарок. У тебя было три месяца на поиски. Не нашёл?

День рождения. *Такой* день. Значит, мне уже 51. Я и не заметил своего дня рождения. Но признаться в этом было невозможно: Женя подумала бы, что я нелепо шучу, как пятнадцатилетний мальчик, опуская планку юмора всё ниже и ниже. Поэтому я решил отчасти соврать, по-взрослому.

- А-а, подарок... Ты о ручке «Паркер», я надеюсь. Гм-гм. Это был не подарок, это была ложка мёда, понимаешь? Предзнаменование. Везде дёготь, а ручка – ложка. Мёд. Спасибо, ручка пришлась весьма кстати. Конечно, я её нашёл.

- Что ты несёшь, Олег, я ничего не понимаю. При чём здесь предзнаменование? С каких пор ты стал сладкоежкой? И зачем хлебать мёд – ручкой?

- Я всегда предпочитал сладкое – горькому, - чтобы уйти от ответа, я решил выразиться туманно. Как учил Заратустра. А потом неожиданно для самого себя взял быка за рога:

- Так ты не вышла замуж хотя бы за одного?

- Нельзя злоупотреблять сладким, сахар – это белая смерть, - возразила Евгения, также уходя от ответа. И неизвестно к чему добавила:

- Есть тут один...

И нельзя было понять, шутит она или нет. Как было тогда, вечером, ровно три года тому назад.

Низкое солнце заливало всё вокруг особым осенним светом: небо казалось чистым, а облака – грязными. Наконец, выпал первый снег, и пространство над голыми деревьями на долгие месяцы, увы, затянуло плотным размыто-серого колера.

Бесконечными вечерами я поглядываю вверх, угадывая колобковый путь луны по мутному серебристому следу – кажется, что надменная принцесса небес из подёрнутой льдом полыньи отражается в зеркале светлого ночного неба.

Луны-то мне и не хватает.

Для полного земного счастья.

Июнь - июль 2009

КАК СТРАНЕН Я...

*А не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож?*
Александр Грибоедов

1

- Ну, не знаю... Как ты не понимаешь, сегодня так не пишут, - безо всякого энтузиазма заявил завлит «Театра современной пьесы» Еврипит, он же Петя Мочалин, мой бывший сокурсник, с которым мы учились в университете в прошлом, XX веке.

- Ты хочешь сказать, я написал плохо?

Все мои эмоции я вложил в пьесу «Главные слова для любимой женщины», поэтому также был бесстрастен.

- Ну, не знаю. Плохо или хорошо здесь не при чём. Сегодня так не пишут – вот ключевые слова.

- Ты хочешь сказать, что хорошим может быть лишь то, что модно сегодня?

- Я хочу сказать... Послушай, Генрих, мы говорим с тобой на разных языках. Я никак не могу тебе разъяснить, что «хорошо» и «плохо» – это из прошлой жизни; а ты не способен вырваться из дебрей сгинувших уже координат. Ты откуда-то не отсюда, хотя мы с тобой, вроде бы, одно поколение. Ты почему-то не меняешься вместе с жизнью. Может, это болезнь? При несомненном таланте ты жутко, просто безнадежно не востребован. Ну, неужели так сложно понять, что сегодня нужно яркое и необычное... Извини, вот как ты одет?

- Опрятно и не вызывающе. Удобно. По сезону. Мне нравится.

- Боюсь, ответ неправильный. Ты одет несовременно. Ты не соответствуешь дресскоду приличного общества. То ли игнорируешь этот код, то ли бросаешь вызов, то ли не способен уловить его. Неважно. Это никого не интересует. Не соответствуешь – и точка. А в пьесе твоей царит какой-то жутко несовременный эстетический код. Ты изъясняешься на диалекте вымерших мамонтов. Какие-то шутки, мысли, парадоксы... Едкий нафталин эпохи Просвещения. Сейчас так никто не пишет, амиго, никто. Ты видел последнюю мою пьесу?

- Про чуткого голубого крокодила?

- Да при чём здесь крокодил, тама тiа, я же не ребятам о зверятах писал; это современная сказка, навороченная. Называется «Необычайные приключения Крокуса». О дружбе, между прочим.

- Извини, но это... В общем, это бурный невзрослый текст, изредка сопровождающий шумовые и световые эффекты. Элемент громкого шоу.

- Хорошо, хорошо, пусть текст. Пусть бурный. Тебя не смущает то, что публика валом валит на моего «Крокуса», а твои «Главные слова» никто так и не услышит?

- Если я написал стоящую вещь, почему меня должно смущать, что сегодняшней публике не нравится моя пьеса? Кто кого недостоин: я – публики или она – меня?

- Стоп. Вот сейчас ты остановись, Генрих, и услышь себя, подумай над тем, что ты сейчас произнёс, Генрих, опрятный ты мой. О, мадонна, что делается с людьми! Ну, не знаю...

Еврипит, в узких кругах более известный как Педрито, был преувеличенно доброжелателен и показушно толерантен, как многие геи, хотя при этом неумолимую логику мужчин втайне презирал, потому что опасался её. Не соответствовал коду на маскулинность. В общем, Еврипит – это удачное попадание в самое яблочко той самой публики, ради симпатий которой так выкладывался Петя.

Я сказал:

- Да слышу я себя, чего ты так разволновался; я живу в гармонии с собой. Ношу, что хочу, пишу, что хочу. Не люблю, если любить некого. А вот публика мне не нравится и мне не по нраву то, что ты угождаешь убогому вкусу.

- Стоп. Ещё раз стоп. Маска, я вас знаю. Вижу насквозь. Дальше, я полагаю, начнётся сказка про белого бычка под названием «А судьи кто». Вот только не надо мне по-взрослому про пошлое общество втирать. Это так далеко от реалий.

Кое-какие из эмоций стали во мне просыпаться; я начинал уже злиться на себя. Как только я позволял себе немного искренности, окружающие тут же принимали это за маску. Быть самим собой становилось моей маской, а эта «маска» – судьбой. Интересно, каким я казался им без маски?

Какому коду я не соответствовал в этом случае?

Я собрался уже уходить, когда в апартаменты Еврипита (служебный кабинет Педрито находился в подвальном помещении, рядом с гардеробом, и представлял собой тесную, запущенную комнатуху: обшарпанный стол, где остатки прошлогодних чаепитий не мешали разбросанным бумагам, хлам по углам – всё это небрежно не маскировалось даже под творческий беспорядок; очевидно, хозяин был выше всего этого) постучались, дверь раскрылась, и на пороге из коридорного мрака возникла девушка. Она была одета сразу не поймёшь во что: по ней бесформенно струилось что-то свободное, ниспадающее (длинное платье современного покроя? юбка с кофтой?), и эта древнегреческая хламида странным образом позволяла ощутить стройность тела (о, это женское достоинство, фигура, особенно не подчёркнутая линиями одежды, а только обозначенная, угадываемая – моя слабость). Всё случилось по-театральному, очень эффектно. Девушка напоминала знак или символ. Вдруг откуда ни возьмись...

- Знакомьтесь, - с некоторым облегчением сказал Еврипит. – Это Настя, барышня независимая, хотя и строгих нравов. В моём спектакле играет Царевну-лягушку. При этом бесподобно квакает. А это...

- Генрих, - по-королевски представился я, не желая упустить шанс также произвести впечатление. Улыбнулся, встал, сдержанно кивнул, намекая на

то, что меня распирает глубоко запрятанное в ранимое сердце огромное достоинство. Кроме всего прочего, я как бы извинялся за глупый тон Еврипита. Выдал сцену на автомате.

- Генрих – драматург и прозаик, вроде бы, он одиноко живёт в гармонии с собой, что, к сожалению, отражается в его пьесах. Кто сегодня живёт в гармонии с собой? Это несовременно.

Девушка (одного со мной роста) внимательно выслушала колючую галиматью Педрито, задержала на мне взгляд, прямой и открытый. Маска или нет?

Если маска, то она очень шла её не сухой (прелесть, прелесть!) фигуре и манере держаться; если нет, то отсутствие маски сильно выделяло бы её из круга моих знакомых.

Но эмоций по поводу появления сказочной девушки-загадки я не испытал.

И это уже было похоже на болезнь.

Я распрощался, сменив тон с праздничного на бесцветный: тому, кто видел меня в первый раз, могло показаться, что я играю масками.

2

Мне легко было представить девушку Настю героиней моей новой пьесы (а вот лягушкой – куда сложнее). Героем был бы человек мужского пола, чем-то похожий на меня: с виду в расцвете сил и дарований, даже с блеском в глазах, намекающим на искру в душе, а внутри – полная потеря мотиваций. Внешне тропики, внутри – айсберг. Ему сложно было бы объяснить своё мироощущение, не вдаваясь в пространные и несколько интимные отступления, а она замечательно понимала бы его без слов (что он непременно уловил бы, и молчание его стало бы не мучительным, а комфортным, содержательным). Он молчал бы, и именно молчанием своим очаровывал бы её. И это было бы так современно. Роскошные сцены и тонкие диалоги напрашивались сами собой.

Однако на этот раз я не только не взялся на перо; мне даже в голову не пришло попытаться перенести мои фантазии на бумагу.

Что, между прочим, глубоко меня взволновало.

Нет, слово не точное.

Меня должно было взволновать отсутствие взволнованности; вместо этого я хладнокровно отметил несовпадение реакций, прогнозируемой и реальной, – того, что должен испытывать нормальный эмоциональный человек, творческий к тому же, и того, что испытывал я, а именно: отсутствие всякой эмоциональной реакции и при этом никакого расстройства по поводу наступившего тупого равнодушия. (Интересно, «тупое равнодушие» – это комплекс эмоций или всё же отсутствие оных?)

При желании, конечно, можно было определить это умонастроение как творческий кризис; мешало только раздражение, неизвестно откуда берущееся, когда я медленно произносил про себя вот это бессмысленное словосочетание, отдающее чем-то старческим.

Кризис может быть разной природы. Если тебе не хочется жить, при чём здесь «творческий кризис», этот жалкий эвфемизм из арсенала красных слов Еврипита?

У меня иссякли сюжеты?

У меня их полно. Больше, чем у побивавшегося Шекспира. Стали рассыпаться диалоги?

Нет, герои по-прежнему изъясняются точнее и оригинальнее, чем я от них ожидал: говорят, говорят (пока что во мне – но уже от своего имени), чтобы скрыть от себя правду и обнажить её для читателя. Любо дорого. Я сам с удовольствием слушаю их.

Тогда в чём дело?

Проще всего, не задумываясь, произнести – «не знаю». И пожать плечиком (о, этот ненавистный свободный жест сервильного, угодливого Еврипита!). Не исключено, к сожалению, что я очень даже знаю, в чём дело.

У меня иссяк адреналин, вот и пропали эмоции. Большой соблазн списать кризис на возраст. Пятьдесят лет, что вы хотите. Уровень тестостерона снижается, появляется адреналиновый голод. Так говорит Лида, моя подруга, очень квалифицированный врач, которая объясняет все проблемы самочувствия человека изменением гормонального баланса. Это удобно и понятно. Современно, опять же. Может, завтра взлетит мой тестостерон (хотя бы на время), и пьесы польются рекой?

Сам к себе я более безжалостен, что непосредственно сказывается на бедных моих героях. Мне кажется, я потерял мотивацию. Не амбиции – их никогда не было у меня слишком много, и тут мне нечего особенно терять, – именно мотивации, которые всегда накатывали на меня океанской волной с перехлёстом, а я умудрялся зависать на гребне волны (солёная пена слепит глаза), играя со стихией в свою игру. Какая мотивация так будоражила мне кровь?

Познавать человека: мне казалось, в этом судьбоносном векторе заключён вселенский позитив и бесконечный ресурс. Я, признаться, был спокоен за свою мотивацию, и проблемы с мотивацией у других объяснял одним: они не на то поставили, они впали в амбицию. Не угадали. Не поняли. Не познали.

Зазор между мотивацией и амбицией превращался в некую экзистенциальную величину, которая выражала масштаб моей личности. Мотивация – это характеристика моих отношений с истиной; амбиции – это область моих запутанных отношений с социумом, это общественная мотивация. Меня ценили за амбиции, величина которых прямо пропорционально снижала уровень мотиваций, за которые я сам ценил себя.

Непонятно? Ну, не знаю...

И вдруг – именно *вдруг*, чёрт побери, в один прекрасный день – именно *в один прекрасный день*, будь он неладен, я осознал: моим, неуютно живущим на кончике пера, героям («сколько чертей может поместиться на конце иглы»? Забавно...) нечего сказать мне. Они замолчали вовсе не

красноречиво, не содержательно, а – обречённо. Возможно, это случилось как раз в кабинете у раболепствующего Еврипита. Раньше ими двигала вера в то, что человеческий талант рано или поздно будет востребован, ибо таков закон мироздания, основа мироустройства. Sic.

А теперь настал тот самый евритопов день, когда верить в человека становится формой скудоумия, формой неуважения к личности, к себе. Нормальный, сильный, умный человек – личность – должен потерять мотивацию, а если он её не теряет, с ним что-то не так. Равновесие между мотивацией и амбицией рухнуло на моих глазах. Амбиции остались только у тех людей, кто ни во что не верит, кто ни в грош не ставит себя (ибо деньги для него – это святое), кто каждую свою фразу начинает со слов «ну, не знаю».

Где-то в недрах этой логики зарождался вопрос, который досаждал мне, мучил меня (кажется так: мучил, острым гвоздиком в разношенном удобном сапожке) и звучал как приговор моим героям: где взять мотивацию с упоением говорить об отсутствии мотиваций?

Быть, не быть – это детский сад. Где взять энтузиазм испугаться «не быть»?

Отсутствие мотиваций, так и не ставшее одной маниакальной амбицией, – это новая, невиданная ещё мной маска?

Я ей верю или нет?

Так или иначе, герои моих пьес то ли из уважения, то ли из презрения к их автору замолчали. Глубоко задумались.

«Главные слова для любимой женщины» я написал давно, несколько лет тому назад, а принёс пьесу Еврипиту только сейчас в расчёте на то, что во мне проснутся нереализованные амбиции, которые всколыхнут мотивации.

Вместо этого на голову мою мраморной крошкой обрушился тотальный капут, окончательная ясность снизошла на меня осенним туманом и придушила – словно сговорившаяся чёртова дюжина чертей накинута мне на шею чёрный пластиковый мешок и многоруко и ловко прихватила прочной шелковой удавкой-бабочкой. Мотивации ушли, а амбиции так и не появились. Личность во мне сдулась, а человек со своими простенькими потребностями так не заговорил в полный голос. Я оказался человеком с потенциалом zero. Человеком, в котором не развилось ничего человеческого, а сверхчеловеческое – предательски исчезло.

Говорю же: мне даже в голову не пришло опробовать новый сюжет.

Все обещало скорую и, вопреки ожиданиям, не особенно мучительную кончину. Туда и дорога?

Ну, не знаю...

3

Мне всегда были присущи целых две особенности.

Во-первых, я очень сомневаюсь в том, что способность верить, помимо того, что она мешает человеку становиться личностью, делает его лучше.

Не делает. Я просто знаю это.

Во-вторых, я всегда немного завидовал людям, которые способны верить в то, чего в жизни не бывает и быть не может (хотя, поясню, никогда не уважал таких людей, считая веру в иллюзии формой идиотизма).

Я, наверное, верю в разум, и у меня нет оснований сомневаться в том, что разум, источник мотиваций, – это химера. Нет, не химера, там-сям следы разума в жизни человека обнаруживают себя. Я и сам пытался наследить, и погуще.

Я, наверное, перестал верить в то, что разум может восторжествовать.

Но это ведь так неразумно – перестать верить в разум (один из моих героев когда-то выразился в подобном духе)!

А я и не утверждаю, что это разумно. Просто у меня как у личности культ разума, возможно, сохранился, а вот эмоции, простые человеческие эмоции, питающие этот высокий культ, – куда-то исчезли. *Cogito ergo sum*, безусловно, коллеги; однако удовольствие от жизни куда-то пропало. Личность и человек во мне перестали понимать друг друга. Равновесие между мотивацией и амбицией рухнуло.

Я произношу какие-то слова, которые для таких, как Еврипит, ничего не значат; они ценят только те слова, которые оплачиваются баблом-золотом, здесь и сейчас. А для меня в моих словах заключена целая жизнь. Это так интимно. Это ли не странно?

Еврипит, лакей коллективного бессознательного, поправляет мне на шее криво сидящую бабочку: «Это несовременно»...

И ведь он по-своему, по-лягушачьи, прав.

А я устал бунтовать. Последняя доступная мне форма сопротивления – потеря мотиваций. Во имя человека.

Ум с сердцем не в ладу – это ещё бы куда ни шло, это нормально, вполне героически: ум трезво разоблачает, а сердце не верит очевидному, верит в лучшее, ибо видит только то, что желает видеть; у меня же всё поменялось местами: ум умоляет верить, ибо при любом разумном раскладе ничего лучше любви и познания в жизни не найти, а сердце разуверилось. Оно просто перестало испытывать чувства.

И я ничего не могу с этим поделать. Я просто умираю при жизни. И это не смешно (хотя без улыбки говорить об этом невозможно, меня это смешит до истерики).

Когда я подцепил эту странную хворобу – отсутствие мотиваций и, как следствие, эмоций (при безусловной логической мотивированности на пропавшую психологическую мотивацию)?

Точка отсчёта в моей судьбе, мне кажется, связана не с возрастом (извини, Лидия, и ты, уважаемая эндокринология), а с новым этапом жизни. Не могу сказать, что в один прекрасный день я узнал нечто новое, что моментально шокировало меня; всё случилось иначе: в какой-то момент я по-новому отреагировал на то, о чём догадывался всегда.

Долгие годы, собственно, всю сознательную жизнь, я был прилежным (потому что стремился быть образцовым) сыном, отцом, мужем и братом.

Неплохим гражданином и членом общества. Со стороны могло казаться, что я накрепко, как все, мотивирован амбициями.

К пятидесяти годам выяснилось: жена мне – чужой человек, с которым меня связывали привычка, чувство долга, а также панический страх приближающейся старости (с её стороны) и перемен (с моей); отца я уважал за то, что он был моим отцом (это навсегда, ещё с родоплеменных времён) и за его возраст, но совершенно не уважал как человека, – тяжёлого, косного, изуродованного изрядной долей присущего ему самодурства; сестра, как я понял, не любила меня, точнее, была ко мне равнодушна, а я испытывал по отношению к ней какие-то смутные родственные чувства, которые всегда несколько идеализировал; что касается сына, то мы с ним в данный момент не понимали друг друга, не очень-то нуждались друг в друге, боялись в этом признаться себе и не знали, как себя вести; вроде бы, безо всякой вразумительной причины, отношения наши были отравлены невольной ложью.

Родственные отношения в очень слабой степени стали личностными отношениями.

Моё близкое (оно же далёкое) окружение – приятели, коллеги, знакомые, знакомые знакомых (друзья в моей жизни то ли так и не появились, то ли куда-то исчезли)... Незаметно все эти, различаемые мной, добрые люди стали жить по каким-то иным правилам, которые превращали меня в отдельно живущее существо, в *особь*. Не скажешь, что они дружили против меня; но они спланивались, а я выпадал из круга, подчиняясь безличным человеческим законам, позволяющим обществу куда-то эволюционировать.

Настал день, когда я вынужден был признаться себе в том, что я, наконец, одинок, – одинок в самом точном и грустном смысле этого слова.

И я сказал об этом (то есть произнёс вслух, облёк в слова свои мысли и ощущения, которые всегда были при мне) – отцу, сыну, сестре и жене (для приятелей я давно уже был человеком со странностями). *Вдруг*, в одночасье, я оказался человеком без амбиций (убогим, инвалидом) и перестал быть хорошим гражданином; общество (я это чувствовал) отвернулось от меня, перестало мною интересоваться. Я только сказал – а дальше всё происходило уже помимо моей воли, в соответствии с неким законом гор, морей и океанов: камнепады и приливы неизбежно случились просто потому, что они должны были случиться.

Что я сделал? Что натворил я?

Уточню с печалью: какого рода преступление я совершил (а то, что в моём случае речь шла о преступлении как-то не подлежало сомнению, даже не обсуждалось)?

Это было классическим гласом вопиющего в пустыне. Вот уверен: точный перевод соответствующего места из Библии будет таким: что я сделал всем вам? А? Что, мне уже и сказать нельзя?

Скорее всего, ход событий ещё и можно было изменить, но я отчего-то наотрез отказался взять свои правдивые слова назад. Приливам и отливам я противопоставил эфемерное право личности. До сих пор не могу сказать –

глупо я поступил или нет. Я недооценил силу слова, это так, грешен; но значило ли это, что я поступил неправильно?

Я ушёл из дому – заноза покинула тело – и всему организму, целой ячейке общества сразу стало как-то легче. Я смог, наконец, посмотреть в глаза сыну (хотя, казалось бы, должен был прятать свои бесстыжие очи), а все остальные при встрече со мной опускали глаза, словно разговаривали с душевнобольным. Возможно, им казалось, что я – блудный сын-отец, весьма несовременный клоун, который рано или поздно возвратится в отчий дом с покаянием (куда же я денусь? угла-то ведь своего нет, а долго по квартирам не намаешься).

Приползёт. Как миленький.

То-то бы потешили своё великодушие – всю жизнь доедали бы меня без соли, а я бы ещё им спасибо за это говорил. Какова притча?

Затейлива. «Больной», «покаяние», «отчий дом», «великодушие» – невысказанные, но реальные слова, и озлобляли меня по-настоящему. Именно после этого сердце моё закрылось. Жил, жил с близкими людьми – и оказалось, что меня никто не любит, да и я особенно никого не люблю (а чувства долга при этом – хоть отбавляй).

Каждое утро в течение целого года для меня начиналось с боли, смешанной со стыдом и нежеланием что-либо исправлять: жену, что ни говори, бросил, отца оставил, от сына отдалился, к сестре не приблизился. Со всеми созванивался, но не более того. Строго говоря, я просто сменил одну форму виртуального общения на другую. Но тогда я делал вид, что общаюсь, а теперь перестал делать вид. Предал всё святое. Ушёл из дома, как приблудный странник. Блудный.

Самое смешное в этой ситуации была моя фамилия: Блудилин. Генрих Блудилин.

Это была первая часть моей двойной фамилии (которую я оставил из чувства долга: не хотел обижать отца). Вторая часть фамилии, материнская, была – Волков. Генрих Волков-Блудилин.

Может, я просто лишён дара любить?

Можно ли считать, что я познал человека или вообще что-либо познал?

И что толку в таком познании?

Из всех вопросов, которые я себе задавал по утрам, никак не вытекало никакой позитивной программы, не просматривалось никакой перспективы.

Мотивация уходила из меня по капле. Словно кровь.

Неостановимо.

Еврипит окончательно разъяснил мне, что с амбицией у меня большие проблемы.

Я стал слабым, ибо был странным.

4

Начало февраля обещало большие и неизбежные перемены. Сильные морозы только-только отпустили. Из прохудившегося промёрзшего неба

посыпал снежок. Мелкий, похожий на сверкающие опилки, он быстро скользил по воздуху, делая окружающее пространство осязаемым.

Я почему-то остро ощущал каменный холод, пугающе безмерное пространство, безучастное время. Словно стихию, в которую мне предстояло переселиться, покинув бессмысленный мир людей.

Телефонный звонок в моей аккуратной съёмной квартире (последний этаж, окна на запад) раздался как гром среди ясного неба. Трах-тара-рах. Неужели ещё что-то связывает меня с этим глупым миром?

Скорее всего, кто-то ошибся номером или я вовремя не оплатил какой-нибудь счёт. (Социальная жизнь стала ужасно сложной, напряженной; ты опутан тысячами невидимых нитей, ты всем должен и всем как-будто нужен – и при этом тебя нет... Звонок тебе, персонально, в твой дом, – а я упорно называю чужую съёмную квартиру своим домом – уже, как правило, ничего не значит.)

- Алло, - сказал я официально и отчуждённо.

- Я прочитала вашу пьесу. Она яркая и необычная, - женский голос слетел откуда-то оттуда, из отдалившегося мира. Будто пахнуло апрельским теплом. Но я не поддавался:

- Очень приятно. Меня зовут Генрих, Генрих Волков-Блудилин. Вероятно, вы ошиблись.

- Я не ошиблась. Меня зовут Настя, Настя Хлопушина. Я прочитала вашу пьесу «Главные слова для любимой женщины», которую взяла у Еврипита, у господина Мочалина, простите. Вы так и не назвали этих слов, но всем стало ясно, какими они должны быть. Это потрясающе. Очень современно.

- Мне тоже так казалось. Когда-то. Года три тому назад. Вы хотите сказать, что Еврипит самолично дал вам мою пьесу?

- Нет, я сама её взяла.

- Зачем?

- Затем, что вы произвели на меня впечатление.

Меня почему-то очень зацепило то обстоятельство, что я никак не мог припомнить, какого цвета у неё глаза? Я отметил этот досадный штрих, как только вышел из каморки Еврипита; и вот сейчас её голос дополнял впечатление от глаз, а каких глаз – хоть убей не мог восстановить. Даже не мог сказать, тёмных или светлых.

Настя не торопила меня с ответом.

- Какого цвета у вас глаза?

- Карие, присыпанные чёрным дустом, - ответила она.

И тут я вспомнил: у неё глаза очень сложного цвета, светло-тёмная зелень болотного оттенка, украшенная горчичными пятнышками. Тревожная гармония.

- Нет, не карие; они...

- Предлагаю перейти к делу. Я режиссёр-стажёр в Театре у Еврипита. У меня появилась редкая возможность поставить пьесу. И я выбрала «Главные

слова для любимой женщины» современного автора Генриха Волкова-Блудилина. Что скажете?

- От такого предложения не принято отказываться, верно? Тем более, если оно поступает от девушки с глазами...

- Но вы ведь сами предлагали свою пьесу театру, разве нет?

- Предлагал. Было дело. А вы уверены, что пьеса современная?

- Автор напрашивается на комплименты?

- Как вам сказать... Сложно объяснить.

- А не надо ничего объяснять. Иногда от человека требуется просто сказать «да». Или «нет».

- Да.

- Хорошо. Замечательно. Завтра же и приступим, если не возражаете.

- Да. А кто будет играть главную героиню, «Люсю Полянову, молодую особу, что-то около 25 лет», если мне не изменяет память.

- Разумеется, я. Есть возражения?

- Да. То есть, нет, конечно.

- Мне не двадцать пять, мне двадцать девять, но я справлюсь.

- Да.

- Так мы вас ждём на репетиции? Завтра в десять ноль-ноль.

- Да.

5

Актёры нисколько не удивились, увидев перед собой живого, свежесвыбритого автора яркой пьесы, и вскоре вообще перестали обращать на меня внимание (что драматурга, далеко не избалованного творческим вниманием, вполне устраивало).

Репетиция прошла буднично, просто, вполне в рабочей обстановке. На сцене расставлены были выдавшие виды стулья, актёры, одетые, без сомнения, современно (почему-то на всех без исключения кольцами свисали свободно повязанные длиннющие шарфы), уселись на них, словно по команде закинув ногу за ногу. Свобода. Свобода превыше всего. Буквально каждый изображал из себя Свободу на баррикадах. Каждый держал перед глазами распечатку пьесы, где его роль зависела от других ролей, была частью ансамбля.

И я сам, автор с потухшими глазами, поневоле становился частью целого.

Начались чтения.

Честно говоря, ничто не указывало на то, что из этого сумбурного обмена репликами может получиться яркий, захватывающий спектакль. Читали без особого выражения. Настя вообще не обращала внимания на интонации и выразительность, часто текст бубнили, выдёргивая отдельные слова и выражения, это никого не смущало. Режиссёр полностью была занята тем, чтобы выстроить отношения между персонажами. Надо сказать, она комментировала текст по-человечески тонко и многопланово, всегда замечая и акцентируя двойное дно. Я был приятно удивлён, когда стало проясняться,

сколько всего в моей пьесе «заложено» неоднозначного. В ней нащупали второе дно, третье...

Пьеса стала оживать.

Молодую особу Люсю Полянову пока что изображала барышня, явно уступавшая Насте по характерности типажа.

Кроме неё (в пьесе было три действующих лица – острый треугольник) на стульях восседали «Георгий Рогатко, молодой человек лет под тридцать», а также «Иван Козлотуров, ровесник Георгия». Рогатко оказался лысым, чего я никак от него не ожидал (в моём представлении этот тип был несколько мохнатым, диковато обросшим шерстью), а Козлотуров несколько раздражал чрезмерной интеллигентностью, однако его «чеховская деликатность», подвергшись пластическому воздействию Настиных реплик, стала обретать черты провинциального бухгалтера, что вполне органично смотрелось на сцене.

Когда репетиция закончилась, меня вновь заметили, и даже, как мне показалось, стали задерживать на мне глаз, прощаясь. Художник и композитор извоили пожать мне руку.

- Вы довольны? – спросила Настя, совсем не выглядевшая уставшей. Напротив, глаза её возбуждённо блеснули.

- Пожалуй, да.

- Но это не то, чего вы ожидали, верно?

- Нет, не то; но пьесу, как оказалось, можно прочесть именно так, и это интересное прочтение, даже лестное для меня. Я доволен.

- А чего вы ожидали, если не секрет?

- Настя, если честно, я ожидал понимания того, что за фарсом скрыты слёзы. Настоящие. Превращающие фарс в драму. И здесь я не разочарован; что касается *твоей* оригинальной интерпретации *моей* пьесы, то... У меня просто нет опыта внимательного отношения ко мне. Я как-то по-человечески тронут, вот и всё, что я могу сказать.

- Спасибо на добром слове. Мы пригласим вас, когда проработаем характеры и начнём оттачивать театральную форму, когда сотворённый вами мир начнёт дышать нашими жабрами. Сценография, музыка, костюмы – всё уже в процессе. Впрочем, можете приходить когда угодно. Вот расписание репетиций. Через месяц – спектакль. Удачи.

Повернулась ко мне спиной. И пошла, неуловимо поводя бёдрами. Я смотрел ей вслед гораздо дольше, нежели допускалось приличиями. И, признаюсь, мне и в голову не пришло отвести взгляд.

Стройным фигурам идёт деловитость. Я это давно заметил.

6

Чем быстрее приближался день премьеры (руководство театра избрало датой моего триумфа 8 Марта), чем ярче у спектакля прорезалось своё лицо (что нравилось мне всё больше и больше), тем более нервной и недовольной становилась Настя.

Чем больше актёры обожали собственное детище, взрослевшее легко и непринуждённо, тем меньше шансов оставалось на то, что оно дойдёт до премьеры в их дерзкой редакции.

За три дня до назначенного срока вопрос стал ребром: быть или не быть премьере?

Что-то не ладилось у режиссёра-стажёра Насти Хлопушиной с главным режиссёром Эдвардом Дунечкиным, англоманом, у которого Педрито ходил в несомненных фаворитах. В Театре современной пьесы (неофициально именуемым Театром на Дунькин-street, или БДТ) назревал скандал.

Для меня подобный расклад сил на поле жизни был привычным, естественным, и в прежние времена, когда адреналин вырабатывался всем моим существом без проблем и сбоев, вызывал только холодающее ожидание поединка. Я молча надевал шлем, украшенный вмятинами, опускал на лицо поцарапанное забрало и брал в руки затупившийся меч. После чего смело шёл навстречу добрым людям.

Теперь же я неожиданно для себя самого пожал плечами. Дескать, этого и следовало ожидать. Так было всегда, так случилось и в этот раз, так будет и впредь. Никому не дано вырваться из проторенной колеи: бездарность всегда активно противостояла таланту, не так ли?

Это было похоже на выброс белого флага, на добровольную сдачу в плен, ни много ни мало, целой дивизии боеспособных воинов (а врагов – тьма, целая армия!). Сражение, возможно, было бы и бессмысленным, ввиду многократного превосходства сил противника, однако бой дать следовало; имея за плечами такую мощь и такую позицию (Настя потрудились на славу), уклониться от сражения означало потерпеть моральное поражение. А ведь талант – это прежде всего моральное превосходство; талант может проиграть битву, но он способен выиграть войну. Именно в этом уникальность таланта: он побеждает в безнадежных войнах. Именно поэтому его уважают и побаиваются. Талант – это очень много адреналина.

Моральное поражение для таланта – в полной мере экзистенциальная катастрофа. Собственно, ситуация, когда отсутствуют все и всяческие мотивации, а талант без мотиваций не живёт. Я поблудил, поблудил, да и возвратился к тому, с чего пытался начать заново.

Стало ли мне стыдно после внутреннего отказа от борьбы, весьма смахивающего на предательство?

О, конечно, конечно стало (то есть, я понимал, что мне должно быть стыдно); но градус эмоций был настолько низким, что практически не сказался на моём самочувствии. Мне по-прежнему нечего было терять. А верить в силу слова...

Сила слова тогда чего-то значит, когда за ней стоит сила духа, подпираемая тестостероном. Адреналином. Мотивацией.

Так рассуждал я.

И не просто рассуждал, а словно в чём-то убеждал себя.

Мне по-прежнему чего-то не хватало для того, чтобы вызрела мотивация, но уже не сиделось на месте.

Очевидно, что-то произошло за последний месяц (хотя я не слишком ворошил мхи души, чтобы не заморозить проклюнувшийся росток надежды). Во всяком случае, на вопрос «что мне делать сейчас, сию минуту?», вопрос, который ещё недавно загонял меня в беспросветный тупик, я отвечал легко и просто: идти в театр.

«Зачем?»

Ещё проще: увидеть Настю.

«Зачем?»

Опять же, ответ готов: поговорить.

«Зачем? О чём?»

Это было уже неважно, вопрос под воздействием маленькой дозы адреналина терял свою актуальность. Какое счастье, если ты в состоянии проигнорировать вопрос, на который не знаешь ответа: это, пожалуй, было первым признаком выздоровления.

Говорю же: что-то случилось.

И я впервые за последние три года заглянул себе в глаза, пытливо смотревшие на меня из зеркала. В результате молчаливого противостояния (не берусь в точности сказать, кто кого испепелял взглядом) рука сама потянулась на полку и извлекла оттуда вязаную зимнюю шапочку, поразительно напоминавшую шлем.

- Здравствуй, Настя, - сказал я, входя в отвратительную курилку (Настя недавно вновь начала курить). – Есть разговор.

Она бегло скользнула по мне глазами (я уже привык к этой её манере) и отметила:

- Боже мой, глаза блестят, как осколки разбитой вазы. А шапочка... Ты решил помолодеть, подался в брейк-данс или прикатил сюда на лыжах?

В ней пропадали режиссёр милостию божией.

- Почему бы моим глазам не блестеть, как редчайшие жёлтые алмазы, например?

- Ты же не кот Базилио, чтобы сверкать холодной пустотой. В разбитой вазе есть идея, смысл, драма. А в алмазах... Что-то случилось?

- Именно, именно; боюсь, что да, случилось.

- Выкладывай.

- Случилось, но не это предмет разговора. Я пока не готов обсуждать мои проблемы, это глубоко личное. Я о другом. О чём моя пьеса, Настя?

Знак первый: она серьёзно отнеслась к моему странному, никак не подготовленному вопросу. Задумалась. Значит, уважает меня и верит мне.

- Могу сказать – обо всём, но ты ведь не этого ответа ждёшь, верно?

- Не этого, верно. Это гладкий комплимент, а не ответ.

- Хорошо. Попробую по существу. О роскоши человеческого общения... Нет?

- Попробуй ещё раз. По существу.

- Ты коварный автор. До тебя так легко не доберёшься. Мужчины, женщины... О роковом поединке, о противостоянии инь и янь?

- Ещё раз. Ну же, Настя. Почему так удачно шла работа над спектаклем? Почему вдруг такой отпор со стороны Эдварда? Почему ты выбрала мою пьесу, наконец?

- Не знаю.

- Знаешь.

- Не знаю!

- Знаешь!

Знак второй: она догадывалась о том, о чём не хотела догадываться. И ей помогла в этом моя пьеса. Она уважает меня и верит мне.

- Твоя пьеса о самом главном – о невозможности жить без любви.

- Вот. В точку. Молодец. А теперь, когда мы с тобой во всём разобрались, давай откажемся от постановки. Что нам Гекуба?

- Но это невозможно!

- Почему?

- Да потому что мы не от пьесы отказываемся, мы отрекаемся от себя.

- Молодец. Сказала по делу.

- Теперь у тебя глаза мерцают, как глубокий колодец звёздной ночью. А улыбка – прямо месяц, только криво подвешенный. Чего лыбишься? С тобой опасно иметь дело, Генрих Блудилин.

- С тобой тоже, Настя. Что будем делать?

- Ты о спектакле?

- Конечно.

- Ну, да, о чём же ещё. А есть идеи?

- Есть.

- Выкладывай.

Идея была простой: мы ставим спектакль, но не в БДТ, не в Театре современной пьесы. Мы просто изящно уклоняемся от поединка – и побеждаем за явным преимуществом. Вот как-то так.

- Дай я тебя расцелую, Генрих.

- Я против.

- Почему?

- Ты куришь, а я этого не люблю. Я люблю, когда ты в длинном платье, не куришь, руки сложены вот так, и...

- Ладно, поняла, целоваться не будем. По поводу твоей идеи... Она благородная, но глупая.

- Извольте объясниться, сударыня.

- Пожалуйста, author.

Настя была права: я выдавал желаемое за действительное. Меня лично мало огорчило, что идея оказалась оторванной от реальности; меня порадовало то, что появилось «желаемое».

Эдвард, в сущности, хотел одного: он открытым текстом требовал, чтобы в афише стояло его имя: режиссёр спектакля – Э. Дунечкин, засл. артист РБ. По меркам театрального времени, у него целую вечность уже не появлялось свежих идей, оригинальных концепций; он был живым театральным трупом, списанным в утиль вместе с советскими декорациями

ещё в XX веке. Его не спектакль интересовал, не я и не Настя; этот вампирёныш, учуяв свой шанс, жаждал объявить всем, что ещё жив и способен питаться чужой кровью. Современный материал, современный язык, неподражаемый стиль. Маэстро вернулся, совершил невероятный comeback! Show must go on, почтенная публика. А Настя, стажёр несчастный, вдруг стала упираться и зубами вцепилась в свои авторские права.

Разумеется, спектакль мог состояться только здесь, в Театре на Дунькин-str., или нигде. Сомневаться в этом не приходилось.

Для меня это был шанс, а для Анастасии Хлопушиной – горький провал.

- Поэтому, - сказала Настя, - решаем так: спектакль состоится в любую погоду; афиша такая: драматург Волков-Блудилин, режиссёр Э. Дунечкин, сэр, помощник режиссёра – Настя, просто Настя. В ролях заняты гг. Быкадоров и Сержант, а также девица Софьина.

Я рассмеялся смехом провинциального трагика, после чего, откашлявшись, заявил:

- Только через мой труп!

И демонстративно смахнул, якобы, не существующую слезу.

- Я ещё своё возьму, а вот ты...

Она запнулась и подняла на меня сожалеющие о сказанном глаза.

- Ты имела в виду, что я своё уже отпрыгал, не так ли? – юмор в английском стиле не чужд был и мне. – А как же моя шлем-шапочка?

- Не так грубо, - тихо сказала Настя.

- Хорошо, спектакля не будет. Но я бы попросил сосредоточиться на том, что сейчас скажу: отмена спектакля станет нашей победой.

- Ага, - сказала Настя. – Ура, что ли?

- Не так грубо, director.

- Sorry, - сказала Настя.

- Пойми, - сказал я после долгой паузы, - если спектакль состоится под дудку сэра Дунечкина, я опять потеряю мотивацию. – И ничего больше не напишу. Разбитая ваза сотрётся в порошок и не заблестит больше никогда. Я сдохну.

- Понимаю, - вздохнула Настя, словно я ей, а не себе, читал недавно лекцию о мотивациях и амбициях.

7

Вечером мне позвонила Лидия, чтобы поинтересоваться, как у меня идут дела. Иными словами, чтобы напомнить о себе.

Не зря столько говорят о женской интуиции; она позвонила мне в тот момент, когда я начал приходить в себя, не раньше и не позже (впрочем, насчёт позже не уверен).

Лидия была великолепным вариантом в номинации «спутница жизни». Славная, предсказуемая, надёжная. Терпимая к естественным недостаткам других. Как у спутницы жизни у неё практически не было изъянов, с ней вполне сносно можно было сосуществовать, а при определённых обстоятельствах и жить душа в душу.

Как женщина она обладала одним, с моей точки зрения, сомнительным достоинством, а именно: она не верила в любовь. Искренне и честно не верила (за что в известном смысле заслуживала уважения). Она верила в совместимость «спутников», в брак как спланированный проект.

Она была по-своему права, но эта правота глухо меня раздражала с первой минуты нашего знакомства (нас расчетливо представила друг другу её близкая приятельница). В богато одарённой женщине, как в хорошем романе или умном мужчине, незримо присутствует столь любезная моему сердцу двойная кодировка или двойное дно. Я имею в виду следующее: есть, всё-таки есть редкая порода женщин, которые наделены даром смотреть «на вещи» (на мужчин, в основном) как с бытовой стороны (это делает милых дам комфортными спутницами жизни – амбициозными, здравомыслящими), так и с точки зрения вечности (главным содержанием своей жизни, главной своей мотивацией прагматичные дамы бессознательно делают любовь, то есть тот самый романтизм, который ужасно вредит бытовой стороне жизни).

И понял я очевидную, но трудноуловимую до поры до времени разницу между «спутницей жизни» и «женщиной на все времена» лишь тогда, когда присмотрелся к Насте (вот почему звонок Лидии, великолепной спутницы, последовал, боюсь, с роковым опозданием: тут претензии не к её интуиции, а к её судьбе).

Оказывается, я всю жизнь искал такую женщину, как Настя, и пьесы писал о таких и для таких, как она; ирония судьбы заключалась в том, что попадались мне исключительно другие, похожие на мою жену, на Лидию (ягоды одного поля), и пьесы мои просматривались наискосок глазами «спутников», которые искали в них не столько истину и красоту, сколько пользу.

В моей истории удивительно не то, что я потерял мотивировку, а то, что я не потерял её намного раньше; самое же замечательное было то, что я не только вновь обретал мотивировку, но и обзаводился амбициями.

Проще сказать, было похоже на то, что я возвращался к жизни. Совершал невероятный comeback.

Можно было благодарить за это судьбу, можно – режиссёра Хлопушину, при желании – самого себя; я же испытывал благодарность к удивительной женщине Насте.

И тут у меня как-то в один момент открылись глаза: я вдруг почувствовал скрытую логику поступков самой Насти. Моё прозрение служило мне бесспорным доказательством.

На следующий день я, под благовидным предлогом добившись свидания, заявил:

- Настя, я готов обсудить мою проблему.

- То самое «глубоко личное»?

- Пожалуй.

- Выкладывай.

- Как зовут человека, которого ты всё ещё любишь? – выложил я без утайки.

Знак третий: она задумчиво заглянула мне в глаза. Она уважает меня и верит мне (возможно, сама того не сознавая).

- У него редкое имя. Его зовут Эдвард.

Я обомлел. Настя держит паузу.

- Фамилия его, боюсь, тебе неизвестна – Эдемский. К театру он не имеет никакого отношения. Как ты догадался, что у меня кто-то есть, скорее, был в течение несчастных четырёх лет?

Настя всё рассчитала правильно: за свою искренность и готовность приоткрыть завесу личной жизни она имела право требовать того же.

- Ты вцепилась в мою пьесу так, словно доказывала кому-то, что любовь – это главное в жизни. Для тебя это было тоже глубоко личное.

- Пожалуй. Наверное, я доказывала эту скользкую истину самой себе.

- Удалось доказать?

- Не знаю.

- Это нормально. Я доказываю себе это до сих пор.

- Это и есть твоя личная проблема?

- Да.

- Генрих, о чём ты сейчас говоришь со мной?

- О любви.

- Генрих, не темни.

- Я не знаю.

- Знаешь.

- Не знаю.

- Знаешь.

Знак четвёртый: женская сущность Насти оказалась глубже и тоньше, чем я себе это представлял. Возможно, в глаза мне бесстрашно смотрел экземпляр, имеющий тройное дно. И наверняка видел или предчувствовал во мне то, что я сам предпочитал бы не замечать.

Мне стало страшновато. Любовь, возможно, – самая большая ответственность в делах человеческих; меня же (что уж тут скрывать!) вполне устраивала та «проклятая» модель жизни, которая довела меня до суммы духовной, до утраты мотивировок, но никак не до поражения, спешу заметить. Получалось славно: я ищу любовь, не прячусь от неё – но не нахожу. Тем не менее, упорно рыщу, не отказываюсь от поисков, не сдаюсь. Станный одинокий воин в поле. Ау. Я не нахожу, кому бы предложить себя, отягощённого двойным дном.

И я не боюсь вызова; более того, это мой вызов остаётся без ответа. Где здесь моя слабость или моя вина?

Возможно, в таком сюжете жизни таится моя беда (где-то на доньшке второго дна); но какие тут претензии ко мне лично? Как бы я ни проигрывал, я всегда оставался при своей победе. Противник, кто бы он ни был, ничего не мог со мной поделать. Я мог погибнуть, но меня нельзя было победить.

Если разобраться, это называлось «в сказку попал».

Подобная генеральная мотивировка, ставшая «программой жизни», кстати, питала моё творчество: увы, он счастья не ищет, и не от счастья

бежит. Чем не кредо? Я чувствую себя на вершине вершин, которая только может покориться личности. Более высоких вершин рядом я не вижу. Ау.

В такой, достаточно комфортной, увы, модели – куча бонусов. Я честен перед собой, у меня есть мотив, за который можно себя уважать; результат, отчасти трагический, меня также вполне устраивал. От меня требовалось быть стойким и циником более, нежели создателем, творцом собственной жизни и судьбы. Всё было сложно, но не безнадежно.

Были у модели и свои минусы. Назову только один: я стал утрачивать мотивировку. Но и этот нюанс в каком-то смысле добавлял мне шарма, украшал меня, служил лавровым венком. Утрата мотивировки не отнимала у меня победу.

Теперь же всё резко менялось...

Признаться Насте в любви (в любви ли? желаемое уже стало действительным? тут ещё было много сомнений) – значило брать на себя ту самую ответственность, о которой я писал в своей пьесе и которой я до сих пор удачно избегал, ибо по неписанным правилам я реально верил в любовь, которой в реальности не было. Ностальгия по любви позволяла счастливо обходиться без ответственности. Сказочный вариант.

Настя смутно почувствовала, что я пытаюсь увильнуть от тех «вещей», которые так или иначе связаны с ответственностью, прикрываясь трагическим щитом. По возможности, сделать это максимально красиво. В идеале – одним изящным финтом, оставив судьбу в дураках, женщину при иллюзиях, а себя – один на один с чёрной совестью при светлых намерениях.

- Не знаешь так не знаешь, - сказала она.

- Возможно, и знаю, но это на самом деле глубоко личное.

Я стал правдоподобно напускать туман, и он, верный спутник слабости человеческой, стал заполнять пространство моей души. Старый жалкий трюк. Но всегда выручает тех, в ком силы меньше, нежели ума.

- Тогда до встречи. Созрешь – звони. Только не говори мне про любовь. А то я – поверю. Я такая.

Почему в простых и ясных словах её была сила, а я, который всё понимал, уже принимался оправдываться?

8

Появившись неизвестно откуда, во мне, то есть в голове и в сердце (сколько во мне этажей, не говоря уже о многоэтажных подвалах – сколько во мне уровней и, соответственно, кодировок?), на все лады крутилось изречение одного галантного француза (читал его иронические строки сто лет назад, во времена первой молодости, охваченный тоской первой любви): очень часто последнее увлечение женщины – её первая любовь.

Я даже помню, в каком отсеке книжного шкафа (библиотека осталась жене, разумеется, – только для того, чтобы не достаться мне) находится этот никем, кроме меня, не читанный интеллектуальный роман (лакированная обложка со смятыми изгибами, пожелтевший запylённый верх). Книга называется «Заблуждения сердца и ума». Автор – Кребийон-сын. Справа её

подпирает одинокая трагикомедия Грибоедова (далее следует тяжёлая, надёжная кладка из томов Пушкина, Лермонтова etc.), слева выстроились опусы Набокова (продолженные собранием сочинений Гоголя, Булгакова). Не в алфавитном порядке. И не в хронологическом. В каком-то другом – в том, в каком они заняли место в моей душе. Кребийон оказался то ли в центре, то ли на острие.

Интересно, как я тогда истолковывал себе сию сентенцию светского француза?

Даже не представляю себе. А ведь всё верно: моё последнее увлечение становилось моей первой любовью. Почему последнее?

Есть вещи, которые ты просто принимаешь такими, какие они есть. Тонкое ощущение своего ресурса, своих сил и возможностей подсказывало мне: первая любовь непременно станет последним увлечением. Это ощущение становилось неопровержимым доказательством. (Я, конечно, понимал, ещё как понимал верующих, но тем не менее презирал их как духовную касту.)

Я уже никуда не торопился, и все фазы чувства пропускал через фибры своей личности (опять же – через многоступенчатые фильтры ума и души) с наслаждением человека, который так много говорил о любви, что не удосужился её испытать.

Первая любовь чаще всего приходит на закате дней, особенно к людям умным: это была правда. Ай, да сукин сын, Кребийон.

Как же можно оценить любовь в молодости, когда ничего ещё не знаешь, когда не ценишь даже здоровья? Нельзя называть любовью первый опыт чувства. Любовь – чувство зрелое, многослойное, которое зависит от масштаба личности, от мировоззрения. От мотивировок и амбиций. От удачи. От судьбы. Не бывает так: любовь – отдельно, личность – отдельно. Любовь надо заслужить, подготовиться к ней. И тогда любовь, первая любовь, непременно станет последней.

Сукин сын, безусловно. Тем более, что приписал это чувство – женщине, великолепно обходящейся без двойного дна. Очень похоже на историю Колумба, который открыл Америку, будучи убеждённым, что открыл Индию. Гениально ошибся, спутав карты. Кребийон божественно ориентировался в закоулках одномерного пространства, одного хрупкого дна, которое казалось ему окончательной скалистой твердью; спустя пару сотен лет после экзерсисов Кребийона мир с треском провалился в бездну бессознательного, с одной стороны, и в пучину сознания – с другой. На смену ироничному интеллектуалу пришёл герой под названием «человек, который стремится стать личностью».

Если бы я скрупулёзно, день за днём, вёл дневник, боюсь, его скучно было бы читать тем, кто интересуется проблемами личности. Надежда сменялась отчаянием по несколько раз в сутки, в глазах рябило, шторм душевный был обычным состоянием (о недавнем мёртвом штиле я напрочь забыл) – и при этом зрело, крепло, питаясь надеждой и отчаянием, магистральное чувство (вот они, двойные кодировки в действии): я плыву не

«в никуда», а дрейфую в строго определённом направлении. К рифам. Туда, где мне понадобится ответственность и много-много сил.

Решение, которое мне предстояло принять, было неизбежным, но не скорым. Реактивами сознания я медленно превращал туман в ясность.

Временами амбиции начинали подпирать мотивации. Всё чаще меня стали одолевать мысли такого рода: а где жить? Где жить нам с Настей?

Банальное отсутствие квартиры могло поставить крест на любых мотивациях.

Крепости и твёрдости пока что не хватало; это вещество, которое цементировало основы личности, вырабатывалось не усилием воли, а выплавлялось где-то на стыке умственно-душевных катаклизмов. Как только удавалось справиться с заблуждения ума, наваливались заблуждения сердца; если чувства обретали ясность, холодный разум начинал кипеть. Появлялись мотивировки — исчезали амбиции; стоило обозначиться амбициям — кисли мотивировки.

Этот процесс брожения меньше всего напоминал вялую рефлексию души и не имел ничего общего с мифической мягкотелостью интеллигента, которому приписывается гамлетизм как вариант аутсайдерства.

Скорее, это напоминало процесс закалки. Сил, физических и умственно-душевных, требовалось немало. Я находился в состоянии то ли пытки, то ли подготовки к счастью.

Где-то в этот период, когда я утратил прежние мотивировки, но не обрёл ещё новых, когда я представлял собой плазму, вещество праличности, которое вот-вот примет внятные и окончательные очертания (человек рождается через девять месяцев от момента зачатия, личность — через пятьдесят лет жизни человека мужского пола), мне позвонил мой сын и стал общаться со мной как с вполне вменяемым субъектом. Моя личность по своему устройству была на несколько уровней сложнее его, однако я не контролировал свои бесконечные владения; он же вполне обжил свои убогие территории, знал каждую былинку, поэтому чувствовал себя властелином собственного «я», хозяином жизни, сильным представителем сильного пола. (Сколько раз я был свидетелем того, что сила питается слабостью, гонор вырастает из убожества; но я ни разу никому не смог объяснить этого. Я стал заложником собственной силы, которая, создав из меня могучую личность, сделала меня одновременно слабым человеком; надеюсь, временно слабым человеком. Очень на это надеюсь. Надеюсь. А ведь это проявление слабости...)

Для начала сын предложил мне встретиться. Я, разумеется, согласился.

Мне предстояло общаться с ним на его уровне — но дать при этом ему почувствовать свой уровень. Это могло сработать, если, конечно, он был предрасположен к развитию, к эволюции, если он был потенциально того же калибра, что и я. Подобное тянется к подобному, это так; однако вопрос заключался в том, тянулся ли он ко мне или предлагал мне подтянуться до его уровня?

Мой сын стал самой большой моей духовной проблемой; мой отец перестал быть проблемой, он превратился в боль. Неужели, с сыном будет то же самое?

Где взять силы вынести весь этот мрак?

Сын мой настроен был простить меня, предлагал мне «не париться». Такой подход предполагал, очевидно, то, что я был виноват безмерно, окончательно и бесповоротно. Факт моей вины просто не обсуждался. Зачем тратить слова? Это унизило бы мужчин.

Он пришёл, чтобы облегчить ощущение моей вины.

Это была благородная миссия, достойная, конечно же, всяческого самоуважения.

Именно в этот момент (личность растёт ввысь, вширь и вглубь подготовленными скачками) я почувствовал в себе правоту, которая не отменяла моей вины, но превращала её в момент вселенской справедливости.

- Сын мой, - сказал я ему, ощущая себя Кребийоном-отцом, - я люблю тебя. Ты можешь задать мне любой вопрос, и можешь быть уверен, что я отвечу на него со всей прямоотой и честностью.

Я не собирался отбирать у него инициативу; я просто восстанавливал статус кво: предлагал себя в качестве духовного отца своему духовному сыну. И он понял это, я готов поклясться (не на Библии, разумеется).

Он пришёл ко мне с поучениями именно потому, что у него ко мне оказалось много вопросов. Видимо, из деликатности он не собирался добивать меня ими, хотя они давили на него тяжёлым грузом. Но теперь, вдруг став сыном, учеником, он открыто посмотрел мне в глаза:

- Скажи, ты хоть иногда вспоминаешь о маме?

- Я вспоминаю о ней каждый день, каждое утро начинается для меня с боли. Я часто вижу её во сне. Я чувствую себя виноватым, но только без вины виноватым. Ей ведь больно? Несомненно. Следовательно, я виноват. Но... Вряд ли бы я изменил решение, если бы можно было вернуться назад.

- Ты её любил?

- Сначала, мне казалось, любил. Теперь, как я понимаю, любви у нас не было. Но мы прожили славную жизнь, за которую мне не стыдно. И потом – у меня появился ты...

- А почему ты ушёл от нас?

- Я ушёл не от вас; я ушёл к себе. Понимаешь, если бы я не ушёл, то это кончилось бы для меня катастрофой, и первым, кто, внимая голосу разума, спросил бы меня: «Папа, почему же ты вовремя не ушёл от нас?», был бы именно ты (если допустить, что через несколько лет ты окрепнешь духом и станешь иным). Если я скажу, что ушёл ради тебя, это будет звучать глупо; если скажу, что не ради тебя, то это будет ложью. Понимаешь...

- Я понимаю, понимаю...

- Предавать жизнь, истину, если только это не пустые слова для тебя, – безнаказанно невозможно. Человек должен быть счастлив. Именно так: это его обязанность. Я понимаю: мама считает, что я предал её. Но это не так. Я не искал шкурной выгоды; я выживал в соответствии с высшими законами

универсума. Видишь, что получается: совесть моя чиста, а всем плохо; но если бы совесть моя был нечиста, всем было бы несравненно хуже. В общем, если я и крест, то не только для других, но и для себя. На моём уровне уже нет безнадежно правых и виноватых; есть человек и личность, есть заблуждения ума и души, есть относительные прозрения. Этим трудно поделиться с кем-то непосредственно, облакая мысли в слова; всегда говоришь как-будто ни о чём, хотя стараешься быть предельно конкретным. Какое-то культурное проклятие. Возможно, поэтому я стал писать романы и пьесы. Но я не блаженный. Я просто... неглупый мужчина.

- Папа... Ты не представляешь себе, как я рад, что мы встретились. У меня просто гора с плеч. Кажется, я что-то понял; конечно, завтра я опять запутаюсь, но я уже понял, что иду куда-то в твоём направлении. Ты не обижайся, но я не буду говорить маме о нашей встрече, иначе она расстроится. Мне её жалко. Это похоже на то, что я предаю тебя, но...

- Я понимаю, понимаю...

- Почему всё так запутано?

Я честно пожал плечами, и этот честный ответ устраивал нас обоих.

Мы рассмеялись, стараясь не смотреть друг на друга, я был почти счастлив.

- Папа, по пути сюда я купил лотерейный билет, чтобы подарить его тебе. Бессознательно вкладывал в подарок какой-то оскорбительный для тебя смысл. Я думал, что ты безответственно играешь жизнью не только своей, но и других. «Продолжай играть, не обращая внимания на близких людей», - что-то вроде этого хотелось мне сказать. Этот билет отдалил бы нас друг от друга ещё больше. В общем, надеюсь, ты поймёшь. А сейчас... Мне по-прежнему хочется подарить тебе лотерейный билет, только смысл подарка уже изменился. Я хочу, чтобы твой билет оказался счастливым, коль уж без лотереи в этой жизни никак не обойтись. Надеюсь, символический счастливый билет сблизит нас.

- Спасибо, сын. Я хочу, чтобы потом, через много лет, когда ты тоже достигнешь моего возраста и наживёшь себе, увы, похожие проблемы, ты вспоминал о нашем разговоре. Тебе тоже предстоит испытание любовью. (Сын быстро взглянул на меня, но ни о чём не спросил.) Надеюсь, эти минуты будут согревать тебя всю жизнь. Собственно, ради этого твоего будущего я и живу, это и даёт мне силы. Я стараюсь ответственно отнестись к тому, что дал тебе жизнь. Стараюсь не предавать тебя. Вряд ли я тяну на образец; но я стараюсь найти выход в этой темени.

Мы обнялись и распрощались.

После этого мне вновь стало невыносимо плохо.

Раздражало непонятное: если с сыном всё сложилось так удачно, так хорошо, почему же мне так горько?

9

После встречи с сыном, я вернулся в свою квартиру и записал следующее:

«Любовь, о которой столько говорят, в которую хочется верить, но редко удается увидеть в жизни, которая манит, словно клад искателей сокровищ, о которой знает каждый, но которая редко (так, чтобы только напомнить о себе, поманить, заставить поверить в то, что она существует) становится реальностью, – так вот любовь, как ни странно, на белом свете есть. Да, есть.

Почему же любовь – невидимка?

Все дело в том, что чувство любви дано пережить крупным личностям, удел которых не просто прожить жизнь, но – обрести судьбу. Те, кто испытали любовь, – знают, что такое судьба. Те, кого любовь обошла стороной, даже не подозревают, что они горестно, хотя и деликатно, осведомлены о присутствии в мире силы, называется которая «не судьба».

Вот в таких простых координатах проходит – пролетает! – жизнь человека.

Для любви необходимы венцы творения: умный мужчина и тонко чувствующая женщина. Всех остальных просят не беспокоиться по поводу любви. Существуют, в конце концов, секс, эротика, либидо – обойдетесь. Для продолжения рода стимулов достаточно.

И если женщина чувствует тонко, она рано или поздно, через общение с мужчиной, усваивает две библейских по значимости заповеди (которые и умный мужчина-то вырабатывает с величайшим трудом, и то – в пору зрелости): принимать умного и порядочного, следовательно, всегда в чем-то талантливого мужчину таким, каков он есть, гениальным и в то же время сложным и непонятным в общении (ни в коем случае не унижать его подгонкой под всеобщий аршинчик – не ожидать от него блестящих, как все дешевое, доблестей пустых рыцарей), и не навязывать ему своих проблем (не превращать его в инструмент решения своих проблем, заставляя испытывать чувство вины по поводу того, что он невольно обманывает ее ожидания). Принимать и не навязывать.

Надо окружать его заботой и стараться делать общение праздником, – то есть, поводом испытывать радость обоим. Не надо покушаться на свободу любимого мужчины, не надо бояться оставить его наедине со свободой, иначе он перестанет быть тем, кого нельзя не любить. Любовь – это искусство удерживать свободой. Не надо бояться избаловать его излишним вниманием: умного мужчину невозможно испортить любовью. А если мужчина раздражает вас тем, что он озабочен самопознанием, «самокопанием», недостаточно вас ценит...

Значит, не судьба. Любовь не состоялась. Мужчине не нашлось пары. Он может испытывать безответную любовь – но это всего лишь отчаянное стремление к идеалу (что очень смахивает на карикатуру на любовь).

А бывает, что и женщина не может найти себе достойного спутника – и тоже начинает испытывать безответные чувства к нему, тоскуя, в сущности, по идеалу. Она в принципе готова воспринять главные заповеди – но нет рядом того, кто это смог бы оценить. Увы...

Для умного мужчины любовь занимает место в ряду таких ценностей, как *истина, добро, красота* и производных от этого духовного и гносеологического корня сокровищ *свобода, творчество, счастье*. Любовь – это эмоционально-психологическая ипостась истины, свободы, творчества и счастья. Другими словами – результат работы одаренного человека над собой, его духовный багаж, отлаженный строй мыслей и чувств.

Вот почему к умному мужчине надо тонко приспосабливаться – но ни в коем случае не узурпировать его культурные функции, его бремя и каторгу, через которые он приходит к вещам, излучающим духовное сияние. Зачем! Это верный путь к разрушению гармонии. Тонкая женщина это чувствует – что и делает ее мудрой, хотя и счастливо лишенной ума. Широта натуры мужчины (ум) и женщины (тонкость) должны быть сопоставимы. Тогда мужчина и женщина усиливают достоинства друг друга, чем делают понятие «широта натуры» практически беспредельным.

И это пугает: попробуйте-ка все время укрощать бесконечность.

Вы все еще хотите любви? Уже нет?

Возможно, вы правы...

А вот умный мужчина и тонкая женщина всегда стремятся к любви, они рискуют, конечно, но не могут поступать иначе: это было бы неразумно.

Причем здесь весна, соловьи, удушливый аромат сирени и зашкаливающий пульс вкупе с потоотделением?

Все это может быть, конечно, началом подлинной любви, но само по себе является, скорее, ее суррогатом, общедоступной альтернативой.

Попробуйте написать повесть о любви, не написав того, что я сейчас написал и что, конечно, в повесть никак не помещается, словно инородное тело в чуждую среду. Как любовь отталкивает разумное к ней отношение, но не может обойтись без него, так и повесть органично не совместима с аналитикой, удалить которую, однако, можно только с глубиной.

Повествование о любви неизбежно превращается в повествование о заблуждениях ума и души».

Вот что я хотел сказать сыну во время нашего разговора и что лежало на дне моей души. Пока что, щадя его незрелость, показал только край бездны, только второе её дно.

Надо ли было понимать это таким образом, что я собираюсь писать повесть о любви?

Неизвестно.

Зато после этих строк я готов был встретиться с Настей для важного разговора.

10

Эдварда Дунечкина, большого поклонника шекспировских страстей, обуяла нешуточная ярость. Премьера не состоялась; при звуках моего имени (история с пьесой оказалась резонансной, была у всех на устах) он вздрагивал, словно Наполеон при упоминании злополучного Ватерлоо; Хлопушину он банально готов был порвать в лоскуты.

Настя окончательно впала бы в депрессию, если бы у неё, к счастью, голова не шла кругом. Она просто перестала что-либо понимать и ориентироваться в этом мире. Она поплыла. Добро, зло, горячо, холодно, боль, блаженство, предательство, дружба, жизнь, смерть – всё это на время превратилось в пустые звуки, в слова, слова, слова. Настя перестала реагировать на месиво из слов и разучилась вникать в их тайный и явный смысл, который просто отказывался принимать какой-либо определённый порядок. Если выразиться точно, получится очень банально: в её голове царил беспорядок.

В пору, когда ты не различаешь уровни, составляющие вещество жизни, ты счастливо живёшь в здравом уме, но при этом существуешь в пространстве мифа; когда изощренное внутреннее зрение научилось различать разные уровни, и эти уровни, не считаясь со здравым смыслом, перемешиваются и наползают один на другой – это катастрофа для ума и души, а кроме того – болезнь для тела; когда ты с помощью здравого ума научился выстраивать уровни в порядок и научился отделять миф от жизни – тогда наступает по-настоящему чёрный день: ты оказываешься умным, одиноким и странным. Тебя перестают понимать и счастливые. и несчастные, и ты попадаешь в касту отверженных.

И я, отверженный, протянул руку несчастной Насте.

Этого оказалось вполне достаточно для горького счастья. Мы быстро почувствовали, что необходимы друг другу.

- Кстати, по поводу волков... – сказал я. – Волки очень социальные животные, они в принципе не бывают одинокими. Волк-одиночка – это романтическая метафора, которая демонизирует благородное животное. Они живут только в стае и весьма болезненно переживают своё вольное или невольное отлучение. Кроме того, волк – однолюб. А ещё, - добавил я, задумавшись, - волки не живут в норе: они предпочитают жить на пространстве открытом.

- Ты это к тому, что ты – Волков?

- Возможно.

- А я, интересно, буду Волкова или Блудилина?

Вопрос поставил меня в тупик.

Во-первых, я ещё не делал ей предложения: то ли я не заглядывал так далеко, то ли заглянул дальше некуда; во-вторых, я всё ещё никак не мог привыкнуть к сладкому повороту событий: она собирается с удовольствием принадлежать мне. Подарки судьбы плохо стыковались с моей жизненной философией, и скорее настораживали меня, нежели радовали.

Оказывается, самый сознательный период своей сознательной жизни я бессознательно ориентировался на самое худшее из возможного – и это помогало мне выжить, ибо я редко ошибался. Я даже перестал этому удивляться, полагая, что я всего лишь реалист средней руки.

И тут случилось самое страшное: счастье возможно. К этому, оказывается, надо готовить себя специально, для этого нужен особый менталитет. Привычный расклад – психология чемпиона или психология

аутсайдера – здесь не годились. Мне надо было быть выше и, главное, в стороне от них. Я играл с чемпионами и аутсайдерами в одну игру – но по разным правилам, причём только по моим правилам можно было стать чемпионом, аутсайдером и счастливым одновременно. По их же амбициозным правилам номинация «счастливый аутсайдер, которому никакой чемпион в подмётки не годится», попросту не предусматривалась.

- Ты будешь Волкова, - излишне твёрдо (оттого, что твёрдости мне как раз и не хватало) рыкнул я. - Блудилина ты уже была.

- Батюшки, - отчего-то выразилась Анастасия.

- Да-да, - безжалостно ужесточил я позицию.

- Волкова так Волкова, - быстро согласилась Настя.

И вновь поставила меня в тупик. Выходило, что я сам, своими руками делал то, что считал единственно возможным и приемлемым для себя, и у меня всё получалось, – и в то же время первый, кто не верил в мою уже почти состоявшуюся победу, был всё тот же я сам.

Это было странно – странно настолько, что я уже сам начинал уставать от собственной сложности.

Понятно, что я тут же поддался искушению всё упростить – возможно, в надежде всё испортить, то есть отменить пугающую жизнь в режиме счастья. Ну её к чёрту. Я сказал:

- Нора – это метафора; если...

Люди привыкли жить, перебиваясь с хлеба на квас, и это правильно, и нечего привыкать к роскоши. Ну, в общем что-то вроде этого. Когда очень хочется, коварный разум начинает симулировать и «давать сбои», работая вполсилы, то есть в максимальную мощь интеллекта; именно интеллект, прикидываясь разумом, подведёт вам нравственное обоснование под любую гадость. Вы глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в том раю, где неразумную капитуляцию будете праздновать как победу разума, убого выдавая слёзы величайшего поражения за слёзы радости. Тьфу.

Я искренне боялся желать моему сыну судьбы разумного человека (словно моё не озвученное пожелание могло поистине стать судьбоносным); при этом я точно знал, что я как разумный человек, уважающий себя и сына, не могу пожелать своему чаду неразумного жития. Проклятая странность...

Итак, поддавшись искушению опрощения, я сказал:

- Нора – это метафора; если сказать прямо, нам негде жить. Поэтому я и предлагаю тебе стать Волковой.

В ответ я услышал то, что боялся услышать:

- Негде так негде.

Сразу вслед за этим произошло то, что можно назвать внутренней перегруппировкой сил: бессознательно следуя логике разума (но не интеллекта!), душа обрела необходимую твердь, которую (я чувствовал это на сто жизней вперёд!) можно было уважать бесконечно.

Кажется, именно в этот момент во мне родилась личность.

Я побывал в шкуре рожавшей женщины.

Я прошёл все муки и стадии родов, и теперь меня переполняла уже боль радости и мучительно-сладкая тревога. Я, как и женщина, ощутил себя незаменимым звеном в цепи мироздания: я, и никто иной, наполнял жизнь смыслом, невероятно укреплял её, делал человека благородным и вследствие этого (а не вопреки, как водится у глупцов) – жизнеспособным. Я был причастен к рождению жизни.

Женщина рождает человека, мужчина рождает личность.

Глупец – это не рожавший мужчина.

В этот момент я уже не боялся пожелать моему сыну судьбы разумного человека; я как нормальный родитель опасался простого: хватит ли ему сил? И переживал за то, как же ему будет сложно. Но путь к счастью лежит только через сложность и странность. Это странный путь. Все иные пути ведут...

Сейчас это неважно. Жизнь – материя хрупкая, и я готов был уважать слабость других.

Я не кричал, никто не резал пуповину отделившегося во мне самом плода (который и не собирался покидать метафизическую точку своего рождения, ибо личность живёт только в человеке). Я просто сказал:

- Будь моей женой.

- Конечно, буду. Я тебя люблю.

Ко мне быстро вернулось прежнее, дородовое ощущение: всё, ловушка захлопнулась.

При этом я, словно родившая женщина, стал другим: я смотрел на этот мир глазами человека, который оценивает условия жизни с точки зрения выживания его потомства.

Глазами личности.

Я стал сильным, ибо был странным.

11

С этого дня мысли о квартире, о «норе», занимали меня полностью.

Я ценил отношение Насти к квартире, то есть к отсутствию оной, однако квартирные перспективы рано или поздно должны были сказаться на наших отношениях.

Человеку, увы, где-то надо жить; право на жилище записано как оно из священных прав человека (о правах личности люди предпочитают молчать).

Квартира – это деньги. Где их взять? На большой дороге?

Проклятая нора.

Первого апреля, вечером, я наткнулся глазами на билет, который подарил мне сын.

Ночью я почти не спал. Мне снилась распроклятая нора, блиставшая кафелем, подвесными потолками, люстрами, искрившаяся дорогими тиснёными обоями, и совсем уж добивал меня, почему-то, низенький журнальный столик с двойным дном, который царил посреди комнаты-норы.

Наутро я, выпив кофе со сгущённым молоком, пошёл на ближайшую почту и проверил билет.

Молоко в моём детстве было вкуснее. Оно пахло мёдом и карамелью. Сейчас оно отдавало гарью с кислинкой. Ну, бог с ним, с молоком. Оставлю детство на старость.

Я выиграл квартиру.

Проверил ещё раз.

Я выиграл квартиру.

Проверил ещё раз.

Результат не изменился.

Смирившись с произошедшим (не скажу, чтобы я испытал громадное облегчение – скорее, настороженность, будто я получал выигрыш в долг, да ещё под непосильные проценты), я не стал подходить к строгой женщине, сидящей за операционным окошком, чтобы выяснить, что мне, законопослушному, но везучему, следует делать дальше (мне казалось, она может спугнуть удачу); я пошёл к Насте.

Отдал ей билет и попросил зайти на почту и проверить. Так, на всякий случай. Я бы и сам сходил. Но мне что-то не здоровится.

- Ладно, - сказала Настя.

- Только сегодня.

- Сегодня я не могу.

- Пожалуйста.

- Ладно.

Результат не изменился: треклятая нора была преподнесена нам на блюде с голубой каёмочкой. Причём Настя приняла этот дар как должное.

Это означало: к предстоящему счастью я должен был отнестись со всей серьёзностью.

Но меня распирал нервный смех. *Вдруг, в один прекрасный день...*

Это было до боли мне знакомо. И счастье, и несчастье трогательно смахивают друг на друга по спектру переживаний, ибо растут из одного корня.

12

Вот в этом месте согласно всем законам образцовой драматургии должен следовать репортаж из рая. Кульминация. Пик. Победа. Фанфары и мажор. Так мыслили вплоть до эпохи Кребийона-сына включительно.

Но у меня вышла заминка. Счастье моё (и не только моё, смею я надеяться, – счастье умного человека, намекаю я) имело мало общего с райским кайфом. Если бы я скрупулёзно, день за днём, вёл дневник, боюсь, его скучновато было бы читать тем, кто интересуется проблемами абсолютного счастья. Легко было предсказать, что счастье окажется делом трудным, трудоёмким и вполне будничным.

Так оно и случилось.

Но только так, да не так.

Поскольку счастье – это продукт гармонии, следовало ожидать, что оно должно включать в свой состав компоненты разнородные, исключающие возможность соединения – и, следовательно, этот волшебный напиток

обладал уникальной рецептурой (а законы приготовления его – универсальны: дьявольский коктейль...).

Кроме того, не забудем про уровни – показатель выдержанности сего нектара: чем больше уровней, тем более он пьянит и трезвит одновременно.

Очевидная и самая внешняя сторона счастья – оно состоит из приятных сюрпризов. Режиссерский талант Насти оказался обратной стороной потребности вить гнездо, обустраивать нору. Декорации, в которые она помещала наш быт, были ужасно скучными, страшно выразительными, ужасающе многозначными и чудовищно многофункциональными.

Казалось бы, диван. Что тут можно выдумать нового?

У меня сложилось впечатление, что для нашей комнаты годился только тот диван, который выбрала Настя. Цвет, размер, модель – всё идеально соответствовало комнате, в которой собирались жить мы. Он был большой, просторный, занимал полкомнаты, при этом казалось, что он освобождал пространство. Если бы не этот диван – всё было бы испорчено. Это раньше говорили «танцевать от печки»; сейчас надо плясать от дивана.

Или – люстра. Язык не поворачивается сказать, что, мол, пошлая мещанская каракатица в стиле хайтек светилась энергосберегающими спиралями; отнюдь, она волшебным образом согревала нашу жизнь.

Настя не просто обустраивала быт; своими действиями она «проговаривалась» – невольно лепила образ будущего, которое мне нравилось всё больше и больше. Это ещё один сюрприз. Скажу больше: я убеждён, что счастье – это смелый и честный взгляд в будущее (или подглядывание из будущего). Будущее определяет настоящее в большей степени, нежели прошлое.

- Думаю, мне удалось найти место для коробок с моими архивами: здесь, рядом с письменным столом, - воскликнул я, внося свой посильный вклад в благоустройство жилища, – привнося в царящую целесообразность ноту живительного творческого беспорядка (Настя, жена затюканного драматурга, должна была оценить креативность моей причуды).

- Не уверена, - Настя вытянула губы в ниточку. – Куда же мы поставим кроватку, когда родится малыш?

Оказывается, «от этого» родятся дети, малыш по умолчанию должен был появиться на свет, это не обсуждалось; этот пункт негласного договора входил в сложный состав того самого счастья, которым мы так наслаждались сегодня. Не оставишь места кроватке – и счастьем конец. К любви непременно прилагалась ещё и кроватка.

Что ж...

В какой-то момент стало казаться, что вместо великой любви на тебя свалилась великая иллюзия; однако назад, туда, где все иллюзии истреблены на корню, где надежда появляется на свет уже с врождённым пороком, не совместимым с понятием жизнь, отчего выражение «надежда умирает последней» приобретает чёрноhumорный смысл, – туда, где надежда умирает прежде, чем народится отчаяние, – туда пути не было. А вперёд...

В принципе, идти можно было только вперёд.

Вот такая заминка вышла у меня с репортажем из рая.

С другой стороны, как бы ни трудно было мне описать своё *состояние* счастья, я с тугодумной самоуверенностью осла ни секунды не сомневался в том, что пребываю в состоянии *счастья*. Такие коллизии...

Хорошо. Мысленно я проделывал следующий эксперимент. Мотивации при мне?

Не сказать, что в должном объёме, сэр. Но семя обрело почву. Несомненно, сэр.

Амбиции?

Как сказать, сэр... Они не помогают жить. Но и не мешают. То есть, они скорее присутствуют, чем отсутствуют. Сэр.

А теперь – внимание.

Безусловно, сэр.

Что если в этот момент мне расстаться с Настей (с кошмаром кроваток, благоустройством нор, грузом ответственности и прочей чепухой, не имеющих к сути моего созерцательного существования никакого отношения) и гордо плыть в обрётённом равновесии в направлении «куда ж нам плыть».

Чем не вариант?

Вариант, конечно. С одной поправкой: дрейфовать не хотелось никуда, ни вперёд, ни назад. Нет Насти – нет дрейфа.

Следовательно...

Следовательно, я должен был радоваться тому, что у меня есть Настя.

А я не радовался, потому что очень быстро привык к тому, что она у меня есть. Воспринимал это как должное. Счастье перестало меня стимулировать, хотя возможное несчастье уже огорчало. А почему, собственно, счастье должно стимулировать уважаемую Личность (эй, вы там, снимите шляпу, я иду)? Выстраивать отношения со счастьем по райско-метафизическому принципу вампира «даёшь свежей кровушки» – правильно ли это?

Ты стимулируешь счастье, счастье стимулирует тебя; если ты симулируешь счастье, оно симулирует тебя, в буквальном смысле превращает тебя в симулякр. В пошлый фантазм.

Следовательно...

Не знаю. Вот не знаю, и всё. Нет у меня ответа.

В таких случаях вместо внятного ответа приходится апеллировать к невнятным ощущениям, в которых варится, «проговаривается» грядущий ответ.

Убеждён я был только в одном: во мне бродила не слабость унылого интеллигента, замешанная на дрожжах непонимания, а сила мужчины, придававшая счастью моему облик маскулинности (мне жаль, Педрито).

Именно так: моё счастье пуповиной связано было с сакральным императивом «познай себя», это было мужское дело, священный процесс, к которому допускать Настю было нельзя, (хотя результат процесса предполагал наличие Насти в моей жизни и без неё был недостижим).

Как меня всё это достало. По самое некуда.

Ну, странно же всё это чертовски – настолько странно, что самому Господу Богу не разобраться. Кстати, если Он ежесекундно, еже-(как назвать неделимую дольку Времени?) призван щёлкать задачки, которые становятся камешками преткновения для Личности, я ему не завидую. С *Его вечным счастьем* взвоешь не по-человечески.

Кстати, вот ещё одно доказательство – от противного. Если на свет явилась Личность, следовательно, Бога нет. Ибо: зачем Он нужен?

Умный мужчина справится. Который ни гроша не стоит без глупой женщины. И потому его архив уступает место кровати.

В этом что-то есть.

13

Я, конечно, менялся, но не вместе с жизнью, а в соответствии с логикой разума, оберегая в себе всячески начало неразумное (логика разума просто настаивала на этом).

Словно шхуну в крепкий шторм, меня несло к рифам некоего косвенного доказательства (которого, понятное дело, я страшился, однако – познавать так познавать! – избегать не собирался). Вот проскочу очередные рифы, и меня встретит открытая вода (тишь да гладь!), которая ограничивается где-то на горизонте очередной грядой рифов. Увы? Ура?

Значит, так. Врубаем гамбургский счёт. («Эй, вы там, счёт!» Забавно...) Вроде бы, мотивации мои пребывали в порядке. Или всё же – не очень?

Место для кровати мы оставили, архивы куда-то засунули; можно ли сказать после этого, что мотивации здесь не при чём?

Будем читать, что они у меня были.

А пьесы и романы не пишутся. И я не написал ту повесть, которую вы сейчас прочитали. Я надеюсь, это сделает кто-нибудь другой из жизнеспособной породы странных людей. Может быть, мой сын?

А во мне...

С тех пор, как в душе моей, убаюканной разумом, поселилось счастье, в личности моей что-то изменилось. Мне трудно оказалось совместить счастье с творчеством. Творчество (так я чувствовал седьмым своим дном, запечатанном на седьмом небе души) было разрушительной природы. Удачная пьеса рождалась из неудач жизни, из ощущения трагичности жизни – из тайной убеждённости в невозможности счастья, если быть до конца откровенным.

И я, будучи человеком счастливым, как никто другой чувствовал тёмную изнанку счастья.

Я обходил стороной письменный стол, к которому меня уже тянуло, как клеймёного раба к галере. Как мозолистые ладони к веслу. Как железо к магниту. Как женщину к кровати. Неотвратимо. Неужели, мне предстоял какой-то ещё круг? Вот сяду за стол – и что-то ведь разрушится в моей жизни.

Зачем? За что? Опять рожать?

Я предчувствовал, что знаю ответы на поставленные мной вопросы, только мне не хотелось добывать из себя эти знания. Например, я знал, что воспитывать ребёнка – это одно, а возвращать личность – совсем другое. И тот день, когда в сыне твоём просыпается личность, становится днём печального торжества. Дети – это сплошные тревоги, это удовольствие экзистенциального мазохиста. Это сладкий крест не для слабонервных.

Я желал бы насладиться бездумным покоем. Моментом редкой высокой гармонии. Ну, хотя бы ещё немного. Несколько прекрасных дней.

Предчувствие грядущего несчастья (проклятые рифы, к которым влечёт!) делало моё счастье полным до краёв поднесённой мне Моей Именной Чаши. Мной самим поднесённой, разумеется, кем же ещё.

В этот *момент* я не желал больше ничего.

Ничего.

Получается, я жил ради момента или, что гораздо пронзительнее, только в этот несчастный момент я ощутил отравленную прелесть жизни?

В этот момент ко мне подошла Настя, обняла и спросила, хочу ли я чебуреков.

Я произнёс то, что с некоторых пор считал главным словом для любимой женщины:

- Да.

Январь-февраль 2010

ТАКОВ ПОЭТ

1

Край вечеряющего гаснувшего неба был охвачен романтически благоухающими оттенками, более подходящими свежему утру: светлая полоса горизонта утомленно сияла нежно-голубыми и бледно-розовыми разводами. Пространство над головой сдавили беспросветно-темные тучи, пузырящиеся мерзкими, казалось, набухшими водой волдырями.

Поэт Сергей Сергеевич Гугнин (пишущий под псевдонимом Бархатков: это была девичья фамилия его бабушки) одним росчерком пера разогнал тучи:

Сияй, сияй, волшебная заря,

Прикрывшись розовым заветным опахалом!

После чего спрятал ручку и блокнот, которые всегда были при нем, как, скажем, носки и носовой платок (нет, носовой платок он мог и забыть, ручку же и блокнот – никогда, ни за что на свете), и превратился в обычного озабоченного прохожего.

Правду сказать, в не совсем обычного или, если на то пошло, в обычного, охваченного, однако же, исключительными заботами. Сергей Сергеевич шел за цветами – дело, возможно, и не самое необычное, но повод был редчайшим для каждого человека: они с Эвелиной только что вернулись из ЗАГСа. Вернулись, разумеется, счастливыми мужем и женой. Согласитесь, повод выделял Сергея Сергеевича из толпы прохожих, даже если они все спешили за цветами, во что невозможно поверить. Народ, несомненно, валом валил в гастроном или из гастронома.

Еще Бархаткова выделяло то, что он забыл купить цветы утром; сюрприз был отложен на вечер.

Хотя слово «забыл», может, и не совсем уместно. Утром он тоже вышел за цветами, имея в запасе минут десять-пятнадцать до ЗАГСа. Но это непредсказуемое небо... Осеннее сухое небо грустило в унисон с Сергеем Сергеевичем. Казалось, оно спалило себя дотла лихорадочным жаром и теперь покрыто было светлым невесомым пеплом. Даже странно было, что время от времени из сухих туч брызгал мелкий легкомысленный дождик. Упустить этот образ, рождающий тонкое настроение, было невозможно. Бархатков набросал кое-что, еще раз полубовался на совсем не злой, напротив, милый дождик, и в результате опоздал в ЗАГС всего минут на десять, как-то упустив из вида то обстоятельство, что ему необходимы цветы.

- Спасибо, что хоть не забыл, что я, соломенная вдова, тебя здесь жду, - с грустью сказала Эвелина в ответ на его невнятное бормотание об упущенных из вида цветах. Счастливый день начинался грустновато.

Зато потом все было замечательно. В зале для свадебных торжеств парили блеклые ангелы, с солидным сипением натужно гудел орган, подражая шарманке. Атмосфера чем-то неуловимо и забавно напоминала крематорий. Осторожно подкатывали свадебные кортежи, тихие процессии гостей в сером и белом двигались непрерывным конвейером, женихи и невесты изо всех сил

гашили счастливые сияния на лицах. Все было пошло и однообразно – под копирку, под серую унылую копирку. Сказано: все счастливые семьи счастливы одинаково...

Конечно, праздник как у всех их с Эвелиной не устраивал. Особенное счастье надо праздновать по-особому. Никаких гостей! Зачем им гости в такой день? Чтобы отвлекать молодых друг от друга? Бархатков давно уговорил Эвелину праздновать этот день только вдвоем. А в ресторан можно сходить и завтра – небольшой, но интересной компанией. Пригласить, конечно, магната Серова. Все-таки две книги изданы за его счет. Возможно, стоит приласкать и критикессу, эту рыженькую простушку Валю. Она сделала отменные рецензии на книги, надо отдать должное.

- А летом мы поедem к морю. Тебе нравятся мидии, мадам Столбикова?

Эвелина не захотела принимать неблагозвучную фамилию мужа и оставила себе девичью. Столбикова так Столбикова, Гутнин не имел ничего против.

- Да, нравятся. У них такой хрупкий панцирь...

Правда, они вместе с другими новобрачными завернули зачем-то на Остров слез. Просто поддались общему настроению. Странно, если разобраться. Светлый праздник уже слегка оживленные кучки гостей начинали с Острова слез – мемориального комплекса совсем не радостного и не располагающего к безоглядному веселью. Все те же скорбящие ангелы, только теперь в бронзе, колко ледящей ладонь. И этот дурацкий обычай – подержать невесте, грациозной застенчивой девушке в белом, голого ангелочка за причинное место. Отполировали эту штучку своими невинными ладошками до неприличного блеска. У ангела, залетевшего на остров с совершенно иной, трагической миссией, комически сияло совсем не то место. Только попади им в руки: оциплют до последнего перышка. Что за народ! Явно ведь ни скульптор, ни ангел не думали ничего такого. Как можно думать о чем-нибудь таком на Острове слез! Для этого есть Остров любви. Пошлые и низкие вкусы: перепутать ангела с амуром! Хотя надо признать, что какая-то симпатичная, не всем доступная логика в этом действе – из ЗАГСа на Остров слез – все же была. Толпы людей делали то, что не должны делать толпы. Странно. Даже, признаться, не без поэзии.

Они потрогали ангела за вполне совиные мясистые крылья и отправились гулять в парк. Бархатков расписывал Эвелине, какие цветы он хотел купить ей (то есть какие купит вечером): маленькие крепенькие бутоны белых роз, непременно осененные тоненькими веточками гипсофила, унизированными снежно-белыми мушками. Да-да, гипсофила. Его мелкие цветочки кажутся присыпанными гипсовым порошком, и оттого выглядят неживыми, но они необыкновенно оживляют букет и придают ему объем, наполняют воздухом. Живая белизна рядом с неживой. Забавно, правда? Букет не должен быть большим, банально пышным, как у всех; чем больше – тем лучше: это характеристика веника или метлы, но не букета. Цветочная композиция должна быть изящной и изумительно подходить к случаю.

Слова тогда вполне заменили букет. Сергей Сергеевич знал силу слов.

Именно такой букет и купил Бархатков этим дивным вечером. На небе появилась полная луна, напоминающая забавное личико матрешки, которое хотелось опоясать легкой косынкой в узорах из мелких голубеньких цветков.

Он зажег свечи, достал холодное шампанское и отправился определять букет в подобающую случаю вазу.

Поэт вошел в залитую неоновым светом (напоминающим холодный лунный) ванную комнату и бросил на себя взгляд в зеркало. Блеск в глазах, выбившаяся прядь волос съехала на лоб... В голове его помимо воли замутило ностальгически сладкой вьюгой:

Ах, ты, ночь!
 Что ты, ночь, наковеркала?
 Я в цилиндре стою.
 Никого со мной нет.
 Я один...
 И разбитое зеркало...

Такое невозможно было оставить без внимания. Его всегдашняя зависть к Есенину, гениальность, а значит, избранность, которого он ощущал просто физически, взбудоражила не на шутку. Чем можно было ответить любимцу богов, которого даже именем, отчеством и фамилией судьба наградила вовсе не случайно?

Уже давно, с самого утра, в душе Бархаткова в каком-то распыленном состоянии блуждала поэтическая взвесь. Необходима была точка, вокруг которой могла произойти чудесная конденсация. Он посмотрел в зеркало на себя, на свое обычное, ничем не примечательное лицо гражданина Гутнина, почти тридцати лет отроду, женатого, – и вдруг все сфокусировалось. Хрустальными молоточками зазвенели первые строчки поэмы, название которой слетело откуда-то из-под сияющих неоновых трубок: «Агорафобия». Боязнь толпы. Поэт и толпа. Вы, господа, забыли о том, что поэт никому не служит, он угождает самому себе. Вы слышали что-нибудь о высокой болезни? Она называется «Агорафобия». Вообще вся жизнь человека похожа на диагноз: между филией и фобией. Люблю, боюсь и ненавижу. Отдам всю душу чему хотите – «но только лиры милой не отдам». Есенин и тут затронул самое сокровенное: можно продать душу, но при этом не отдать лиры. Лира выше души, лира не врет – принципиально не врет, не способна врать, благодаря своей божественной конструкции. Лира – это и есть существо поэта, которое даже не срослось с лирой, а есть продолжение ее, – существо, которое вам, «простым людям», как вы любите о себе говорить, никогда не постичь. Это вы можете перепутать ангела с амуром и лиру с душой. И это дает мне право – высшее право! – презирать вас, ничего не объясняя. Чем я заслужил такое право? Тем, что мой дар – это мой крест, черт побери. Поэтический дар – это лезвие бритвы, это смертельно опасный, экстремальный, как вы любите говорить, род занятий. Причем, поэзию выбираете не вы, здесь выбирают вас. И понять здесь ничего нельзя: это выше понимания. Роковая природа дара в том, что вы всецело ему подвластны, не можете его отвергнуть; но если вы не уклоняетесь от

предназначенного вам пути, и способны выдать что-то вроде «лиры милой не отдам» – вы пропали. За такое спрашивают очень серьезно и сердито. Вы даете вещам имена, чувствам – сладость, мыслям – форму. Вы учите людей думать и говорить. Высшие силы начинают ревновать. Я это знаю. Тому, кто не держал в руках лиры, – этого не объяснить...

- Сережа, опять?

Он посмотрел в зеркало. Зрачки его, в которых застыли брызги расплескавшегося холодного серебра, лихорадочно блестели. За его спиной стояла женщина с заплаканными мутными глазами.

- Ты мог бы хотя бы в такой момент, в такой момент забыть о своих строчках? Я ведь о многом не прошу, Сережа. Это так оскорбительно, тебе не передать.

- Именно в этот момент я почему-то не могу думать ни о чем, кроме своих строчек. Может быть, ты прикажешь, чтобы они покинули меня, а? Разбежались, как тараканы? А?

Он сунул ей вазу с цветами и выскочил из ванной. Как ей объяснить, что строчки, которые сами по себе теснятся и наползают сейчас, именно сейчас, прут как трава сквозь асфальт, никогда больше не придут – никогда! – если ты их бережно не соберешь и не запишешь. Вдохновение не прощает небрежности. Как она не может этого понять! Какая разница, сейчас мы сядем за стол или через час?

Он хлопнул дверью своего кабинета и щелкнул замком. Остался один. Никто не получит ключей от его лиры. Никто. И прежде всего – жена. Это так пошло: муза, бряцающая ключами от лиры.

Полночи пролетело как одно мгновение. Никогда еще вдохновение с такой силой не овладевало им. Несколько строк были гениальными, он это чувствовал. Вот теперь ему понадобилась Эвелина. Сейчас она услышит эти строки – и все простит. И у них будет волшебная ночь. Да, именно сейчас он готов к волшебной ночи.

- Эвелина! Эля!

Он пробежал мимо стола с оплывшими и давно выгоревшими свечками и ворвался в спальню. В одних носках (он забыл надеть домашние тапки) Бархатков наступил на куски разбитой вдребезги вазы и с воплем повалился на кровать, зажимая ладонью распоротую пятку. Одежда была мокрым. Связка еще упруго-свежих белых бутонов лежала на белой подушке, и сразу было видно, что белые розы на самом деле имеют кремовый оттенок. Нежно кремовый...

Эвелина вылила воду на кровать, в бешенстве (с очаровательно пульсирующей верхней губкой, конечно же) разбила вазу и швырнула розы ему в изголовье. Первый букет грядущей славы. «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб...» Да... В свою первую брачную ночь он остался один. Совсем один, если не считать осколков разбитого хрустального сосуда. Пятка, обработанная рыжим йодом, источающим, помимо ядовитого медикаментозного благоухания, еще и слабый запах моря, сладко ныла. Ах, Эля...

Бархатков был почти счастлив: он написал почти половину поэмы. И он заснул блаженным сном на краю постели – там, где было сухо и тепло.

Во сне он увидел странное существо, которое корчило ему рожи.

Но оно было милым.

2

В глубине души все произошедшее этой ночью ему даже понравилось. Он чувствовал, что шедевры именно так и рождаются, из крови и сора. Из осколков. Пьяные кутежи и обморочные похмелья Есенина тоже были не медом. Если бы он всякий раз слушал женщину, ничего бы стоящего не написал. Милая лира...

Но вот сор из избы выносить негоже. Где искать Эвелину? У матери?

Эта пупырчатая гусыня с претензиями, которая волею судьбы стала ему тещей, все перевернет и истолкует по-своему. Поссорить ее с зятем – значит, подарить ей праздник. Как Эвелина могла родиться от такой скучной женщины? Даже как-то неприлично, не говоря уже о том, что против всяких законов природы.

На столе стояло шампанское, которое, конечно, давно уже было не холодным. Что ж, выпьем шампанского. Ваше здоровье, господа! Поздравьте меня с «Агорафобией». И со свадьбой.

По телу разлилась волна острой, ликующей радости. Бархатков чувствовал себя особенным человеком – настоящим поэтом.

В этот момент раздался звонок в дверь. Сергей Сергеевич, прихрамывая как раненный, но ловкий зверь, легко ринулся в прихожую. В дверях стояла странно улыбающаяся Эвелина, позади нее с огромным букетом в правой руке (кто бы сомневался) солидно расположился Серов, человек огромного роста в просторном черном плаще. Левую руку ему оттягивал объемный пакет.

Бархатков искренне обрадовался появлению жены и обнял ее, все прощая. Серов сдержанно (он все делал основательно и неторопливо) поздравил своего «любимого поэта» с женитьбой. Сам он был женат второй раз, на подруге Эвелины Юле, своей секретарше; кроме того, ходили слухи, что у него на стороне еще две семьи и куча любовниц. Что ж, человек живет с размахом, так сказать, размахивая руками. Не наше дело попов судить: на то есть черти, как говорит народ.

Бархатков предложил тут же отметить «это событие», то есть женитьбу, предвкушая, как они будут обескуражены музыкой «Агорафобии», – потом, после бутылочки-другой любимого Серовым грузинского вина, которое тот уже доставал и откупоривал. Сергея Сергеевича распирало великодушие:

- А вечером приглашаем вас в ресторан, Федор Иванович. Не так ли, дорогая? Вместе с Юлей, если пожелаете.

- Пожалуй, это мы приглашаем тебя в ресторан, Сережа, - устало сказала Эвелина, зябко кутаясь в шарф Серова. – Не так ли, Федя?

Бархатков внимательно посмотрел на жену. Осунувшееся лицо, бледные помятые губы, наглый след крепкого мужского поцелуя на кремовой шее...

Сергей Сергеевич еще вспомнит свою первую реакцию на страшное открытие, всему свое время. Внешне он держался достойно. Больше всего, почему то, его поразило спокойствие Федора Ивановича, который продолжал невозмутимо разливать вино в бокалы (третий бокал поставила на стол Эвелина). Серов был уверен, что поступает правильно.

- В качестве кого вы меня приглашаете, позвольте полюбопытствовать? – галантно спросил Бархатков.

- В качестве моего мужа, - ответила Эвелина, отхлебывая вино из бокала, не дожидаясь тоста. – Федя издаст все твои строчки, которые ты написал этой ночью. Строчки для ночки. Это будет дополнение к свадебному подарку. Федя благородный человек...

Бархаткова охватил паралич. Он просто не знал, что ему следует предпринять. Он лихорадочно соображал, как в его положении должен поступить уважающий себя человек. Получалось, что уважающего себя человека объял столбняк. Внешне это выглядело так: он просто отхлебывал вкусное грузинское вино большими глотками.

- Почитай нам свои стихи, - попросила Эвелина.

«Ну, что ж, – подумал Бархатков, – вам угодно делать из меня клоуна, шута горохового. Посмотрим. Смеется тот, кто смеется последним. *О, этот смех в зеркальном подземелье.* Надо запомнить последнюю строчку. Здесь есть что-то сильное. Завораживающее. Так я закончу «Агорафобию». Спасибо за строчку, господи. Дух поэта дышит, где захочет...»

- Это поэма, - сказал Бархатков, никак не комментируя наглость жены и самоуверенную поведку ее любовника. – Называется «Агорафобия».

- Почему «Агорафобия»? – спросил Федор Иванович.

Бархатков снисходительно выдержал паузу.

- Агорафобия – это боязнь толпы. Ненависть к человеку толпы, большому хаму – вот что руководило мной...

- Агорафобия, – перебил его Серов, – это боязнь пространства. Одно из проявлений боязни жизни. Боязнь толпы, скорее всего, переводится так: «охлофобия». Звучит не очень поэтически. Отдает охлократией. И вообще чем-то ослиным. Несомненно присутствует оттенок комизма. Я вам советую сменить название. А боязнь самого себя переводится следующим образом: «эгофобия».

Бархатков выдержал паузу – выдержал удар. Губы совершенно пересохли. Он смочил их вином и тихо начал:

О, друг мой, враг мой, иль мне это снится?

Стихи звучали веско, как приговор, – правда, неизвестно в чей адрес. Уже в процессе чтения Сергей Сергеевич нащупывал логово противника и туда направлял энергию отрицания, испепеляя залпами ненависти образцовый порядок вещей.

Глаза его жены были закрыты. В момент поэтической кульминации, в момент экстаза, который Бархатков так искусно обозначил, Серов расстегнул

платье Эвелины сзади и стал ласкать ее небольшую грудь своей огромной ладонью. Бархатков тут же швырнул листы в сторону и размашисто бросился на магната. В мгновение ока ему навстречу выскочила чугунная кувалда: он получил банальный удар под глаз и свалился на пол, издав сочный стук треснувшего арбуза. Голова пошла кругом.

Лежа на полу, в луже грузинского вина, он слышал, как Федор Иванович задумчиво произнес:

- Культ поэтического восприятия мира ведет к деградации личности. Хотя надо признать: он дьявольски талантлив, Лина. Мне уйти?

- Нет, останься. Мне очень холодно одной.

В ответ на это Серов стащил с Эвелины платье и привлек ее к себе. Прозвучал влажный поцелуй. Жена Бархаткова тихо застонала. Муж знал, чего ей хотелось в этот момент. Он кожей ощущал мягкие толчки ее теплого прерывистого дыхания. Он знал все, что произойдет дальше. Она начнет прижиматься мягким животом, и сама сделает так, как мужчине и в голову не придет: дальше начнется непредсказуемое. Она была поэтом в области интимных отношений.

Лунный свет ванной комнаты привел молодого в чувство. У него в ушах звучали слова «надо признать: он дьявольски талантлив, Лина», заглушаемые шуршанием вечернего платья, от которого Федор Иванович освобождал грудь и бедра Эвелины.

Странно: стон Эвелины не вспомнился ни разу.

3

Как-то так получилось, что еще до ресторана они успели помириться. Против всех человеческих правил, вопреки здравому смыслу, подчиняясь разнузданной поэтической логике, за которую Сергей Сергеевич себя тут же зауважал, он легко простил свою жену, чем несколько озадачил Серова. Бархатков даже не ожидал от себя такого широкого жеста, так выделявшего его из толпы занудно-приличных людишек. Сомнительное поведение Эли было ничтожной платой за то, что произошло между ним и небом. Женщина, даже если это твоя жена, не перестает быть обычной женщиной. Зачем же унижаться до ссоры с ней, до выяснения отношений? Женскую природу, мстительную и примитивную, не поменяешь. А Серов... Дело ведь не в нем, а в том, что поэт отважился звуки милой лиры поставить выше всего на свете.

В ресторане они с Эвелиной сидели по одну сторону стола, по другую расположились Серов с Валентиной, не сводившей глаз с Бархаткова. С ними была еще одна пара: кажется, подвернувшиеся друзья Серова. Запомнилась фамилия друга: Петр Петрович Война. У Войны было гладенькое лицо скопца с мелкими чертами.

- Мир Войне, - сказал Бархатков.

Петр Петрович сделал вид, что не заметил глупого остроумия поэта, елеинно подмазываясь к своей пышной даме, ловившей каждое слово Серова.

Федор Иванович поднял тост за выдающегося поэта, за его счастье и удачу. Поэма «Агорафобия» будет напечатана сразу, как только будет закончена. Это изумительная вещь. Такой талант надо всячески поддерживать. Браво. Что такое агорафобия, интересуется Валентина? Это боязнь пространства, заполненного толпой, по смелой версии поэта. В принципе – это болезнь, и ее надо преодолевать.

Валентина просто раскрыла рот. Не такая уж она и простушка, если разобраться. У нее есть поэтическое чутье, особый нюх на присутствие или отсутствие поэзии. И, кажется, большая мягкая грудь.

Как ни странно, было весело. Особенно веселилась Эвелина, которая шутила сама и смеялась шуткам мужчин. У Войны обнаружилось чувство юмора, и он сам предложил выпить за мир во всем мире. Но Валентина уловила напряжение, которое заряжало и сгущало воздух за столом. Все было чересчур естественно, несколько нервно – слегка пахло порохом.

Бархатков с трудом представлял себе, что будет дальше: вариантов развития событий было слишком много. Открытость и непредсказуемость не только жизненных перспектив, но даже сегодняшнего вечера, приятно волновала и тревожила. Поэт чувствовал себя как рыба в воде. Это и была поэтическая стихия – свобода и воля.

Однако все завершилось до обидного обыденно.

- Нам пора, - сказала Эвелина, поднимаясь из-за стола, совершенно уверенная в том, что Бархатков сейчас подаст ей пальто.

Все обменялись дружескими поцелуями, мужчины пожали друг другу руки, и общество разошлось, пожелав счастья всем и каждому. Бархатков неторопливо подавал пальто Валентине, задерживая свои руки на ее плечах, а Серов с большим вниманием ухаживал за его женой.

В такси молодожены молчали, глядя в разные стороны, а дома Бархатков, ни слова не говоря, стянул с мадам Столбиковой платье и повалил на пол в кухне, на то самое место, где он лежал, сбитый с ног Серовым. Это была не любовь, а месть Эле за измену. Да, Бархатков унился до мести, ощущая при этом, как он возвышается до поэтического безумия. Глаза жены были закрыты. Больше всего он боялся прерывистого теплого дыхания, которое утром было подарено Серову и которое сейчас больно бы обожгло самолюбие законного мужа. Сейчас ему не надо было нежности; сейчас он хотел быть грубым гунном.

Эля с вызывающей покорностью приняла насилие – их первый брачный акт любви. В ее поведении равнодушно сквозило (или это только чудилось Сергею Сергеевичу?): я так устала после ночи с Серовым, что не жди от меня нежности. Делай что хочешь, и оставь меня в покое. Я смертельно хочу спать.

Он так и оставил ее лежать на полу; возможно, она плакала, но убеждаться в этом не хотелось: это испортило бы удовольствие от мести. Бархатков, ни слова не говоря, аккуратно прикрыл за собой дверь ванной, взял текст поэмы и направился к Валентине.

Настроение было не очень.

4

Луна, похожая на драгоценный поднос, отлитый из тяжелого золота, была протянута Бархаткову чьей-то услужливой рукой. Вот поднос – и все. Этот образ не давал покоя поэту, пока он шагал по улице. В пространстве между головой и сердцем, подстраиваясь к ритму его медленных шагов, сам собой начал складываться какой-то вычурный стих, но до конкретных строчек, отчеканенных серебром по золоту, дело отчего-то не дошло. Бархатков улыбнулся: поди, сладь со своенравной лирой. Красавица...

У Валентины действительно оказалась большая мягкая грудь, которая колыбалась в такт его движениям. Она совершенно не сопротивлялась, и, казалось, была ничуть не удивлена приходом Бархаткова. Она давно то ли обожала Сергея Сергеевича, то ли признавала за ним право на любой самый эксцентрический поступок, а он позволял себя обожать, как бы не замечая откровенного блеска в ее глазах. Был между ними один эпизод, который, на первый взгляд, все запутал, а на самом деле внес ясность. Однажды ранней осенью, когда крикливая желтизна кленов смотрелась вовсе не печально, а вызывающе юно, несмотря на проступающие голые сучья (пугающий остов, мрачное будущее всякой осени), Сергей грубо и бесцеремонно овладел Валею на скамейке в парке. Она безропотно сделала все, что захотелось повелителю, после чего спокойно заглянула ему в глаза. В ее глазах светилась чистая совесть.

А назавтра они с увлечением обсуждали его новый цикл, как будто вчера ничего и не было. Никакой неловкости в их отношениях не появилось; появилась богемная пикантность, рожденная вседозволенностью гения. Эля, разумеется, ни о чем не узнала. Потом за Валею, кажется, кто-то стал ухаживать всерьез. Потом, кажется, он исчез. А Бархатков накропал игривую осеннюю элегию, навеянную тем беглым эпизодом, которую посвятил Эле по ее просьбе. Валентина даже бровью не повела.

Сейчас она ни о чем не спрашивала, а он ничего не объяснял. Чутко уловив его настроение, она с ленивой грацией, в два приема спустила с себя светлые трусики, оставшись в просторном оранжевом халате, и села на диван напротив него. Бедра ее разъехались, раздвинув полы халата, и рука прикрыла клинышек жестковатых отчетливо черных волос. Медленными движениями пальцев она приблизилась к заветной точке и стала ласкать себя, не сводя с него глаз. Он принялся раздеваться, путаясь в рукавах рубашки, она продолжала мягко массировать самое основание опушенного разреза, не скрывая приступов наслаждения. Бархатков выпутался из рубашки, ловко опустил перед ней на колени и припал влажным шершавым языком к горячему разрезу, млея от легких судорог удовольствия. Валя, не прекращая своих движений, бесстыдно предложила всю себя, развернув малиновую плоть навстречу трепетавшему языку.

Очень быстро она достигла точки кипения и неожиданно целомудренно взорвалась, сдерживая себя изо всех сил, а затем восторженно и жадно опустошила разъярившегося Бархаткова. После обидного равнодушия жены

ее хищные и внимательные ласки были приятны вдвойне. Они лежали, прижавшись друг к другу животами и укрывшись оранжевым халатом. Бархаткову лениво думалось о том, что по части любовных импровизаций Валя, пожалуй, не уступит Эле. Мысль эта, почему-то, приятно согревала.

Потом они, деля халат на двоих, читали поэму. Валентина не сказала, нравится ей поэма или нет; она, глядя на него как на бога, привлекла его к себе и податливым, рабски покорным телом и благодарными стонами выразила все свое восхищение. Слишком ясно было, кого здесь считают гением и повелителем.

Вечером Бархатков как ни в чем ни бывало явился домой. Жена, ни о чем не спрашивая, накормила его вкусным ужином. Запеченная рыба была бесподобна. К его приходу явно готовились. Его, судя по всему, продолжали считать своим мужем. А он вот не знал, есть ли у него жена.

Гремя посудой у раковины и стоя к нему спиной, Эвелина сказала, смахивая прядь со лба:

- Да, чуть не забыла, передаю тебе просьбу Серова. Ты не мог бы посвятить свою поэму ему?

- Мою поэму? «Агорафобию»?

- Да, твою замечательную поэму.

- Этому напыщенному Дон Жуану? Этому черному человеку?

- Лучше сказать, этому издателю твоих произведений. И не такой уж он и черный, между нами говоря.

- Никогда в жизни.

- Хорошо. Я так ему и передам. Кстати, ты и сам можешь сказать ему об этом. Он сегодня ночует у Валентины. Возьми и позвони.

Бархатков поперхнулся горячим чаем и уставился в затылок жены. Она спокойно мыла посуду.

- Ты лжешь, - тихо сказал он.

- А ты позвони. Валентина, я думаю, тебе врать не станет. Она тебя слишком уважает. Ты ведь у нее оставил рукопись поэмы? Серов звонил от нее. Он в полном восторге, уже успел прочитать.

- Я ночь провел у Валентины, - сказал Бархатков.

- Я знаю, - ответила Эвелена, вытирая руки.

- Ну, и?

- Это я должна у тебя спросить: ну, и? Понравилось?

- Не хуже, чем с тобой.

- Серов говорит, что я лучше. У Валентины грудь слишком большая.

- Шлюха, - сказал Бархатков безо всякого выражения. – Ты просто шлюха.

- Ты имеешь в виду, что я продажная женщина? Вряд ли. Думаю, ты ошибаешься. Серов предлагал мне содержание, я отказалась.

- Почему, интересно, отказалась?

- Потому что я не шлюха. Я когда-то любила его, потом тебя. А сейчас, кажется, даже себя любить сил нет... Со вчерашнего дня. Ты сам толкнул меня к нему в постель, это ты развел всю эту грязь...

- Я ненавижу таких, как Серов.

- Он издал все твои книжки – только потому, что я была твоей невестой. Если не посвятишь ему поэму, твои гениальные строчки так и не увидят свет. Никогда.

- Ты хочешь сказать, что если бы не ты, если бы не твоя связь с Серовым, мои книги не были бы изданы?

- Можешь в этом не сомневаться.

- Но ведь ты же сама говорила, что ему нравились мои стихи!

- Да, нравились. Но он никогда бы их не издал. Этот человек пальцем не шевельнет из любви к поэзии. В каком-то смысле Федор и в самом деле черный. Миром правят деньги. Капитал. То есть грубая сила.

- Нет, - сказал Бархатков. – Миром правят не деньги.

- А что же?

Он хотел сказать «поэзия», имея в виду то, что про себя называл альянсом с «милой лирой». Но почему-то не произнес этого. Неожиданно для самого себя он сказал с подозрительной твердостью в голосе:

- Я посвящу свою поэму Есенину. Сергею Есенину.

Эвелина пожала плечом и сказала:

- Спокойной ночи.

Бархатков на некоторое время застыл в позе «голова опущена, руки, согнутые в локтях и запястьях, ломаными линиями безвольно скатились вниз», потом медленно поднялся со стула, подошел к закрытым дверям спальни и ногой распахнул дверь. Эвелина раздевалась, стоя спиной к нему. Он спросил:

- Зачем же ты вышла за меня замуж?

- Потому что я беременна. Хочешь со мной развестись – пожалуйста. Но только завтра. Сегодня я хочу спать. Мне необходимо несколько часов покоя. Это будут самые светлые часы нашего супружества.

Бархатков зачем-то бережно прикрыл дверь. Потом опять открыл ее и спросил, стараясь не выглядеть глупее, чем того требовала ситуация:

- От кого ты беременна?

- Не знаю. Мне все равно. Спокойной ночи.

- Спокойной ночи, - сказал Бархатков и плотно, до упора притянул к себе дверь светлого дерева, то ли отгораживаясь от безнадежно больной, то ли оберегая других от смертельной болезни, которой был инфицирован сам.

Не исключено, что ему хотелось отгородиться от самого себя.

5

Этим вечером полная луна была похожа на толстую тяжеловесную золотую монету небывалой чеканки, которую какой-то всемогущий чародей подвесил на краю темно-синего неба. Зачем? Чтобы привлечь внимание Бархаткова, чтобы подразнить его.

Радовало то, что его, как и Есенина, волновала луна. Осторожно, радостными иголочками покалывало и тревожило предчувствие того состояния, которое, возможно, снизойдет на него сегодня; возможно, уже сейчас. Тьфу, тьфу, тьфу (через левое плечо). Никто ему не хозяин, оно само

выбирает время и место. То, что именно сейчас, в эту дурацкую минуту, он, Бархатков, может оказаться в эпицентре ядерного поэтического пекла, словно служило подтверждением его вселенской правоты. Если его не обносят *этим*, если ему даруют *это* – значит, всё прощают, всё-всё. Эта ядерная печь все спишет, в ней все выгорит до хилой золы и обновится, не останется ни унижения, ни бессмысленной злобы к людишкам, ни корявой ярости на себя, ничего не останется. Только мирный светлый пепел. А под ним – чеканные письма, визитная карточка вашего кумира.

Накатывало молитвенное состояние, он страшился сделать хоть один неверный жест, боялся черной ассоциации, которая могла спугнуть *это*...

Но, кажется, приближался его звездный час. Станным образом беспредметные ненависть и раздражение, сгущенные в тучи, заиграли синим поэтическим свечением и стали переплавляться в нечто предшествующее гармонии. То ли звонкий гул, то ли глухой звон что-то уже предвещали; хаос уже не пугал; пробивающиеся змейки молний ласково жалили какую-то нежную плоть.

И вдруг – даже не ливень хлынул, а объял смысловой тайфун, сорвавшийся с чувственных небес, в котором Бархатков ориентировался необычайно цепко и смело. Он знал, что от него требуется в следующую секунду, что следует немедленно записать, а от чего – изящно увернуться; ложные сюжетцы и пустопорожние ассоциации роились рядом мохнатым сгустком, который помогал начищать, вылизывать до блеска плотные ряды строк, строф, колонн...

Тучи бледнели и бледнели, обессиленно истаивали, мощь и энергия стихий ослабевали с каждой минутой. Наконец, перо споткнулось о поставленную точку и замерло в ватных пальцах. Вдруг стало ясно, что поставлена окончательная точка. Все. Пепел. «Агорафобия» завершена.

Некоторое время Бархатков сидел в изнеможении, словно шаман, истративший на контакт с духами слишком много сил. Потом на него накатил приступ болезненной любви ко всем этим серым серовым, к своей жене, к рыжей Валентине с большой грудью.

Он вошел в спальню. Жена спала сном очень глубоким, которому способствуют только чистая совесть и чрезмерная усталость. Он поправил одеяло, хотя в этом не было никакой надобности, и решил лечь в другой комнате, чтобы не тревожить ее сон.

Внимание, проявленное к жене, растрогало Бархаткова до такой степени, что на глаза навернулись слезы. Он их не стеснялся. Он мог позволить себе многое из того, чего другие бы стеснялись или не понимали.

Что ж, в этот вечер, закончившийся поздней ночью, почти утром, случилось много необычного. Но ответы на многие вопросы были получены. Он – поэт, и тому есть веские доказательства. Эля – его жена. Серов повис обрывком грязной тучки где-то на периферии их светлой жизни. Пусть висит. Ах, да, чуть не забыл о ребенке... Ребенок, ребенок. Ребенок.

Эта мысль так и осталась пустой лакуной, вторглась в его богатый и тонкий мир полым клином, так и не ожила, не забродила ощущениями. Она

даже не испортила настроения, как неприятность совершенно абстрактная. А поэты не дружат с абстрактным. Так-то, други.

Вот на этой мысли Бархатков и отключился, улыбнувшись совершенно детской, кристально-эгоистической улыбкой. Он безмятежно забылся сном в мире, который существовал только для него.

Я и мир... Забавно.

6

В декабре вдруг повеяло весною. Выпавший накануне и взявшийся было плотной коркой снег быстро растаял, стало свежо и влажно. По небу из всех сил спешили куда-то, буквально летели в сладкие дали легкие светлые облака, в прорехах сияли ярко-голубые лоскуты вечности. По вечерам угрюмое городское небо было заляпано небрежными мазками все тех же растревоженных тучек, светлые стайки которых не знали отдыха ни днем ни ночью.

Дела шли неважно, но это не очень волновало Бархаткова с тех пор, как он проснулся автором «Агорафобии». Ему было чем оправдаться даже на самом страшном суде, хотя денег в этой жизни данное сногшибательное обстоятельство ему не прибавило.

Сначала Бархаткову казался абсолютно невероятным и нелепым нарушением каких-то фундаментальных законов бытия тот факт, что ничего вокруг не изменилось после того, как он познакомил с поэмой других людей, условно близких и безусловно неблизких. Реакция приятелей и недоброжелателей убеждала, что они видят перед собой что-то исключительное. Никто из тех, чье мнение хоть сколько-нибудь интересовало Сергея Сергеевича, не скрывал своего искреннего восхищения. Никто не сомневался, что поэма вот-вот выйдет, и тогда что-то сдвинется в этом нескладном мире (что именно думать не хотелось, это было мелочью в сравнении с тем, что он станет автором признанного шедевра). Бархатков был готов к славе, к тому, чтобы все разглядели, наконец, его подлинный масштаб.

Но поэма, которая говорила сама за себя, стараниями важных людей все не выходила и не выходила.

У нее начала складываться странная судьба. Со временем – это остро чувствовал Бархатков – вокруг «Агорафобии» стало сгущаться пространство, стал образовываться невидимый, но ощущаемый круг из того непроницаемого вещества, которым окольцованы мертвые зоны. Живую вещь, размноженную и разосланную всем, всем, всем, ограждали удушающим кольцом. Редакторы журналов отводили глаза, издатели не хотели обсуждать эту тему и невразумительно мычали.

Сначала это не очень волновало Бархаткова. Но напрасно потраченное время рождает отчаяние, отчаяние толкает к безумным поступкам, а безумные поступки приводят к одиночеству, которое ведет к еще большему одиночеству, потом к еще большему, а затем – к вечному. Неизвестно, кто первый опробовал прочность этой монолитной цепи, но ее неумолимая

кандальная нестигаемость и железный привкус родили в душе поэта новую волну отчаяния. Бархатков, у которого появились даже не барские, а королевские замашки (он и чувствовал себя принцем голубой крови, законным наследником пустующего поэтического престола), быстро перессорился со всеми, с гибельным удовольствием не прощая никому ни намека на, якобы, сомнительные достоинства его поэмы. «Вы все завидуєте мне», - нагло чеканил Бархатков, не повышая голоса, но и не отводя глаз.

В среде искушенной публики то и дело появлялись и обкатывались изумительно гнусные в своей тонкости и правдоподобности версии, которые не имели ничего общего с реальностью (это с нарастающим отчаянием и тяжелой обидой чувствовал Бархатков). Вдруг все разом заговорили о вторичности, о подражательной природе опуса, сводя все высокие достоинства поэмы к низкому искусству имитации. Причем – и это числили непростительным грехом, вызывающим особенное раздражение, – невозможно было понять, кому же конкретно подражает наш честлюбивый поэт. Тень есененщины – витает несомненно; морозные узоры серебряного века – бесспорно трогают искристым холодком. И еще что-то с претензией, отдающее французским бунтарством или британским скептицизмом. Короче, украден, скопирован сам дух (неважно, у кого; важно, что доподлинно установлено: украден), при всей самоуверенно бьющей в глаза новизне нет ничего своего. Обидно прилипла дьявольски ловко пущенная кем-то кличка Ксерокс (XEROX: фирменное название копировальных машин, на которых была размножена поэма). Иногда – Рекс, то ли самозванный король, то ли приبلудный пес. Ксерокс: вечно второй, никогда не первый, не способный быть первым.

Потом откуда-то выползли и мгновенно распространились слухи о том, что крупный жанр – не подвластен перышку Сергея Сергеевича, талант которого обреченно замыкается в легких безделушках малоформатной лирики. Элегии – это еще куда ни шло. Увы, добрейший Сергей Сергеевич, выше головы не прыгнешь, голубчик. Вы призваны расписывать шкатулки, может быть; большие полотна для широких натур, да-с...

И потом... Нельзя быть столь вызывающе традиционным, уважаемый Ксерокс, так дерзко работать с метафорой, *volens polens* равняя себя с Владимиром Владимировичем Маяковским и Пастернаком Борисом Леонидовичем (ранним). Это, знаете, отдает чем-то дремуче-пионерским (в худшем смысле этого хорошего слова, затасканного большевиками). Сегодня так никто не пишет. Сегодня пишут, знаете, по-другому. Надо почувствовать этот дух современности, энергичную меланхолию наших ритмов. «И украсть этот ваш дух?» - интересовался Бархатков. «Он ничей», - возражали доброжелатели сердитому Рексу.

Дошло до того, что хвалить поэму среди приличной публики стало дурным вкусом. Хорошим вкусом было принять выражать сочувствие в форме ничемных комплиментов, уязвляющих самолюбие бедного автора и демонстрирующих широту и благорасположение людей, равнодушных к талантливому поэту, сделавшему неверный и – роковой, чего греха таить, –

шаг. Сама популярность Бархаткова, больше теперь известного под кличкой Ксерокс, приобрела сомнительные свойства. Его жалели: вот почему спешили опустить глаза. Не завидовали, а жалели. Чему завидовать, господа?

Получалось так, что лучше бы и не писать эту злосчастную поэму, лучше бы ходить до поры до времени в подающих надежды. Этот статус устраивал всех. Сейчас же, получилось, он сам развеял надежды, которые так возлагали на него другие почитатели его, гм-гм, заметного таланта. Профессиональное мнение безжалостно оттирало Бархаткова на периферию поэтических событий, отказывая ему в оригинальном таланте и редкой по сегодняшним меркам глубине и искренности переживаний. Ксерокс...

Кроме того, Эвелина действительно оказалась беременна, и отсутствие денег перестало ощущаться как поэтическая нелепица. Надо было что-то делать, предпринимать, на что-то решаться. Надо было влезать в привычную пигмейскую шкуру и добывать деньги унылой журналистикой, числясь у знатоков автором нескольких гениальных строчек.

Он не был готов к этому, ему казалось, что его предали, как-то все сразу, как сговорившись. До поры до времени все это были мнения, воздух и эфир (не написано пером, не надо и махать топором) – до той поры и до того времени, когда одна за другой вышли рецензии разгромного характера. И не на поэму, что обиднее всего, а на книги, у которых, казалось бы, уже была крепкая, незыблемая репутация. Тот самый редактор, который мычал вчера, преподобный Плескачев, сегодня удивил дважды. Г-н Плескачев представлял собою мелкую тварь, рьяно озабоченную моральными устоями общества; его можно было понять: семью развалил, с детьми не ладил, оставались устои общества, вокруг которых он увивался, столбы которых подпирали своей сутулой спиной денно и нощно. Кроме черных рецензий на поэтические сборники Бархаткова (глумливо подписанные Ф. Чернов; с-собаки, которые умеют только талантливо кусаться...), в журнале были помещены стихи – кого бы вы думали? – самого Серова. Дважды удивил, преподобие.

Неподражаемо ядовитый стиль Ф. Чернова был страшно узнаваем. Статьи читались как продолжение прежних, хвалебных рецензий. Этого не могло быть. Неужели рыжая сучка наследила? В этих статьях суммировались и обыгрывались все те слухи, которые бродили по городу по поводу его не изданной поэмы. Теперь же само появление поэмы было мастерски подготовлено...

Это кончилось скандалом, то есть тем, чем и должно было кончиться рано или поздно. Бархатков запустил журналом в редактора, назвав его при этом «продажной тварью» и, почему-то, «лысой мордой». Тот нисколько не обиделся (наверно, привык к скандалам), напротив, сочувственно посоветовал обратиться к «нашему уважаемому автору», Валентине, которая глубже вникла в «строй ваших стихов» и изменила свое мнение о них. Стихи неплохие, но не настолько хорошие, чтобы быть неприкасаемыми.

- А паршивые стихи Серова, лизоблюд? – осведомился Бархатков.

- Это не Бог весть что, не Бог весть что, конечно, - заблеял Плескачев, - но уровень приличный и приемлемый для нашего журнала. К тому же –

общественно-гражданственной направленности. Тема чести и долга всегда в цене. Это надо поощрять.

- «Бэ-тэ-эр гор-рел-л, офицер-р рыдал-л» – это, по вашему, стихи?

- По-моему, надо с уважением относиться к человеку, знающему войну не понаслышке.

- Тьфу, - ответил на это Бархатков, никогда не служивший в армии.

Все это убедило поэта, что порядок вещей, заведенный раз и навсегда, был неумолим. Не поменялось ничего, ничто не было новым под равнодушной луной, под этой нежно-желтой долькой лимона на нежно-голубом небе. Не хватало только Мальвины и Буратино для полного счастья.

В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей.

Нечего добавить.

7

Вечером он позвонил Валентине. Та и не думала отнекиваться. Напротив, она выложила ему всю правду, даже ту, которой он и не хотел бы знать никогда. Правда, которую мы не хотим знать, делает нас другими. А другими становиться не хочется: хлопотно и обременительно.

- То, что ты прочитал, – это чепуха. Видел бы ты, какую рецензию я написала на твою поэму!

- Какая же ты сучка, Валюша...

- Нет, ты не понял. Это гениальная рецензия на гениальную поэму.

- Я думал, хоть ты ценишь меня...

- Да я обожаю тебя! Я считаю, что ты написал великую вещь. Тебе просто нет равных, зайка.

- Поэтому ты размазала меня по стенке?

- Я вознесла тебя до небес. Я не писала ничего лучше.

- погоди. Ты хочешь сказать, что написала положительную рецензию на мою поэму?

- Что значит положительную? В таких случаях говорят – восторженную. Я не стеснялась в выражениях. Приезжай ко мне, считаешь...

- А как же Серов?

- А что Серов? У него сейчас другая пассия, он у Войны отбил подругу. Но платит мне Иванович исправно и щедро, за что его и люблю.

- Рецензии заказал тебе Серов?

- Конечно. И отрицательные, и положительные. Все заплачено. Кстати, иллюстрации к поэме сделал тоже гений, правда, пьющий гений.

- Так ведь поэма же не вышла, черт побери!

- Выйдет, если ты поставишь посвящение Серову, меценату широкой души. Кстати, он не самый плохой человек из тех, кого я знаю. Унизит, а потом поможет. Отмоет. Другие только унижают. И втаптывают в грязь.

- Валя, как называется то, что ты делаешь?

- Это называется «убивать поэзию» – и я не знаю занятия более поэтического. Я увлечена этим всерьез. Мы с тобой играем в одну игру.

- Но я не играю ни в какую игру!

- Играешь. Просто не отдаешь себе в этом отчет. Твоя поэма не появилась бы, если бы не было таких людей, как я. Мы с тобой и есть одно целое. Да, плюс еще Иванович. Не ломай комедию: посвяти свою поэму вместо Есенина – Серову. Есенину все равно, а Серову – нет. Завтра же ты будешь знаменит, лично я сделаю для этого все, что в моих силах. Я в этом кровно заинтересована: ты же будешь меня кормить всю жизнь. И все эти уроды, которые повторяли мои слова, завтра не посмеют и дышать в твоём присутствии. Серов обещал, что поэма будет издана широко, с размахом. На мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями: Есенину и не снилось... О поэме заговорят и в Москве, и в Питере. Ее, не сомневаюсь, переведут на другие языки...

- Так это ты распускала сплетни о моей поэме?

- Конечно, я. Ты думаешь, они способны на это? Они же завистливые бездари. Зависть – их профессия. А моя профессия – игра. Так ты приедешь?

- Зачем Серову мое посвящение?

- У него своя игра, у богатых свои причуды. Кстати, лучше бы вы помирились под Рождество: это позволило бы всем сохранить лицо. Федор был бы тронут.

- Какое лицо?

- Человеческое. Так ты приедешь?

Бархатков, как хам, повесил трубку, но сделал это от избытка совсем иных, не хамских, чувств.

Под сердцем ворочался черный комок.

8

Это была не рецензия; это была воплотившаяся мечта. Валентина сказала, нет, красиво выболтала все, о чем только грезил, и о чем даже боялся думать Бархатков.

Это была не рецензия: это был шанс. Другого такого могло не представиться никогда.

Не раздумывая ни секунды, Бархатков направил рукопись Валентине с посвящением: «Федору Ивановичу Серову, меценату с широкой душой».

Уже под Рождество прилавки книжных магазинов были аккуратно завалены великолепно изданной поэмой с иллюстрациями и оформлением, которые сводили с ума издававших виды знатоков. А еще через день вышел последний в году номер журнала, украшением которого была рецензия Валентины.

Сам Бархатков не мог сказать, нравилось ему оформление книги или нет. Он испытывал чувства совершенно другого рода. Во-первых, твердая глянцевая обложка нежно-голубого оттенка, украшенная нежно-желтой долькой лимона вверху и черной кляксой скрюченной человеческой фигуры внизу, отражала практически его, Бархаткова, представление о том, как должна выглядеть эта книга. Именно так, как она и выглядела, ни убавить, ни прибавить. Он даже не ощутил прелести новизны: настолько то, что предстало его взору, совпало с его тайным внутренним видением. Во-вторых,

он испытывал еще одно чувство, которое (он убежден был в этом!) не угадала бы ни Валентина, ни этот пьющий гений (хотя этот мог бы, черт их разберет...). Рождественские огни, глянцевого отблеск книжной обложки, всеобщее ликование – и странное ощущение, что палачи в кожаных латах с руками отрывают у тебя милую лиру, просто с хрустом выворачивают слабеющие запястья, любезно пригласив тебя в сырые каменные застенки, украшенные живыми гирляндами иллюминаций. Все происходит с милыми улыбками на лицах. Ничего не поменялось под луной. Однако Сергей Сергеевич чувствовал, что «на клеточном уровне» произошли необратимые изменения. Тот плодородный воздух, дух, из которого родилась его поэма, уже выветрился из атмосферы; а в этом новом, праздничном, лакированном эфире, пронизанном ароматами синтезированных освежителей, не могло родиться ничего поэтического – поэтического в том смысле, как представлялось это Бархаткову. Это была искусственная атмосфера, рождающая условные чувства и фальшивые жесты. Он совершил роковую сделку – и не знал, прогадал или нет. Он не испытывал никаких сожалений по поводу содеянного, совершенно никаких; более того, даже совесть его, казалось, была чиста. Возможно, правда, что «чистым», то есть пустым, было то место, где должна была болеть совесть. Возможно. Однако где-то в недрах пробивалось живое ощущение, что удалось спасти шедевр.

Что ж, это была реальная, подлинная цена за подлинное сокровище. По-другому в жизни не бывает, просто не бывает. Чувство исполненного долга в любой момент было к его услугам.

Это был праздник души – который, вместе с тем, смахивал на какую-то погребальную церемонию. Он не хотел, да и не мог врать себе: ценой этой милой сделки была неприкасаемая милая лира. Тут не надо было много слов, и слова бы ничего не изменили.

Бархатков находился в мучительном состоянии прозрения: он остро чувствовал свою вырванность, выдранность из живой ткани жизни и ощущал, что чувства эти непригодны уже в качестве материала поэзии. В этом материале поэзия не живет. Собственно, поэтизировать было нечего. Это абстрактное утверждение, от которого он получил удовольствие, просто доконало его. Он словно присутствовал на собственных похоронах: много уважения, почета, но никто не хочет замечать, что тебя уже нет.

Только один покойник догадывается об этом.

9

Настали серые дни, которые, если верить календарю, неумолимо приближали светлый праздник Рождества. Изо дня в день – затянутое непроницаемой серой пленкой небо, отсутствие солнца и ярких красок.

Сырой грязноватый туман, напоминающий леденящее и зловонное дыхание чудища, заполнил щели между домами. Казалось, что ты не выходишь на улицу из подъезда, а вползаешь в серый бездонный мешок, в западню, кишашую такими же неразумными зверьками, как ты, незрячими и несчастными.

В эти же рождественские дни Бархаткова настигла еще одна сомнительная радость. У Эвелины должна была родиться дочь: так сказали врачи, осмотревшие плод на экране компьютера.

А Валентина ликовала. Чужой успех просто опьянил ее. Она радовалась настолько бескорыстно и искренне, что хотелось ее за это уважать. А вот себя уважать получалось не очень.

Она буквально затащила вяло сопротивлявшегося Бархаткова к себе «на вечеринку» под предлогом более чем актуальным: надо было отметить выход поэмы. Она подлизывалась навязчиво и бессовестно и бесцеремонно, словно нашкодивший котенок или ребенок; она вела себя обезоруживающе естественно, так что злиться на нее было глупо.

Бархатков увидел то, что в глубине души и ожидал увидеть: роскошно сервированный стол, утыканный бутылками грузинского вина, и во главе стола грузного господина Серова, символически изобразившего неумеренное радушие. Он поднялся навстречу и протянул правую руку – тот самый чугунный рычаг, который нокаутировал беззащитного поэта. В левой босс держал поэму. Бархатков встретил огромную ладонь слабым рукопожатием – также символическим.

Опьянел Бархатков быстро. Он смотрел на оживленную Валентину и глупо улыбался. Перед глазами рябили оранжевые гроздья икры, свернувшимися бусами сиявшие на маленьких бутербродиках, сочный балычок, отливавший слабыми радужными разводами, уплывал куда-то наискось: его никак не удавалось подцепить дурацкой вилкой, холодно сверкавшей никелем. Язык, мысли и тело плохо слушались его, но странно гармонировали с этим сияющим миром.

Все его ощущения были двойственными: к этому он уже привык. С того момента, как он поставил над поэмой посвящение Серову своим сопротивляющимся стилем, чувства, простые человеческие чувства, которыми он так дорожил, стали накладываться на вязкий пепельный фон и как-то гасли, блекли, теряли здоровый естественный блеск. Это были дохленькие, придушенные эмоции, которые и жили недолго, и бесследно истаивали. В таком тусклом эмоциональном состоянии Бархатков себя не помнил никогда. Его чувства, питавшие поэзию, всегда были чистыми и яркими. Он всегда удивлялся. Раньше всегда что-то происходило, а сейчас перестало происходить.

В этот вечер в мире чувств творилось что-то новенькое: на фоне привычного безволия в нем копилась твердая решимость непонятной природы, оседая где-то на фибрах души нерастворимым конденсатом. Что-то происходило в нем, и он уже не управлял этим процессом, развивавшимся по своей воле. Причем, началось все задолго до этого вечера, он отметил это на обрывках сознания.

- Мы любим одних и тех же женщин, - зачем-то сказал он, не в силах сфокусировать свой взгляд на лице Серова. Перед ним сизым перламутром ехидно переливалось пятно, к которому он вежливо обращался.

- Яркие женщины любят ярких и удачливых людей, - миролюбиво ответил тот. – Верно, Валя?

Она поцеловала Серова, а затем подошла к Бархаткову и села ему на колени. Запах ее духов также причудливо гармонировал с растворенным в воздухе блеском.

- Я хочу, чтобы мы все выпили на брудершафт, - сказала она, поглаживая поэта по волосам.

- Я не против, - сказал Бархатков и неуверенно протянул свой бокал в сверкающее пространство, где он жестко наткнулся на чей-то дружественный хрусталь. Раздался звон, отчасти похожий на вопль или скрежет.

- Мир навсегда? – спросил Серов.

- Конечно. Тебе нравится Валькина грудь?

- Нет. Мне нравится грудь Эвелины. Кстати, как здоровье будущей мамы?

- Превосходно. Она родит девочку, и у нее увеличится грудь. По законам природы. Это будет наш ребенок, мы будем отцами. Против всех законов природы.

- Что ж... Только я буду крестным отцом, если ты не против.

- Я не против, падре. В смысле, отче. Отче наш.

- Мы отлично поладим.

- Конечно. Давай поцелуем Валькину грудь?

- Мне ее целовать рано, а тебе, кажется, поздно.

- Никогда не поздно быть мужчиной, а? Давай по очереди. Мы отлично поладим.

Бархатков сделал то, чего от него никак не ожидали: он решительно и ловко расстегнул Валентине платье и в два счета стащил бюстгалтер. Поставив ее в неловкое положение, он явно спас положение в целом: приличной даме не дал шанса на сопротивление (которое, по идее, следовало бы оказать), взяв всю вину на себя, и в то же время создал такую ситуацию, о которой, возможно, смутно грезил все, но сотворить которую по силам было только пьяному поэту. Ведь поэту позволено все.

Сам же Бархатков, казалось, не просто куражился, а старательно сводил счеты с принципиальным оппонентом. Начал он с влажного поцелуя, а затем сзади обхватил два белых подвижных шара, не теряющих форму и нацеленных на Серова, и стал их массировать. При этом поведение поэта можно было истолковать и как предложение джентльмена, пусть и несколько неуклюжее, оставить влюбленных одних, почувствовать себя лишним.

Ничуть не бывало: Валентина не сопротивлялась, улыбаясь, как дурочка, а Серов смотрел не отрываясь, как дуэлянт на брошенную перчатку. Бархатков чувствовал себя скотиной, у которой выросли сзади одновременно черный хрящеватый хвост и мясистые белые крылья – те самые, которые они с Эвелиной лапали у ангела. Он не просто овладевал Валькой, а восстанавливал какую-то высшую справедливость на этой грешной земле. Бесстыдство определенно шло его партнерше, оно делало ее по-своему привлекательной и обворожительной: глаза с поволокой, на лице гримасы, глухие стоны, перемежающиеся со вскриками. Она явно ушла в себя,

бродила ощущениями по собственному телу – была увлеченно занята делом: она отдавалась.

Бархатков был великолепен. Не мужлан, не грубый мачо, а чуткий самец исполнял затейливый брачный танец. Он был молниеносен и суров в самые ответственные моменты, и роскошно медлителен там, где это было необходимо. Валька была уже на грани умопомрачения. Они повалились на пол, душа друг друга в объятиях, и отбили такую огненную джигу, что долго еще не могли придти в себя.

Они похихикивали и укрادкой благодарили друг друга, стесняясь уже присутствия Серова, но тут магнат предстал во всем блеске. Сначала он отстранил, собственно, сдвинул в сторону Бархаткова, как вязанку дров, потом грубо развернул отяжелевшую и обмякшую Вальку, поставил ее на колени и стал жестоко, с первобытной страстью вершить свое дело верховного самца. Он проделывал это с угрожающей и неуклюжей грацией, досиная багровея лицом и издавая утробные ухающие звуки. Валька оцепенела и покорно, будто приструненная кобылка, позволяла покрывать себя разъяренному матерому буйволу.

Весь этот непристойный карнавал больше походил на показательную казнь или месть, чем на торжество похоти.

Когда массивный Серов разрядился, мгновенно бледнея и заставляя Вальку прикинуться к своему паху, чтобы всем лицом принять его салюты, сопровождаемые конвульсиями, Бархатков отлетел в угол и захлебнулся в собственной блевотине. Его вывернуло так, что, казалось, придется кишки собирать с паркета.

В глазах потемнело. И сквозь темный фон проступало Валькино кроткое лицо, чем-то напоминающее лик запуганной мадонны.

Загризок мадонны сжимала длань мецената.

10

- Зачем тебе мое посвящение? А? Зачем? – спросил Бархатков, отбрасывая в сторону мокрое полотенце.

- А ты догадайся, Ксерокс, - сузил взгляд Серов, жадно отхлебывая свое грузинское.

- У меня не хватает воображения.

- Хватает. Ты его просто боишься.

- Вряд ли я его боюсь. Я сейчас ничего не боюсь.

Серов окончательно спрятал взгляд в себя и отвел свои суженные бойницы в сторону. Он действительно напоминал сейчас компактный танк.

- Я сейчас даже тебя могу убить, - безо всякого выражения проговорил Бархатков. И помолчал. – Зачем тебе мое посвящение?

- Чтобы доказать себе, что поэзия – это дерьмо. Понял?

- Это я дерьмо. А поэзия... Что ты о ней знаешь? Ты знаешь, что такое милая лира?

- Я знаю, что деньги сильнее всего на свете. А поэзия ничего не стоит.

- Да, деньги – это сильная штука. Но они не могут купить поэзию или создать ее. Перед ней они теряют свою ценность и превращаются в пустые бумажки. В разрисованные фантики. Есть деньги, а есть поэзия: в этом правда жизни.

Казалось, что Бархатков тихим голосом говорит все это себе. Он тщательно выбирал слова и внимательно прислушивался к ним.

- Деньги могут все.

Бархаткову показалось, что слова вылетели из узких щелей, спрятанных под нависшим лбом. Оттуда же последовал огненный залп:

- Они могут поставить раком и тебя, и эту шлюху. Всех вас вместе взятых. Они могут купить у тебя милую жену вместе с потрохами. Деньги даже ребенка тебе сделали...

Копившаяся в Бархаткове решимость вдруг затвердела, обрела весомость и оформилась в тихую ярость, которая пустила в ход когти хитрости. На сей раз он не бросился на этого племенного элитного бугая, а спокойно, даже как бы отстраненно, нацедил себе бокал до краев, делая вид, что оставляет поле боя за свирепым противником. Но когда Серов отвел тяжелый взгляд в сторону, Бархатков мягким выпадом (все у него сегодня получалось ладно и без лишних движений) ухватил бутылку за горлышко и с оттяжкой резко рубанул противника по голове. Раздался звук лопнувшей лампочки – показалось, что голова Серова раскололась на части; но это всего лишь вдребезги разлетелась бутылка. Такое начало не испугало Бархаткова, а заставило метнуться за следующей бутылкой. Не успел Серов опомниться, как Бархатков уже тыкал в его ненавистную морду крепко зажатой в руке «розочкой»: горлышком с остатками бутылочного стекла (рваные края, оскалившиеся клыками), напоминавшими цветок. Восхитительное бешенство придавало сил, а вид и запах крови вселяли уверенность в своей правоте.

Опомнился Бархатков уже на улице. В ушах все еще стоял сверлящий пространство крик Валентины, с разрезанной руки щекотливой струйкой стекала кровь. В теле стала обнаруживаться пустота, и шаги сами собой замедлялись.

Он брел в вечернем тумане и опять чувствовал себя затравленным зверьком. Даже мусорные урны своими разверзшимися ртами, как у гигантских неопятных галчат, пытались внушить ужас печальному страннику, шагавшему в неизвестном направлении, которое привело его, в конце концов, домой.

Эх, мир, мир, любишь ты покусаться. И ни за что ни про что, и за дело, и просто так, от избытка нежных чувств. А усталое сердце все расплосковано рубцами укусов, словно мускулистый торс обреченного гладиатора. Сражаемся. А за что?

Он поднял голову, словно отыскивая ответ на свой странный, бессмысленный, в миллиардный раз заданный небу вопрос. Туман рассеялся, разогнанный холодной полной луной, но беспощадная ясность, возникающая под лунным светом, не принесла успокоения. Луна хохотала, как клоун, конечно. Нет, не так.

Зачем же нам говорить чужими словами? И у нас есть еще порох в пороховницах. Порох в пороховницах хранится и хранится. Пока не отсыреет. Иль не загорится.

Луна... Да у этой раскормленной луны – масляно-желтая сытая морда, где в толстых ехидных складочках попрятались коричневые точки стволов-глазок и хвостик прикушенной улыбочки. Жиром заплывшая азиатская рожа луны нависла безжалостной варварской угрозой. Так и хотелось отыскать взглядом спрятанную, заведенную назад толстую руку, которая вот-вот вырвет из-за пояса ятаган, похожий на серп месяца, и перережет тебе глотку. Как я сейчас Серову.

Бежать, бежать! Бежать? А куда ты убежишь от всевидящих, всепроникающих вечных очей луны, у которой со временем появились замашки угрюмого, склонного к патологической жестокости надзирателя? Укрыться от вечности – это еще никому не удавалось.

А ведь еще вчера мне хотелось сделать из круглой луны расписной лик веселой дуры-матрешки. Повязать ее платком узорчатым и пуститься в пляс. Как-то быстро прошла молодость. Расточилась, как невесомый лунный свет. Какой уж тут клоун... Это все беззаботная эпоха символизма.

И вдруг, словно из материализовавшегося лунного света, заструились, потекли стихи – полновесным, упругим, звенящим ручьем. Он остановился, схватил себя окровавленной рукой за карман – пусто. Ни блокнота, ни ручки. Он перестал их носить с собой с тех пор, как посвятил свою поэму Серову. Он просто забыл про них. Он не готов был к тому, что жизнь продолжается. И вот его настигла месть преданной лиры – изобилием и благодатью. А строчки текли и текли, не задерживаясь, освобождая мысленное пространство для других прекрасных строчек. Они уплывали ввысь, соскальзывали со свитка и превращались в перламутровый туман, в котором проскакивали золотистые искры. Строчки переливались в воздухе, рассыпаясь буквами кириллицы в сверкающий прах.

Прохожие с удивлением смотрели на молодого еще человека, стоящего в одном костюме на морозце, по лицу которого текли слезы, оставляя поблескивающие серебристые потеки, язвительно подчеркнутые равнодушным лунным светом.

Взволнованный, с молодецки звеневшей в нем волевой сталью, Бархатков вернулся домой. Решение вызрело и окрепло, и теперь он внимательно выслушивал собственный приговор. Минуту назад он полон был поэтическим мироощущением, а сейчас в нем убийственно пульсировала четкая мысль. Он вдруг внятно, с предельной искренностью, проговорил слова, наполненные гибельным смыслом, словно записывая в дневник то, что принято скрывать ото всех.

Он просто понял, что сам превратил свою жизнь в поэтическую ложь.

И вдруг ясная мысль, секунду назад бывшая просто мыслью, стала наполняться поэтическими токами, обрастать плотью, кривляться какими-то скорбными рожами – наконец, оторвалась от него и с восторгом начала свою, отдельную жизнь странного существа (Бархатков уже где-то видел его, не во

сне ли?). Мысль в поэму не годилась, а это плюгавое существо так и просилось в ловушку, сколоченную из ритмов, рифм, из звуков сладких и молитв. В поэте поднялось странное желание: ему до зуда захотелось отомстить себе за то, что стал поэтом, а им всем – за то, что они людоеды, недостойные звуков милой лиры.

Не рассуждая больше, а цепляясь за мелькнувшее поэтическое озарение, он трясущимися не столько от волнения, сколько от спешки, пальцами соорудил петлю из бельевого шнура, больше похожего на плотный тросик. Шнур этот «из сверхпрочных синтетических волокон» был куплен предусмотрительным поэтом по случаю в магазине продовольственных товаров с целью весьма прозаической: сушить пеленки для дочери. И вот теперь он неожиданно пригодился.

Петля скрутилась быстро и ловко, вновь доставив ощущение мышечной радости. Сегодня получалось все.

Люстру он сорвал с крюка и бросил сверкающий хрусталем хлам в угол. Узел славно лег на крюк с первой попытки.

Вот она, поэтическая дурь, от которой его бил озноб. Он знал, что не играет с собой и не приглашает судьбу любоваться на муки и страдания обиженного пророка. Это был акт жестокой мести. Себе. Ей. Им. Всем. Это было подлинно, это пахло жизнью и смертью. Это была плата за то, что удалось стать поэтом.

Петлю на шее он ощутил как заветную тяжесть чемпионской медали – и как шершавое прикосновение холодной стали ятагана. Что там впереди?

Он приготовился увидеть тьму.

И увидел ее.

Но прежде Гугнин испытал еще одно ощущение, порадовавшее его своей подлинностью. Все существо его дико вздыбилось, напряглось каждым мускулом, каждой клеточкой, казалось, через мгновение многожилый тросик разлетится в лоскуты – а мгновение спустя все ткани телесной оболочки фатально одрябли и скукожились. В глубине и по краям души, повторяя судороги тела, заметалась паника. По ногам побежала теплая жижа. «Говно», - подумалось ему. Показалось, что в эту мысль закралась грустная ирония.

Но встретить ее улыбкой он уже не успел.

11

Его спас Серов, который пришел, чтобы его убить. Магнат успел тупым кухонным ножом срезать натянутую, как тетиву, пеструю веревку. Тело Бархаткова безвольным кулем шмякнулось на пол. Пульс еще прощупывался. Окровавленный Серов вызвал скорую.

- Вашему поэту повезло, - безучастно сообщил врач, лаская свои жесткие смоляные усы. – Шейные позвонки уцелели. Пил?

- Ладно, давай, делай свое дело, - приказал Серов, сунув ему зеленую купюру.

- Жить будет, - сказал врач мертвым голосом, двумя пальцами осторожно принимая измазанные кровью деньги. – Вас бы тоже надо осмотреть. Швы наложить не мешало бы. Вы что, вены себе вскрывали? Или вас кто-нибудь покусал? Уж не сектанты ли вы какие-нибудь?

- Мы с ним в разных сектах состоим.

- Понятно, - сказал врач. – У вас, это, похмелиться не найдется?

- Ты обнаглел, Гиппократ, - изумился Серов. – Мы из непьющих сект.

- Чем же от вас так несет? Святым духом?

- Поторопись, Гиппократ.

- Ну, что ж, сначала будем спасать больного. А потом себя. Эх, жизнь...

- Тоже, наверно, стихи пишешь?

- Пишу.

- Как-нибудь потом дашь почитать. А вообще-то советую бросить это дело. Поторопись.

Очнулся Бархатков в белоснежной палате. Свет резал глаза. Плотный накрахмаленный белый халат, появившийся перед ним, хотелось потрогать пальцами и ощутить его свежесть.

- С Рождеством вас, - сказал врач, от которого пахло водкой.

- Спасибо, - сказал Бархатков и лицо его растянулось медленной умильной улыбкой. На глаза навернулись слезы.

- Гм-гм, - занервничал врач. – Поправляйтесь. Вы ведь поэт?

В глазах Бархаткова стояло детское непонимание, смешанное со страхом.

- Вы стихи пишете?

Доктор изображал уверенного и чуткого Санта-Клауса. На лицо больного опять вернулась улыбка, которая так не понравилась доктору.

- Поправляйтесь, - сказал он и стал приглаживать свои отливающие траурным шелком усы. – Гм-гм.

12

Из тьмы, поглотившей его, Бархатков вернулся в мир, сверкающий уже весенним солнцем, другим человеком.

Прежний эгоизм его бесследно исчез, и Эвелина никак не могла привыкнуть к его неутомимому вниманию. Она с тревогой смотрела на него и все ждала, когда глаза его загорятся *тем* светом; она боялась хищного свечения темных зрачков и почему-то с надеждой ждала этого.

Но Бархатков стал другим, он стал домашним и ручным. Однажды она застала его, перебирающего старые блокноты. Он покраснел и спрятал их в ящик стола. А потом долго сидел и смотрел на настольную лампу.

Он угадывал любой ее каприз, любое тайное желание, и эта потрясающая способность к перевоплощению, это открывшееся умение смотреть на мир ее глазами, опять же, пугали Эвелину. Теперь он не говорил – он делал. В вазе не переводились свежие цветы, чаще других он покупал полуоткрывшиеся белые розы. В доме появилась детская коляска именно той модели и той раскраски, о которых мечтала Эля; комплекты детского белья были закуплены своевременно и в большом ассортименте. Казалось, Сереже

доставляло удовольствие перебирать мягкие фланелевые костюмчики, тонкие распашонки, кружевные чепчики. Он любил касаться вещей, любил подолгу смотреть из окна на улицу и, казалось, любовался самыми обычными проявлениями жизни. Мальчишка катается на самокате – он смотрит и улыбается. Две пенсионерки разговаривают – он не отрываясь смотрит на них, словно поглощенный их разговором. Текущие навстречу друг другу людские потоки, сливающиеся в единую копошащуюся толпу: это зрелище буквально завораживало его.

Стоило ему выйти на улицу и ощутить прикосновение солнца на своем лице, как с лица уже не сходила улыбка.

Скоро, к Пасхе, должна была появиться на свет их дочка, которую Эвелина хотела назвать Викторией. Она уже представляла как Сережа будет радоваться крохе, ее складочкам на ножках, круглым глазенкам. Такой Сережа радовал ее, и все было бы хорошо, если бы не тревога, которая заставляла ее просыпаться среди ночи и смотреть на спящего Сережу, который и во сне продолжал улыбаться. А ей хотелось плакать в этот момент. Да, именно улыбка тревожила ее, улыбка в сочетании с выражением глаз. Не скажешь, что в этом было что-то нездоровое; было что-то не от мира сего. Когда он был поэтом, он был именно от мира сего, а сейчас – что-то не то.

Как бы то ни было, все в жизни налаживалось и шло к лучшему. Плескачев взял Сережу к себе в журнал заведовать отделом поэзии. Невероятно, но это так. Наверное, Серов с Валентиной убедили. Еще невероятнее, что Сережа оказался замечательным редактором: он внимательно относился к чужим рукописям и находил именно те строчки, которые необходимы были и автору, и журналу, и читателям. Просто поразительно.

Словом, человека как подменили. Но кто знает, что на этом свете хорошо, а что – плохо? Нам иногда кажется, что поэты – это кроткие существа, белые и пушистые; однако пример с Бархатковым доказывает обратное, не так ли? Да и что он доказывает? И доказывает ли вообще? Поэты – слуги жизни, а жизнь – штука многомерная. Да, да...

Казалось, со всем можно было бы примириться и все было бы хорошо, если бы не ажиотаж, который не прекращался вокруг его «Агорафобии». Поэму стали переводить, и переводы, судя по всему, оказались блестящими. Слава автора «Агорафобии» крепла, жила отдельно от Сережи – и пугала его, сгоняя с лица слабую улыбку. Приезжали люди из Москвы и брали интервью. Приезжали какие-то бородачи из Голландии и снимали о нем фильм. Бархаткова приглашали на какие-то фестивали, присуждали какие-то премии, предлагали подписывать контракты.

Все было хорошо. Но что-то было плохо. Хотелось верить в лучшее...

Девочка родилась крепкой и здоровой. Сережа забыл про «Агорафобию» и растворился в домашних хлопотах. На него приятно было смотреть, Эвелина просто любовалась им.

Через месяц после рождения дочери их пришел поздравлять Серов с огромным букетом в руках. Сережа встретил его с улыбкой и обнял как

дорогого гостя. Федор Иванович поцеловал молодой прелестной маме руку, а потом, на кухне (Сережа, как всегда, остался гулить с маленькой), похозяйски распахнул на ней халат, чтобы полюбоваться набухшей грудью. Эвелина резко убрала его руку и решительно покачала головой. Она никогда больше не изменит Сереже. Никогда.

- Ты уверена, что это его дочь? – спросил Серов. – Кажется, она чем-то похожа на меня.

- Занимайся своими детьми, Федор. Сколько их у тебя?

- Не считал. Я хочу помочь. Я предлагаю помощь, о которой раньше ты сама просила. Уже забыла?

- Спасибо. Не надо.

- Если что – обращайся. Как твой поэт? Он теперь знаменитость. А строил из себя недотрогу. Мистер неподкупность и гениальность... Если бы не я, никто бы о нем и не знал.

Похудевший Серов тоже изменился. Он как-то потерял былую уверенность, и дела его пошатнулись. А может, сначала пошатнулись дела, и вследствие этого он потерял былую уверенность. И шарм. Он стал несколько суетлив.

К тому же он утратил великодушие, обратную сторону силы.

13

Как-то апрельским вечером Эвелина сидела в комнате с плотно задернутыми шторами и прислушивалась к ровному дыханию спящей дочери. Шторы были задернуты потому, что Сережа странно реагировал на свет полной луны: он впадал в непосредственную зависимость от него, которая пугала не столько его, сколько Эвелину. Он уходил в себя и переставал улыбаться.

В этот вечер Бархатков с тихо сияющими глазами подошел к жене и сказал шепотом:

- Ко мне вернулись те стихи. Все, до единой строчки.

- Какие стихи, Сережа?

- Неважно. Читай. Короткая поэма. Называется «Покорение пространства».

- Когда ты ее написал?

- Читай. Это прощение мне.

Эвелина просто физически ощутила глубину и kloчущую энергию торопливо записанных строк. Ее обожгло ощущение трагической просветленности и несомненной обреченности, которое витало между строк. Это были стихи *того* Бархаткова, которого уже не стало.

Эвелина заплакала и стала молча целовать ему руки, зажав их в своих, как в тисках, а он упрямо смотрел в одну точку в пространстве и не шевелился. Эвелина боялась поднять голову и увидеть в его глазах *тот* блеск.

- Я люблю тебя, - сказала она, вытирая слезы движением головы о его коленки. – И я не хочу возвращаться в ту жизнь. Понимаешь? Та жизнь довела тебя до петли, понимаешь?

- Понимаю, - сказал он.
 - Я буду только твоей, ты слышишь? Прости меня за то, что было тогда...
 - Это ты меня прости. За все.
 - Я давно тебя простила.
 - Прости, - повторил он. – В доме повешенного не говорят о веревке, не так ли?

И слабо улыбнулся.

На следующий день все было как обычно. Приезжали люди, с которыми подписывались деловые бумаги. Необычно было только то, что Бархатков после их ухода потирал руки и громким голосом орал колыбельную, которую он сочинил для маленькой Вики. Что-то про жирафов и про их тесную кровать.

А через неделю не где-нибудь, а в Минске, его родном городе, вышла поэма С.С. Бархаткова «Агорафобия» с посвящением Сергею Есенину и небольшим предисловием от автора, в котором, в частности, были такие строки:

«Поэма не была бы написана, если бы не было на земле такого поэта, как Сергей Есенин, которому она вначале и была посвящена. Однако ничтожные обстоятельства иногда вмешиваются в дела, которыми ведает одна только высшая справедливость. Я посвятил поэму другому человеку, Федору Ивановичу Серову, – достойному человеку, но не Есенину. Вот почему было бы глубоко несправедливым оставить все как есть. И я пытаюсь восстановить справедливость – так, как я ее понимаю. Поэзия не терпит суеты и мелочности, ей нет дела до наших низких расчетов и прямых выгод. Это не в силах изменить никто.

Вот почему я с глубокой признательностью посвящаю Ф.И. Серову другую поэму – «Покорение пространства», которая мне дорога не менее «Агорафобии» и которая, надо признать, появилась во многом благодаря ему.

Приношу свои извинения и Сергею Есенину, и Федору Серову. Я виноват перед ними».

Прочитав последнюю строчку Эвелина улыбнулась: она звучала как-то по-детски. Простите, папа и Дед Мороз, я больше так не буду. Забавно.

А еще через неделю Эвелина нашла на столе в кухне листик, вырванный из блокнота, на котором голубыми чернилами аккуратно были выведены стихи.

Просто вытри слезы,
 Раз и навсегда.
 Около березы
 Синяя звезда.

Ты меня увидишь
 И тогда поймешь...
 Снова панцирь мидий,
 Снова сердца дрожь.
 Благодарю тебя за все.

Это был акrostих. По первым буквам выходило: ПРОСТИ С.С.Б.

Она бросилась к Валентине, которая теперь жила с подающим надежды молодым художником, тем самым гением, но только бросившим пить. Валя встретила Элю возгласом:

- Как тебе его «Пространство»? Прелесть! Он убил Федора наповал.

Потом споткнулась взглядом о ее опущенные влажные ресницы и на вдохе спросила:

- Что-то произошло?

- Где он? Что с ним? – взмахнула ресницами Эля.

- Не знаю. А что случилось?

- Вот, смотри.

И Эвелина показала стихи своей давней сопернице, в мгновение ока ставшей лучшей подругой. Валентина побледнела и сказала себе под нос:

- Надо обзвонить гостиницы.

- Зачем?

- Так надо.

Но звонить никуда не пришлось. Позвонили им. Все уже всё знали. Выпуски местных новостей начинались с того, что в гостинице N. покончил жизнь самоубийством известный поэт Бархатков. Он повесился на пестрой бельевой веревке, сверхпрочной, изготовленной по современным технологиям.

- Зачем он это сделал, Валя? Ведь нельзя же причинять людям такую боль, нельзя же быть таким эгоистом...

- Я не знаю. Может, он заигрался? Не знаю. Ничего не понимаю.

Вечером позвонил Федор и спросил:

- Зачем он это сделал, Лина?

- Не знаю. Он был не человек, он был поэт. Ты будешь на похоронах, Федя?

- Конечно.

- Мне нужна твоя помощь.

- Мы все уладим. Прими мои соболезнования.

- Спасибо.

На следующий день в одной из ведущих газет был напечатан пронзительный некролог, искренний до неприличия, в котором легко узнавалась рука Валентины. Он заканчивался простыми, но пророческими словами: мы потеряли большого, талантливейшего поэта, который станет классиком современной литературы. Ему просто нет равных. Мы даже не понимаем, что мы потеряли. Невосполнимая утрата. В это невозможно поверить.

Искренне скорбим.

А на следующий день после пышных и крикливых похорон (у Сергея Сергеевича объявилось немало друзей) вышло очередное издание его поэмы, с тем же авторским предисловием, в Москве, где с обложки смотрел на читателей живой и улыбающийся Бархатков. Смерть опоздала.

Более того. Смерть поэта подхлестнула интерес к его творчеству и сразу же сделала его классиком. Смерть оживила его. Понадобились все новые и новые тиражи.

- К сожалению, нет рекламы лучше, чем смерть, - говорили деловые люди, потирая руки и пряча глаза.

Поэмы читались как приложение не столько к его жизни, о которой мало что знали, сколько к его ужасной и безвременной кончине.

Многие винили в его смерти несчастную и растерянную вдову. Все случившееся было настолько непонятным и необъяснимым, что правдоподобнее всего выглядели самые нелепые и грязные мифы. Слава мужа тяжким бременем легла на плечи Эвелины. Ей пришлось бы совсем туго, если бы не деликатное внимание лучшего друга Бархаткова Федора Ивановича Серова, опекавшего ее денно и нощно. Вскоре Федор Иванович развелся с женой и переехал жить к Эвелине. Говорили, что дочь Бархаткова вовсе не его дочь, а дочь Серова. Многие верили, кто-то пожимал плечами. Но это никак не отражалось на репутации великого поэта: он уже был выше сплетен.

Тиражи произведений Сергея Бархаткова вновь поползли вверх. Дела у Серова тоже пошли в гору.

А люди говорили и говорили. Говорили поэзия – подразумевали талант и смерть.

В талант и счастье мало кто верил, в это почему-то не хотели верить.

Талант, поэзия и смерть вновь будоражили воображение людей. Толпы объявившихся поклонников каждый день посещали могилу поэта. Она постоянно была убрана живыми цветами, в основном – огромными розами. Все знали, что любимыми цветами поэта были белые розы в бутонах. Особо посвященные знали, что розы должны быть небольшими.

Мало кто обращал внимание, что к большому деревянному кресту всегда была пришпилена веточка неумирающего гипсофила.

Через несколько лет в городе сложилась трогательная традиция: проводить в скорбный день кончины поэта у его могилы праздник поэзии. Читали стихи. Вспоминали. Радовались жизни.

В это время уже припекало солнце и душе действительно хотелось праздника.

Ноябрь 2004 – январь 2005

ВАРВАРЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Настоящее зло – это интеллект, не способный разглядеть в уме своё будущее, ибо для интеллекта нет будущего.

I

Трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину.
Трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию.

Я смотрел на бледно-голубое с землистым отливом небо.

Будто брюхо доброго, беззащитного чудовища, оно было вспорото смертно-белым следом от реактивного истребителя с острыми крыльями, и мучительно зарастало вспухшим шрамом, всё расплывающимся, ширящимся, чтобы, в конце концов, осесть белесым налётом на эту грязноватую синь, и так уже испачканную тонко размазанным слоем перистых облаков, который хотелось стереть, словно напластования пыли с замутнённых стёкол.

Перечёркивая застарелый рубец, белокипенной строчкой прошивал голубую мякоть ещё один страж мирного неба, отливающий белым металлом, словно юркая игла. Зловеще вышивал крестиком или ставил крест на ближайшем будущем?

От кого мы всё защищаемся и обороняемся, пугая неприятеля готовностью к внезапному нападению?

У меня был только один ответ, устраивающий меня: от себя, от собственной глупости. Летаем в облаках.

Солнце, уставшее за прошедшее лето, а возможно, и за весь тот период, пока безобидная обезьяна натужно превращалась в человека, отрекаясь от собственной безмозглой сути (а ведь был, был он, лиановый рай!), зависло на краю неба холодным костром. Оно словно решило не мешать человеку, научившемуся летать, вспомнить позабытую науку смиренно вышивать крестиком.

Но человека, судя по всему, интересовало только одно: самоистребление.

Я, болея такой несовременной хворобой стремления к бесконечному, и потому, увы, бессмысленному, совершенству смысла (бисер, бисер!), целый день правил свою работу, посвящённую «Пиковой даме» г. Пушкина А.С. (Боже мой! Что мне Пушкин, что я Пушкину! Или, как сейчас принято коряво выражаться, где он, а где я. А я вот правил, словно в пику кому-то, добиваясь искомого совершенства путём концентрации противоречий.)

Я писал о повести, завершённой почти двести лет тому назад: «Пиковая дама, как известно, означает тайную недоброжелательность.

Отчего же сия дама так не благоволила «сыну обрусевшего немца» с исключительно нерусской фамилией Германн (содержащей, помимо мрачного неблагозвучия для русского уха, ещё и заносчивую, с претензией на исключительность же германскую семантику Herr Mann, «Господин

Человек»), инженеру, имевшему «сильные страсти и огненное воображение», которые, однако, не мешали ему следовать безупречно положительному, выверенному девизу *«я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее»?*»

Я мучился: верно ли я схватываю пушкинский замысел или безбожно перевираю всё на свете, приписывая его петербургской фантазмагии что-то своё, наделяя его героев какими-то неясными пока мне самому, но, безусловно, реальными чертами человеческой природы?

Я писал: «Большую и нешуточную игру затеял Германн, возможно, сам того не подозревая. Он ведь бросил вызов судьбе и решил переиграть её именно тем, что отказался от игры («случая», «сказки») как способа достижения благополучия. Строго говоря, он исключил не только капризы фортуны, но и саму злодейку-фортуну оставил не у дел, отобрав у неё излюбленное средство – ослепление страстями и сделав ставку на голый интеллект, расчёт, выведенный за рамки человеческого измерения. По возможностям влиять на жизнь человека Германн стал равен Судьбе (чтобы не упоминать всуе иные горние инстанции), стал сверхчеловеком, «Господином Человеком».

После трудового дня, проведённого в таких высоких заботах (вот уж поистине – парил в облаках), я спустился на землю – вышел на улицу, сунулся на свет божий, к людям (чему, помимо собственной воли, был отчасти рад, хотя, в согласии со своим настроением «ненавидеть всех, преступно равнодушных к «Пиковой даме», Пушкину и ко мне», желал избавиться от земного притяжения – унижительного на ту минуту, ибо оно делало меня таким, «как все») – и медленно прогуливался вдоль Свислочи – только не по тому берегу, где на некотором возвышении расположен был памятник Пушкину (по этой возвышенности я вольно разгуливал в одном из своих романов, а именно: в романе «Для кого восходит Солнце?»; друзья этого романа, надеюсь, помнят), а по берегу противоположному, на который с любопытством взирал посаженный на ажурную скамью волей скульптора слегка изумлённый Пушкин («дар г. Москвы минчанам», по сообщениям газет).

Действие этой повести, как легко догадаться, происходит в центре Минска, расположенного, согласно новейшим географическим изысканиям, в самом центре Европы.

Так, гуляя, встретил я расцвет заката, насладился болезненной краткостью мига (края небес вспыхнули нежно-розово – и обратились в малиновые угли, которые быстро истлели в пепел), проводил его и настроился на то, что сейчас вот, сию минуту, на моих глазах померкнет небо, станут сгущаться сумерки (по-моему, это похлеще, чем «мороз крепчал»; но это к месту, и потому пошлость посрамлена; разве нет?), превращая день в ночь.

Набережная полна была народу – всё сплошь молодые и очень молодые весёлые лица, громкие разговоры под пиво, беззаботный смех: улицы утомлённых возрастом городов принадлежат молодым. Всё было

замечательно; мешало лишь то, что молодых не волновало совершенство смысла. Впрочем, молодости хотелось простить даже этот порок варваров, который завтра поставит под угрозу будущее городов.

Вдруг внимание моё привлекла фигура молодой девушки в платье, выражение лица которой я видеть не мог (она также смотрела в сторону изнемогающего заката, её очаровательная черноволосая головка её была развёрнута ко мне затылком, волосы – в тугой пучок: всё просто, мило), но почувствовал. Я не сомневался: оно было печальным.

И не ошибся. Люди, которые способны разглядеть в представшем их взору сиюминутном потаённое вечное, получая от этого своеобразное удовольствие, – всегда светло-печальны. «Глубоко сказать о сиюминутном – прикоснуться к вечному. Бездарно сказать о вечном – всего лишь плюнуть в лицо сиюминутному». Что ж, неизвестный автор ХХІ века, то бишь я, оказался глубоко прав.

Она медленно повернулась в мою сторону, *почувствовав мой взгляд* (именно так). Мне не надо было подбирать слов, чтобы описать впечатление самому себе (дорогая моему сердцу слабость, доставляющая мне много горьких минут); они, подобранные в глубине сознания, сами слетели с языка: «свежее личико и чёрные глаза», прелесть которых подчёркивала печаль, – правда, не мечтательная печаль, которую я так ценю в женщинах (и которую я, откровенно говоря, мечтал узреть), а печаль, как мне показалось, *сиюминутная*. Правда и то, что уже в следующую секунду она улыбнулась мне, как лучшему другу (так, увы, улыбаются люди, у которых нет настоящих друзей).

Но ведь мы выбрали платье, а не вездесущие джинсы (удобные и практичные, спору нет, я сам был облачён в джинсы); какая-никакая, но в глазах присутствует печаль, а не всеобщий дурацкий восторг по поводу наконец-то наступившего устройства мира, где смыслы перестали быть мерилем смыслов. Чего ж вам больше?

Эта минута решила мою участь.

Она спросила, как меня зовут (особенно вслушиваясь, как мне показалось, в произношение простой моей фамилии), потом поинтересовалась, который час (при этом, как мне почудилось, мгновенно оценив броскую марку моих дорогих часов, стоивших больше, нежели украшавшие мою квартиру холодильник, телевизор и диван вместе взятые, – подарок моего сентиментального разбогатевшего друга, укатившего на днях в Америку); после этого спросила, в каком районе Минска и на какой улице я живу.

- Это не в том ли доме, который находится на пересечении улиц ***, рядом с ***?

- Нет, в том, что находится рядом с упомянутым вами домом, - возразил я.

Очевидно, мои ответы показались ей убедительными настолько, что она, нимало не интересуясь моим мнением, рассказала о себе следующее.

Звали её Эллина Задкова (что меня несколько смутило). Была она дочерью обрусевшей немки, в девичестве носившей фамилию Клаус. Чтобы избавиться от бесконечного остроумного сопоставления с Санта Клаусом со стороны добродушных русских, фройлян сочла за счастье стать госпожой Задковой, чего и дочери пожелала. Отец, похоже, был цыганом; более о нём ничего не известно, ибо брак её родителей был сколь неотвратим, столь же и молниеносен. Эллина, разумеется, считала себя русской, и одно время вполне разделяла насмешливое отношение к забавной рождественской фамилии Клаус. С годами это отношение стало меняться, и сейчас Эллина, выпускница инженерно-строительного факультета, уже практически созрела для того, чтобы почтительно думать о предках по линии матушки.

- Если уж быть Эллиной, то почему не Клаус? Логично?

Но я уже успел привыкнуть к тому, что она – Задкова.

Чтобы поддержать беседу, я спросил, где она работает.

Работала она – «подрабатывала», как было уточнено, и это цепкое указание на временный характер работы «по обслуживанию» явно намекало на масштаб её амбиций – второй няней в доме известного и влиятельного бизнесмена *** (первая няня, Варенька Неробеева, неизменно носившая строгие отглаженные брюки, курировала весь учебный процесс). Посвящала его сына от первого брака Павла в премудрости математики.

- Того самого ***, строительного короля? – уточнил и я, догадываясь, что вопрос мой будет лестен для Эллины.

- Разумеется, - в её чёрных глазах вспыхнули огни мечты. – Устроена не по специальности, зато с выгодой. *Я не могу позволить себе роскошь не работать в надежде удачно выйти замуж.* Кроме того, я хочу быть хозяйкой своей судьбы. Кстати, а вы женаты?

- Был, - ответил я.

- Это был ваш первый брак?

- Правильнее сказать, последний.

- Да, вам будет непросто найти достойную невесту, - улыбнулась Эллина. – Знаете что? Можете пригласить меня в ресторан.

- Я не в состоянии пригласить вас в ресторан в надежде продолжить знакомство, - честно сказал, ещё более честно подумав при этом: «...знакомство, которое не приведёт ни к чему хорошему».

- Вот как? – изумилась Эллина. Было видно, что она заново оценивает ситуацию, выстраивая какие-то комбинации. Я не сомневался: она не думала, а вычисляла, просчитывала. В её глазах, казалось, пёстрым ворохом осенних листьев мельтешила цифирь (что, несомненно, их оживляло).

- Вам будет непросто найти достойную невесту, - уже иначе сказала она. – Какие доходы – такие и невесты. Знаете что? Угостите меня пивом. Пенистый эль: это нам по силам?

- Пенистый... С удовольствием, - безо всякого удовольствия согласился я. Вливаться в толпу пьющих пиво, напиток варваров, – давно перестало быть пределом мечтаний для меня.

Но на ресторан, где подают коньяк в подогретых бокалах, где вас потчуют умопомрачительно дорогими яствами, изготовленными по заморским рецептам нашими поварами на свой вкус, где вас с царскими амбициями обслуживают подрабатывающие любители самого дешёвого пива, – в ресторан, куда открыт вход лишь варварам из варваров, денег не было.

Давно и безнадежно.

II

Разочарование в женщине наступает тогда, когда становится очевидным, что она не способна полюбить того, кого не может не любить богато одарённая женщина.

Следующая неделя прошла удивительно.

Эллина легко стала моей послушной любовницей, грубовато и цинично проявив инициативу, и мы все вечера проводили вместе. Меня влекло к ней нехорошее любопытство, а её ко мне – что-то другое, я не мог сказать в точности, что именно.

Но в постели нам было каждому по-своему приятно: я осваивал новую для себя науку наслаждаться близостью с чужим человеком, а она...

В общем, теперь я понимаю скорпионов, которых самки пожирают после оплодотворения.

Есть женщины со здоровым инстинктом и тонкой душевной организацией (их всё меньше и меньше), которые относятся к мужчине как к обязательному условию своего личного счастья; они заинтересованы в том, чтобы с ними рядом был лучший в их понимании мужчина, поэтому разворачиваются к нему, и только к нему лучшей своей стороной, стараясь сделать его счастливым; это женщины, созданные для любви и счастья. Я тянусь к таким женщинам, хотя, как мне кажется, не верю, что они существуют.

И странно: чем меньше верю в их существование, тем больше хочу в это верить – и я ничего не могу поделать с этим проклятым «хочу».

И ещё верю в то, что моим женщинам нужны такие мужчины, как я. Не варвары, а умные. Если они ощущают мой ум как сексуальное качество, я сам чувствую, что становлюсь сексуально привлекательным. Подобное тянется к подобному. Моей женщине нужен я.

А есть женщины (которых всё больше, больше), которые видят в мужчине средство для достижения цели и используют его строго по назначению, не церемонясь, как, скажем, средство для удаления тараканов. Воспользовался по мере необходимости – и забыл.

Такие женщины не любят себя, ненавидят других, презирают любовь, и они инстинктивно тянутся к власти, чтобы разрушать, повелевая. После них везде руины. В них есть очарование анчара, но только для тех, кто бессознательно тянется к гибели. Не для меня.

Я быстро разгадал Эллину, но, как и всякий начинающий циник, не подозревал, с одной стороны, о том, сколько во мне романтизма,

переливающегося самыми разными оттенками розового: от чёрного до белого-голубого, – романтизма, делающего меня человеком, и человеком уязвимым; с другой стороны, я не ведал опасности безмерного цинизма, дающего слабому человеку иллюзию силы и быстро доводящего его до последней, гибельной черты.

По истечении месяца со дня нашего знакомства Эллина сделала мне интересное предложение.

- Мы вместе уже тридцать три дня. Как насчёт того, чтобы отметить это событие?

По её словам, все чады и домочадцы во главе со знаменитым хозяином особняка, в котором она подрабатывала, на выходные отправятся самолётом куда-то к морю. Дома, естественно, никого не будет – кроме прислуги (но это, как она тут же добавила, не проблема). Более того, г. *** попросил её присмотреть за домом, оставшись практически за хозяйку. Что я об этом думаю?

Я откровенно ответил, что у меня по этому поводу нет никаких соображений.

- Плохо, - сказала Эллина. – Очень плохо. Неужели трудно понять, что выходные мы можем провести вместе в роскошном доме. Это ли не счастье?

По-моему, чужой дом и выходные (временное ослабление хомута) не имели со счастьем ничего общего, однако я не стал и отказываться: относительно беспринципное любопытство писателя и здесь взяло верх.

- С удовольствием провёл бы уикенд вместе с тобой, моя прелесть.

- Там есть баня, бассейн, бильярд, камин, домашний кинотеатр...

Глаза Эллины горели: я впервые видел её столь возбуждённой. Клянусь, я прочитал в её глазах наглое продолжение бесконечного перечисления предметов роскоши: в них чёрным реактивным следом – чёрным по чёрному – было написано: «Когда-нибудь всё это станет моим!». Смотреть на неё было одно удовольствие: она напоминала ухоженную ведьму, чертовски простодушную, по-адски непосредственную и потому ангельски привлекательную. Впервые к моему чувственному желанию добавилось что-то личное: я увидел в ней живую женщину. И как же обворожительно всё живое, пусть и опасное!

Я сказал ей об этом. Она посмотрела на меня. В её чёрных глазах раскалённо пылало нескрываемое желание. Вот тогда я впервые подумал о скорпионшах.

Она овладела мной так жадно и эгоистично, что я испугался её тяжёлой влажной страсти, причиной которой был, конечно, отнюдь не я.

Что ж... На свете счастья нет, замена счастью – такие вот обманчивые минуты, оставляющие в душе выжженные какой-то окисью, последним изобретением Нобелевских лауреатов, пустынные очаги, навсегда непригодные к плодородию. И я благодарен был моей подруге за щедрый подарок – два дня суррогатного счастья, возможно – забвения. В конце концов, годы жизни состоят из дней.

Хочешь прикоснуться к вечному – научись жить одним днём, освой науку ценить мгновение.

Всё это, лукаво, конечно, всё можно обернуть и в другую сторону, но...

Я ни о чём не жалел. Что есть то есть. Если в жизни не складывается так, как желал бы, значит, не на те законы поставил. Обдёрнулся?

Бассейн был цвета неба – нежно-голубым и кристально прозрачным, с высоты птичьего полёта напоминавшим, наверно, драгоценный камень, украшающий перстень монстра. Мы с Эллиной плескались добрых два часа – и я никогда не видел её такой беззаботной и, чёрт возьми, счастливой на свой лад: другого слова не подобрать. Мы пили шампанское «Радзивилл», и оно удивительно гармонировало с ощущением искристости, сиюминутности и какой-то неотвратимой краткости, конечности (и потому – обречённости) происходящего. Игра – вот, пожалуй, точное слово. Я чувствовал себя в гладкой коже дельфина, взятой напрокат вместе с простыми и необременительными эмоциями. Мы играли и прекрасно отдавали себе в этом отчёт – только вот стоило ли портить игру неуместными рассуждениями и переживаниями, которые помимо воли моей роились у меня в подсознании, неразборчиво смешиваясь с пузырьками шампанского, и, ударяя в голову, затрагивали не только центры удовольствия, но и зоны тревоги?

Эллина была красива хищной красотой аккуратной акулы, в которой проступали черты прарусалки, ровной в своём настроении и точно знавшей, чего она хочет. Она ни на градус не отклонялась от заданного курса. Со стороны мы вполне могли производить впечатление пары, у которой именно в этот уик-энд неудержимо начался медовый месяц. О любовных играх мы не забывали и в бассейне; а любовь и вода – это, по-моему, те стихии, которые совмещаются куда органичнее, нежели любовь и огонь.

- Всё, баста, - наконец, сказала она. – Я должна тебе кое-что показать. Пойдём.

И, оставив жабры и хвост, пришпорила, не оглядываясь. Я, стараясь не отставать, шлёпал за ней в мокрых сланцах, кутаясь в большой махровый халат густо сиреневого цвета, от чего он казался теплее. Мы прошли застеклённый переход и оказались в вестибюле. Потом поднялись на второй этаж. Свернули в коридор, миновали несколько дверей и подошли к одной из них, предпоследней.

- Открывай, - сказала Эллина властным тоном. Этот тон был естественной кульминацией её сегодняшних перевоплощений. Улыбнувшись, я покорно нажал на ручку. Очевидно, стоило ждать очередной приятный сюрприз.

Мы вошли в спальню. По центру комнаты стояла широкая двуспальная кровать (разобранная). К батарее наручниками – в позе распятого Христа – была прикована молодая женщина, которая сидела на полу в ночной сорочке. Её рот был плотно залеплен скотчем.

- Что происходит? – спросил я, холодея от предчувствия непоправимой беды. Страх необратимого – вот мой кошмар.

- Происходит исполнение желаний, - ответила Эллина, занимая позицию ближе к женщине и подальше от меня. – Знакомьтесь: бесподобная Натали, жена ***. Кстати, сейчас самое время поинтересоваться, за что ей такое счастье? Ей, а не мне – за что? А это (последовала бесподобная по своей небрежности отмашка в мою сторону) – жалкий писатель, имени которого никто и никогда не узнает, потому что пишет он умно и непонятно, выдумывает слишком. Можно считать его Гомером. Что же ты молчишь, Гомер?

- Приятно познакомиться, - сдержанно кивнул я; дело в том, что я давно для себя решил, что о хороших манерах не стоит забывать никогда и ни при каких обстоятельствах. И в данном случае я не видел оснований изменять своему принципу. Более того, иногда манеры становятся единственно доступной формой сопротивления.

В известном смысле мне и в самом деле было приятно: Натали, конечно, было неловко и неудобно, зато постороннему наблюдателю со всем доступным цивилизации комфортом можно было оценить все прелести её хорошо слепленной фигуры, которые свободный ночной наряд лишь подчёркивал; стройные слегка разведённые ноги и полноватая грудь, удачно приоткрытая разрезом сорочки, продолжали впечатление, а довершали его длинные светлые волосы и большие глаза, в которых несомненное достоинство просвечивало сквозь ту самую светлую печаль («Лиза!» - мелькнуло в моём взбудораженном мозгу).

Прошу понять меня правильно: мне действительно было приятно познакомиться с такой женщиной. Впечатление немного портило, на мой взгляд, то обстоятельство, что она была женой другого, принадлежащего к элите сильных мира сего. Но кто ж властен над капризами фортуны?

- Гомер, я хочу сделать тебе предложение, от которого умный человек не сможет отказаться, - произнесла между тем Элина, указав мне моё место в этом лучшем из миров, сузившихся до размеров хоть и просторной, но всё же ничтожной спальни в кирпичном особняке.

Я стоял посреди комнаты, целомудренно обернув свой торс полотенцем. В моей позе, несомненно, было что-то античное. Как и в позе Натали. Собственно, самой античной из нас следовало признать Эллину: она, стройная и мускулистая, олицетворяла собой всех смутно знакомых из курса истории Древней Греции жестоких и злобных женщин, решительно, буйно и как-то несоразмерно обиде мстящих за что-то тем, как правило, мужчинам, кто осмелились покуситься на их мечту; с мокрыми чёрными волосами, отдалённо напоминавшими расплетённый клубок тонких змей, упрямо сжатым ртом и твёрдым взглядом, она приняла позу «не питайте иллюзий, о, нищие духом».

Всё это я прочёл в её позе и интонации. Но с другой стороны на меня смотрела женщина с печалью в глазах, прикованная к чугунной батарее. Я, будто мятежный Одиссей, оказался меж Сциллой и, как её там... нет, не Харибдой, конечно; должно же было быть в Древней Греции существо,

олицетворявшее полюс добра. В те времена должны ещё были верить в добро, иначе откуда взялся расцвет искусства?

Так вот, я чувствовал себя меж Сциллой и Добрым Женственным Существом. Терять мне было нечего. Вот отчего во мне, немало удивив и меня самого, проснулось мужество: я думал, с этим навсегда покончено.

- Освободи ей рот, - я, шевельнув бровью, легко принял какое-то важное решение.

Сцилла (она же Эллина, она же Харибда) заколебалась. Но это длилось секунду. Резким движением, подчёркивавшим её мужское намерение идти до конца, она сорвала скотч с губ Натали. Та вскрикнула: видно было, что боль сдерживать невозможно.

- Что-нибудь ещё, господин?

Шевельнувшиеся чёрные змейки Харибды удивительно гармонировали с обнажённым телом и сарказмом.

- Говори.

- Нет, Гомер, не так. Не ты здесь главный. Слушай и соображай. Нравится тебе или нет, мы с тобой сообщники, и даже партнёры. Напрасно ты готовишься погибать. Приготовься жить, и жить красиво. Это, конечно, не так просто, как подохнуть, зато более достойно человека.

Я понял, что своей готовностью принять любую неизбежность успел навредить себе – нет, уже *нам* с Натали. Вот почему в следующую секунду я прикинулся тряпкой и шлангом одновременно: безвольным и нежизнеспособным. Можно сказать и так: во мне мгновенно проснулась ящерица с её доисторической способностью к мимикрии. «Сколько же на дне моего существа прижилось ещё всяких тварей, чистых и нечистых, хотелось бы знать?» - мысленно адресовал я себе риторический вопрос.

- Я хочу жить, Элла.

Так я называл её в минуты близости, чтобы хоть как-то смягчить скользкое и холодное «Эллина».

- Вот это правильно. Вот этому я верю. А писанине твоей – не верю.

- Я узнала вас, - вдруг заговорила Натали, обращаясь ко мне, и я был поражён женственным тембром её голоса. Голос был до того интимным, что казалось странно и неловко слышать, как она разговаривает им со всеми подряд; казалось, он был предназначен для слуха кого-то одного, единственного. Для меня, например. Во мне (на дне!) с чудной силой проснулась никогда ранее не тревожимая ревность. Я сразу всей своей аурой и загнанной под ахиллесову пяту харизмой почувствовал, что на холодном полу, передо мной, на тёплой попе сидит моя женщина, и тут же разозлился на неё на то, что она опрометчиво посмела стать женой другого. И вот к чему это привело, я же теперь и расхлёбывай всю эту круто заваренную кашу.

И, что характерно, мне было наплевать на несвоевременность моих прозрений. Что мне была смерть перед лицом почти обрётённого счастья?

Вот почему я посмотрел на неё снисходительно и, как мне показалось, убийственно равнодушно.

- Ваша фамилия ***, а вовсе никакой не Гомер. Я читала ваш роман «Для кого восходит Солнце?» с карандашом в руках. Вот книга, видите, лежит на моём ночном столике, вся исчерканная восклицательными знаками. О, как вы правы! Хочу вам сказать, что ничего лучше я не читала в своей жизни. И я так рада, что мне удалось познакомиться с вами. Мне тоже очень приятно.

- Одну секундочку, - встряла Сцилла. – Я вам не мешаю общаться?

- Мешаете, разумеется, - возразила Натали.

- Эллина, погоди, дай человеку сказать. Поверьте, я очень ценю ваше мнение, Натали, - продолжал я извиваться ящерицей.

Видимо, моя боевая подруга была готова ко всему, только не к встрече читателей с писателем, да ещё в такой не совсем обычной обстановке и уж в совсем не подходящее для такой мирной акции время.

- Я бы посоветовала этой шлюхе заткнуться, а тебе, Гомер, подумать о своей жизни, - нервно кинула она в мою сторону, переходя на харибдский язык агрессии. За словами оскорбления обычно следуют ещё более оскорбительные слова. А далее – необратимые и неконтролируемые действия. Теперь во мне ожил какой-то умный волк.

Я посмотрел в глаза Натали. Она не отвела своих глаз. Мы поняли друг друга. И я проникся уверенностью, что только так – с первого взгляда! лазером! по сердцу! – и должно быть в жизни, и если у меня до сих пор так не бывало, то вовсе не потому, что подобного не бывает вообще, а потому, что так бывает крайне редко. Теперь мне было что терять и за что бороться.

Ящерица во мне вновь шевельнулась, увеличиваясь в размерах и наливаясь матёрой волчьей силой.

- Элла, я весь внимание.

- Не будем терять времени. Сейчас ты возьмёшь пистолет, вот этот.

Она бросила на лёгкое и пышное, как бы взбитое, покрывало тяжёлый стальной револьвер, который буквально утонул в кремовых кружевах. Я не мог отвести от него взгляда и стоял, как парализованный. Оружие было красивым.

- Бери, что стоишь, как истукан.

Я сделал шаг на негнущихся ногах, взял в ладонь револьвер – и вместо ожидаемой уверенности на меня накатил панический страх.

- Сейчас ты выстрелишь в эту шлюху и сделаешь дырку в её похабном сердце, - сказала Эллина. Она вновь чувствовала себя, как акула в воде.

Я поднял на неё глаза, в которых, по моей задумке (и не надо было большого актёрского таланта, чтобы сыграть это), должны были отразиться мутное безволие и покорность.

- Да, да, выстрелишь. А если не выстрелишь, то это сделаю я. И рука не моя дрогнет, как ты понимаешь. Но на рукоятке будут отпечатки твоих пальцев. Как и на ручках всех дверей в этом доме. Ты слишком джентльмен, иногда надо позволять даме открывать двери. Получается, убьёшь её всё равно ты. Соображаешь?

Я пытался соображать.

- Ты убьёшь эту стерву, заберешь её кольцо – не беспокойся, я знаю, где оно лежит, пусть тебя это не слишком волнует: ведь достанется оно мне, и вполне заслуженно, не так ли?

Я кивнул, как будто мы уже грабили награбленное.

- После этого ты ранишь меня, легонько, для отвода глаз, – и я дам тебе шанс: отпущу тебя на свободу, а сама позвоню в милицию. Ты успеешь спрятаться очень далеко, если не полный идиот. Я даже подскажу, куда. Это и есть моё предложение, от которого не советую тебе отказываться – если ты нормальный, если ты выбираешь жизнь, конечно.

Я пытался сосредоточиться, но у меня это плохо получалось.

- Я избрала тебя месяц назад, и с того момента ты был обречён, как упитанный, но нерасторопный, телец. У меня на сию секунду имеется стопроцентное алиби, а из тебя хлещут – стопроцентные мотивы. Ты использовал меня, свою доверчивую любовницу, которая буквально вчера бросила тебя. Ты мстишь, потому что у тебя неустойчивая, как у всех писателей, психика; и после бессонной ночи ты решил примерно наказать меня, заодно пожить, как человек умный, и преспокойно бежать за границу. Пойди, докажи обратное.

Эллина раскрывала свои планы до конца, и делала это с видимым удовольствием.

Я никогда не понимал, зачем в кино людоеды и подонки с извращённым сладострастием объясняют своим жертвам причины и логику своих преступлений, словно доказывая какую-то теорему, доставшуюся нам от Пифагора. Мне казалось, я бы на месте палачей убивал как можно скорее, без лишних слов. Зачем слова, если у тебя есть цель? Жертва всё равно обречена, убивай и получай своё бабло. Получай – и сматывайся. Ей богу, я даже переживал за подонков, осуждал их за так некстати открывшуюся сентиментальность, снижавшую эффективность и безопасность акции.

И вот сейчас до меня дошло: одно дело убить, и совсем другое – победить, надругаться над святым, то есть воодрузить на шпиле жизни свой штандарт, доказать свою правоту – и тогда ты уже не банальный палач и убийца, а будто бы идейный борец за справедливость, за правду жизни. Если ты уверен, что все люди одинаково скоты, только все по-разному прикрываются красивыми словами, – то ты уже не киллер и подонок, а романтик с большой дороги. Еретик. Революционер. Гроза обывателей. Геррманн.

Ты (читай – Вы, Эллина Васильевна) по-настоящему, по Сцильи, умён (умна), а все они (читай – я, Натали) по-настоящему глупы.

В своей статье я писал: «И все же рассудим здраво: если визит старухи в ответ на вполне реальное вторжение Германа объявить плодом воспалённого воображения, значит ожидаемое обогащение тоже следует признать миражом. Но где вы видели прагматика, который отказывается от гарантированных дивидендов! Если деньги доступны только «в пакете» с чертовщиной – да здравствует чертовщина, да здравствует мёртвая старуха! Придумайте всё, что угодно, не трогайте только реальность обогащения. Так

единственной реальностью становится логика. Какова логика – такова и реальность. Так выдаётся желаемое за действительное тем, кто посмеивался над «неверными» страстями, искажающими реальность. Скажите после этого, что фортуна не смеётся последней...»

И вот этот штрих – глупая похвальба злодея – помог мне осознать всю катастрофичность ситуации: мы с Натали обречены, назад пути нет, а Элка, гадина, на девяносто процентов уже в раю, куда вползла благодаря нашей щепетильности и мягкотелости. За мефистофелевским смехом следуют выстрелы. Потом опять смех. Необратимость.

Но этот же штрих дал мне дурацкую надежду: иногда злодеи на глазах зрителей заслуженно и фатально превращались из палачей – в жертвы: расплачивались за своё легкомысленное отношение к деньгам. Это в тех бездарных фильмах, где добро побеждает зло безо всяких на то оснований.

Эллине важно было, чтобы я принял её сторону: тогда бассейн и камин станут вожделенной наградой, а не случайным трофеем; глупость же её обернётся умом. Ей важно было утвердить справедливость, которую подпирают незыблемые колоннады здравого смысла, а не по быструхе лишить жизни подвернувшихся статистов, запутавшихся в дорогих декорациях.

Ведь я писал: «Впереди же, несомненно, ждало счастье, «дети, внуки и правнуки», а также множество славных дел. Где добро, где зло? Если посредством зла и преступления можно достигать добра, то существенная разница между адом и раем, Богом и Мефистофилем, добром и злом – просто исчезает.

И инструмент, с помощью которого можно провернуть эту нехитрую, но очень полезную комбинацию, называется разум, могучий инженерно-интриганский ум. Собственно, интеллект, а не разум.

Германн вызвал тайную недоброжелательность сначала у повествователя, а затем и у провидения, вовсе не потому, что он был сыном обрусевшего немца или инженером; это следствия, симптомы, а не первопричина. Подлинная причина – в уверенности, что можно проигнорировать «страсть», сильные душевные движения, подчинить их воле рассудка, холодному расчёту. Это и есть каверзный и коварный способ смешать добро со злом и отождествить добро с пользой, выгодой, расчётом».

И я вступил в диалог – понятно, хотел выиграть время (продлить жизнь! любой ценой! это выше нас) и, попутно, если получится, заглянуть в душу человека так глубоко, как не заглянешь при иных обстоятельствах никогда (проклятая писательская страсть: можно подумать, тебе на том свете дадут дописать «нечто о вечном»).

- А почему ты выбрала меня?

- Да потому что ты подвернулся под руку, дорогой; и потом – я тоже прочитала твою книгу. И узнала о тебе кое-что такое, о чём ты и сам не догадываешься. Ты создан для таких, как я, извини за грубую шутку. Не надо быть таким вызывающе бесхитростным и простодушным. На ослах воду возят – не мной ведь придумано.

- Зачем же ты обзываешься Гомером?

- Ты слеп, словно Гомер, и благороден, как дурак. Ты глуп, хотя считаешь себя умным. Кроме всего прочего, Гомера ведь не было. Он – миф. И ты – миф.

- Хорошо. Предположим. А почему бы тебе не пристрелить меня прямо сейчас – так сказать, почему бы не развеять миф прямо в ноосферу?

- Это хорошая мысль. Но не глубокая. В подозреваемых останусь одна лишь я. А я должна быть чиста, как стёклышко, я должна быть в стороне от любых подозрений. У меня большие планы на жизнь. Ты – мой шанс, а я, надеюсь, – твой. При этом, заметь, я без тебя обойдусь, а ты без меня – пропадёшь. А теперь я обращаюсь к даме с наручниками. Мне хочется, чтобы ты знала, Натали, как ты унижена жизнью. То, что тебя сейчас не станет, это заключительный этап, финал. А проиграла ты давно. Ты знала, что твой муж спал со мной?

- И не только с тобой.

- Значит, знала. И молчала, как дура.

- Я всё равно с ним развелась бы. Мне он стал не нужен. Он бы не дождался от меня детей.

При этом Натали смотрела на меня.

- Не дави на жалость, так я тебе и поверила. Да и в любом случае – поздно уже. А меня можете поздравить: я беременна. Беременных, помимо всего прочего, как-то неприлично подозревать. И волновать по пустякам не стоит, верно?

Я побледнел.

- Разумеется, отцом будет объявлен ***, кто же ещё? Ты, Гомер, нужен был мне на случай подстраховки: вдруг *** не способен с первого раза сделать мне ребёнка. Ты выполнял функцию не любовника, а качественного донора, ясно? Натали не станет, Гомер в бегах, *** женится на мне со спокойной совестью. Вот и всё. Кто сказал, что на свете счастья нет?

- Тот же, кто написал «Пиковую даму», если тебе так интересно.

- Не хами, Гомер. Мне наплевать. Теперь вам понятна ваша ничтожная роль в жизни? А сейчас твой выход, Гомер. Пристрели эту тёлку.

По-настоящему меня смущало только одно: почему она так легко отдала мне в руки оружие – неужели полагает, что я абсолютно деморализован?

- Хочу задать тебе только один вопрос. Можно?

- Валяй. Я сейчас добрая.

- Ты кого-нибудь любила в своей жизни?

- Что за вопрос! Разве таким должен быть вопрос человека, стоящего одной ногой в могиле, извини за откровенность? Какая разница, любила я или нет?

- Ты не ответила на мой вопрос.

- Хорошо. Я отвечу. *Я не могу позволить себе роскошь любить в мире, где путь к успеху открывает ненависть.* Это было бы глупо. Вот рожу себе девочку – её и буду любить.

- А вдруг родится мальчик?

- Что мне делать с мальчиком? Мне нужна девочка, похожая на меня.

- А вдруг она будет похожа на меня?

Казалось, я разозлил Эллину не на шутку. Но и злость её в этот момент была мне на руку, главное – лишить её хладнокровия.

Без риска было не обойтись. В этот момент я, казалось бы, всё просчитав, взвёл курок, направил пистолет на Эллину, будущую мать моего ребёнка, и без лишних слов нажал на спусковой крючок.

Раздался издевательски слабый щелчок. Типа «пшик».

Шестым чувством я ожидал именно этого. Поэтому я быстро повторил операцию.

Результат был тем же.

Эллина как опытный воспитатель терпеливо дала мне возможность проделать глупость и в третий раз.

Тщетно.

- Ты не прошёл испытание, - сказала она наведя на меня, вне всякого сомнения, заряженный и готовый к делу другой пистолет. Видимо, я ожидал и этого, потому что у меня был готов ответ:

- Я прошёл испытание, - сказал я.

- Ты не прошёл испытание.

Раздался выстрел.

III

Ум, инструмент духовного развития, для дурака является всего лишь возможностью надуть себя и ближнего своего.

*** сидел у себя в кабинете и мрачно курил трубку.

Перед ним на столе лежало письмо, набранное на компьютере. Его написала та развратная до мозга костей няня Элина, кажется, или Алина, которая с самого начала положила на него глаз. Внешне сдержанная и неприступно-корректная – чем, собственно, она его и зацепила; а ведь повёлся на самый распространённый типаж: училка в борделе – как можно было сразу не догадаться?

Хорошо. Адюльтер имел место. Но на всё есть своя манера и своя такса. Эти нюансы, эти приступы страсти можно оговорить в устном контракте – и нет проблем. Месяц, другой – и найдём новую няню, если старая понимает жизнь неправильно.

Однако из письма следовало, что она беременна. Залетела. И именно от него, от ***. Ситуация, конечно, не катастрофическая, но весьма щекотливая. Следовало что-то предпринять, и срочно.

Впрочем, письмо было прежде всего информационным по характеру, без претензий, что, на первый взгляд, облегчало положение. С другой стороны, в письме была цепкость, которая и раздражала его, и отчасти вызывала уважение. Его переиграли и предлагали это признать: вот что задевало самолюбие ***. Денег было не жалко, однако следовало проучить эту выскочку, и проучить так, чтобы другим неповадно было.

Надо было решить, какое избрать наказание. Вышвырнуть за порог без денег и объяснений?

Возможна нежелательная огласка. Скорее всего, её не будет, однако он привык исходить в жизни из самых худших предположений и допущений; отсюда две прямые выгоды: во-первых, ты, как правило, получаешь больше того, на что рассчитывал, а во-вторых, ты всегда готов к худшему. Вот почему ты всегда в выигрыше.

Итак, теоретически возможна нежелательная огласка; следовательно, от этого и будем плясать.

Запугать?

Может – сработает; а может – нет. Если нет, то появятся осложнения с Натали, с которой и так проблем хватает.

Сунуть денег, купить квартиру – и до свидания?

Письмо не отпускало, и он перечитывал его снова и снова: «Можете мне верить или не верить, но я полюбила вас с первого взгляда». Ну, это ладно – хотя, если разобраться, говорит лестные вещи. «Ребёнок Ваш, можете не сомневаться в этом, если не хотите оскорбить меня. Клянусь всем святым: мамой, Богом. Чего Вам ещё? Можете оказаться от него и от меня – это Ваше право, хотя я не верю, что такой человек, как Вы, способен на это. Подумайте: я рожу Вам дочь, и мы можем быть счастливы».

Вот это «мы можем быть счастливы» – дерзко, конечно, но подкупает силой и простотой. Молодец, баба. Не то, что Наташка: требует каких-то чувств неземных. Ты сама сначала любить научись беззаветно, а потом требуй взамен.

А дальше – просто голова кругом: «я буду любить Вас всегда», «вечное блаженство быть с Вами как с женщиной», «вырастет, и вы ещё поблагодарите судьбу», «у Вас может уже и не быть такого шанса, кто знает»... Да, девица использовала свой шанс до упора.

Сунуть денег – и до свидания?

Это самый распространённый, компромиссный и, чего греха таить, разумный вариант.

Но ведь ребёнок – это от Бога. Как быть? Кроме того, после *такого* письма наклёвываются и иные варианты...

У *** была любовница Лялька (кажется, это ненастоящее её имя) для имиджа – ноги от ушей, сиськи с силиконом – та вымогала нагло и постоянно. Кажется, настало время закрыть эту лавочку.

Вообще, пора разобраться с бабами. Наглую содержанку – прочь; Наташке поставить ультиматум: или ты покладисто рожашь – или получаешь выходное пособие; а этой Элине...

По самой простой ситуации никак не принималось решения. Может, пусть рождает? От такой шустрой и потомство может быть смышлёным, пронырливым, что в жизни далеко не последнее дело. Кто знает, где найдёшь, а где потеряешь...

Так что же, всё таки переиграли? К тем, кого стоит уважать, одновременно просыпается и ненависть. Не зря столько лет твердил

любимую поговорку: бояться – значит, уважают. Как странно устроен мир. Попадаешься именно в ту ловушку, о которой знаешь всё до последнего винтика. Вот и скажи после этого, что нет судьбы.

Г. *** решил в ближайший уикенд слетать с Лялькой на юг, и по возвращении объявить ей отставку. Сначала как следует потешиться, само собой, накувыркаться (чтобы силикон рябил в глазах: пусть отрабатывает, не в сказку попала), а потом принять кадровое решение. Как положено мужчине.

Но Лялька вдруг заупрямилась, отказалась лететь, и вскоре выяснилось, почему: она решила опередить ***, уйти от него к другому, менее разборчивому миллионеру. Стала что-то ныть про квартиру, шубку с коротким ворсом, про «лучших друзей девушек» – бриллианты, надо полагать, но *** сразу её раскусил: девушка или набивает себе цену, вконец оборзев, или провоцирует скандал. В принципе, разрыв был в его интересах; но только он должен её бросить, а не она его. Дорогая шлюха нарушала правила игры.

Он грубо сорвался на ней и выставил её на улицу. Настроения это не добавило, и он во гневе решил уладить свои отношения с женой, а возможно, и с Элиной именно сегодня. Жена не ждёт, он предупредил её, что по делам улетает в Москву. Тем лучше. На его стороне ещё и фактор внезапности. В экстремальных обстоятельствах, когда на него давил форс-мажор, он хладнокровно принимал самые точные и взвешенные решения. Потом сам удивлялся. Водилось за ним такое. За это и уважали.

Машина подвезла его к воротам дома, и он отпустил шофёра.

Кто-то с пульта охраны впустил, не задавая лишних вопросов. Ещё со двора заметил приоткрытую дверь в бассейн – значит, там кто-то развлекался. Натали, кто же ещё. Поджимает губы, отказывается с ним спать. А после того, как он избил её (кстати, именно после этого впервые грубо завалил Элину у себя в кабинете; и было приятно спариваться с этой смуглой тёлкой, которая в порыве страсти кричала: «Ты миллионер! Ты миллионер!»), вообще замкнулась и не желает с ним поговорить по душам.

Но сегодня, сейчас этот разговор состоится. Посторонних в доме быть не должно. Сын гостит у бабушки Дарьи Петровны, железной леди, которая выковала его, своего сына, из булата.

Мокрые следы вели в спальню жены. *** не раздеваясь поднялся – и услышал голоса. В спальне у Натали, его жены?

Причём один голос был мужским, а второй, смутно знакомый, принадлежал женщине. Эти двое и разговаривали в своё удовольствие. Он быстро определил, что обладательница женского голоса – Элина; что она здесь делает? В спальне у его жены?

А вот и Натали вступила в разговор, говорит спокойно, без крика. Что за чертовщина?

Опять заговорила Элина. *** подошёл, приложил ухо к массивной двери и прислушался:

- Разумеется, отцом будет объявлен ***, кто же ещё? Ты, Гомер, нужен был мне на случай подстраховки: вдруг *** не способен с первого раза сделать мне ребёнка. Ты выполнял функцию не любовника, а качественного донора, ясно? Натали не станет, Гомер в бегах, *** женится на мне со спокойной совестью. Вот и всё. Кто сказал, что на свете счастья нет?

- Тот же, кто написал «Пиковую даму», если тебе так интересно.

- Не хами, Гомер. Мне наплевать. Теперь вам понятна ваша ничтожная роль в жизни? Теперь твой выход, Гомер. Пристрели эту тёлку.

Не дожидаясь продолжения милой беседы *** решил заглянуть в свой кабинет (рядом, через дверь): там в особой деревянной коробке из-под сигар хранится пистолет ещё советского образца. Зарегистрированный, всё как положено. Между прочим, в тире упражнялся всего пару дней назад. Рука тверда. Сейчас хозяин объяснит всем присутствующим, но не очень-то званым, что такое счастье.

Он вновь подошёл к двери. На сей раз было тихо. Потом последовала краткая реплика Элины.

В этот момент он распахнул дверь.

Раздался выстрел.

IV

Варвары – это люди с высочайшим интеллектом, для которых священно только то, что убивает личность.

Мне показалось, пуля попала мне в левое плечо, куда-то в область сердца, я выронил револьвер (успел услышать тупой звук падающего предмета на паркет – хорошо, плотно положенный, потому и звук тупой), повалился на пол и потерял сознание.

Когда я пришёл в себя (сразу как-то понял, что стреляли не в меня), приподнялся из последних сил и обвёл глазами комнату, взору моему предстала картина неожиданная: Натали рыдала, рядом со мной развалился ***, он кряхтел и булькал, дальше я не видел ничего: мешала кровать.

Правой рукой я нащупал и сжал тот самый пистолет, из которого я стрелял в Эллину. Дама в наручниках по-прежнему выла. Я отодвинулся от ***.

Делать было нечего: ситуация требовала от меня смелого поступка; я резко выдохнул, как перед прыжком в бассейн, и поднялся – сначала на четвереньки, а потом, осмотревшись, и в полный рост.

Эллина лежала без движения. Натали по-прежнему всхлипывала и причитала.

- Что произошло? – спросил я.

Натали отвечала невразумительно. Она была в шоке.

Мне казалось, я был не в шоке: голова соображала быстро и ясно; только вот я никак не мог решить, что мне делать в принципе или хотя бы что необходимо предпринять в следующую минуту. Ни единой мысли по этому поводу.

Вот почему я опять твёрдым голосом и, вроде бы по делу, спросил:

- Что произошло?

С Натали началась истерика. Она буквально стала биться о паркет, и на этот раз мне показалось, что выложен он не так хорошо, как это должно быть в богатом доме.

Я решил начать с её чудесного освобождения.

Однако тут же отчего-то передумал: сообразил, что мне выгодно быть единоличным хозяином положения. Душу мою накрыла, как это ни прискорбно, – тень Германна, который представлялся мне не иначе, как высоким красавцем в широком чёрном плаще и шляпе. Честность писателя не позволила мне спутать это шершавое ощущение – материальность тени – ни с каким другим. Это несравненно хуже, нежели обнаружить в себе реликтовые следы ящерицы или волка, ибо неожиданное наличие тени ставило под сомнение моё гордое заявление – «Я прошёл испытание».

Но я не мог не протянуть руку вызванной к жизни тени – желание безопасно и гарантированно обогатиться, «составить счастье моей жизни», было сильнее меня.

И, что важнее всего, я, оказывается, в глубине души допускал эту великолепную в своей гнусности возможность – пожить в шкуре Германна, – хотя готов был поклясться, что во мне нет подлой черноты, что я выше и чище низменных страстей.

Я помимо воли просчитал (весьма хладнокровно, надо заметить) все выгоды положения (как, оказывается, делал это тогда, когда в качестве зрителя фильма участвовал в разборках на стороне разговорчивых подонков).

Во-первых, Сцилла и, хуже того, Харибда, была мертва – и руку к этому приложил беспомощно хрипящий бизнесмен. Она, судя по всему, смертельно ранила его. Одновременно прозвучали два выстрела. Ядовитые гады сожрали друг друга. Это хорошо.

Во-вторых...

В общем, я подошел к раскинувшейся в красивой позе Харибде (даже смерть была к лицу моей суровой подруге!) и нежно взял её за запястье. Пульса не было, как я и ожидал; однако я не опустил её руку, а навёл сжимаемый безжизненной кистью пистолет на ***.

Натали, увидев это, перестала плакать.

Раздался выстрел.

Я не помню, чтобы я хоть раз стрелял в своей жизни; однако контрольный выстрел удался на славу: пуля угодила точно в голову. В лоб. Прямо по центру. Как-то весьма симметрично, даже не обезобразив лицо усопшего; напротив, придав ему нечто отстранённо экзотическое, скорее всего – индийское.

Вот к чему приводит бесконечное насилие на экранах: мы, оказывается, и стрелять умеем, хотя никогда этому не учились специально. Визуальный опыт – это ведь и психологический опыт. Что ещё смещено и перевёрнуто с ног на голову в смущённых наших душах? Можно ли после этого верить себе?

Натали перестала плакать, глаза её прояснились, подобно небу (вот чудо!), – и это сильно облегчило мне то, что я про себя смутно назвал «в-третьих». Я подошёл к ней, устало присел рядом и произнёс голосом изрядно утомлённого путника, возможно, иностранца:

- После того, как эти подонки... как эти двое – что на них нашло, о, боже?! – пристрелили друг друга на наших глазах... Не соблаговолите ли вы стать моей женой?

Я заглянул в её глаза – и прочитал там, то, что и рассчитывал прочесть: она, не беря никого в свидетели, также решала для себя дилемму: допустить ли к душе своей тень Германна – или...

Что-то было у меня по этому поводу в моей статье. Но вот что именно?

Я вдруг почувствовал, что напрочь забыл содержание статьи, что оно необратимо утрачено и что писана работа моя другим человеком – не тем, который сидел рядом с прелестной женщиной и готовил им обоим ослепительное в своей уже почти реальности «в-четвёртых».

- Умоляю, не говорите мне «нет», - сказал я, наклоняясь над распростёртым телом ***; правая ладонь покойного также не желала расставаться с оружием. Я шевельнул пистолет – он будто прирос к коже (что я отметил с большим удовлетворением).

Натали внимательно следила за моими действиями.

- Так могу ли я рассчитывать? – смиренно произнёс я, не поднимая глаз.

- Вы просчитались, - был ответ.

Я поднял голову.

Раздался выстрел.

V

Лучшие романы рождаются из презрения к читателю, не способному их понять.

Натали сидела у себя в комнате, склонив голову над книгой. Опус был забавным, из нынешних новых романов.

Ведь просила же пышногрудую с атласной кожей подругу Лизу: дай мне почитать что-нибудь из современного, но чтобы для души, то есть такой роман, в котором не было бы мужского умничанья, грязного секса, тяжёлой женской судьбы, трагического конца, а была бы мягкая женская любовь (в идеале – лесбийская), волнующая мелодрама, плавно перетекающая в бесконечный хэппи-энд.

- Не знаю, есть ли такие романы, - отвечала подруга. – Да вот не хочешь ли книжку «Лёгкий мужской роман»? Мой нынешний спонсор держит её на столе у себя в кабинете. Иногда смеётся.

- Значит, там мужской шовинизм.

- С чего ты взяла?

- Мужчины смеются только тогда, когда удаётся унижить женщину.

- Прикольно. А рядом лежит «Для кого восходит Солнце?». Кажется, про любовь. Мне так показалось.

- Давай, тащи.

Книжка оказалась не про любовь, а про идеалы. Повстречала бы автора – выцарапала бы глаза. Какие-то выдумки про жизнь и про людей; читаешь – и чувствуешь себя полной идиоткой, да ещё и грязной гадиной, хотя он, вроде, и не оскорбляет женщин; скорее, пишет жуткую правду про мужчин.

И тут случайно выяснилось, что с автором этого романа крутит роман вторая няня нашего самородка, тупицы Павла. Зовут её Эллина. Имя претенциозное, но вместе с тем словно предназначенное для obsługi. Конечно, она тут же начала строить глаза моему ненаглядному муженьку, Жорику, г. ***. Думает, я этого не замечаю. А я о Жорике знаю всё – даже то, чего он сам не знает.

Конечно, придётся проучить эту выскочку (хотя фигура у неё ничего...) – подставить её так, чтобы на всю жизнь запомнила. Вот это будет роман. Месть украшает женщину, что бы там ни говорили, а умную женщину – вдвойне.

Самая страшная и эффективная месть – самая простая. До жути примитивная. Надо выставить её воровкой – выйдет дёшево и сердито. Ославлю на всю вселенную. Украдёт у меня, скажем, кольцо: я же вижу, как у неё блестят глаза при виде этих переливающихся камней. Вот я и подброшу ей «лучших друзей девушек» (которые, кстати, неплохо бы гармонировали с блеском её жадных глазниц).

Завтра Жорик укатит со своей Лялькой на уик-энд (пусть потешится – мне же меньше забот) – чем не шанс?

Попрошу её побыть «хозяйкой» на пару часов; как раз в это время кольцо исчезнет и найдётся в её сумочке (всё будет со свидетелями, само собой: охранник явится по специальному сигналу, не раньше). Жорик (он что-то сердит последнее время) разберётся быстро, Эллина это знает; поэтому станет умолять не выдавать её. Взамен я потребую доказательств неверности своего супруга (хотя и устного её признания будет – за глаза). И этот факт я также задокументирую. В результате в руках у меня окажутся и он, и она. В принципе, я уже хоть завтра могу требовать развода; а могу выждать ещё, когда он всерьёз распустит руки (спровоцировать его – раз плюнуть). Пара синяков – пара пустяков; но зато развод по самому выгодному сценарию для меня будет обеспечен.

Эллина, как и следовало ожидать, легко согласилась заменить хозяйку.

Однако эта девка переиграла Натали – потому что та не ожидала подобной прыти от няни. Они, словно подружки, по просьбе Натали поднялись в её спальню под женским предлогом – примерить кольцо под новое платье. «Простушка» Эллина сначала даже отнекивалась. А потом...

Потом разыгралась трагедия. Наручники, насилие, унижение (а у Эллины самым волнующим местом оказалась грудь, да, грудь!). Конечно, у Натали были свои козыри (например, пистолет, предусмотрительно положенный под подушку (до него, слава Богу, можно было дотянуться!), подслушивающее устройство); но в целом, надо признать, ситуацию контролировала Эллина.

Появление и поведение Гомера было приятной неожиданностью. Казалось, он ведёт себя так, будто герой его книги заглянул в её спальню. Но потом всё встало на свои места: мужчина, как и следовало ожидать, оказался типичным мужланом, умолявшим её любви под дулом пистолета...

Разумеется, она подыграла ему. Незнакомец, которому удивительно шло имя Гомер, наклонился над трупом мужа, давая понять, что у неё нет выхода: или она говорит «да, любимый» – или немедленно падёт от руки трупа-мужа, как он только что на её глазах был добит бездыханной интриганкой. Мёртвые убивают живых: это давно уже никого не удивляет.

Натали рассчитала всё до секунд. Услышав «так могу ли я рассчитывать?» она быстро сунула руку под подушку и вытащила оттуда дорогой револьвер, похожий на безобидную безделушку. Чтобы не добивать человека вторым выстрелом, чтобы не продлить его агонию, да и самой понапрасну не испытывать отрицательных эмоций – не подпускать к себе смертных страхов, она целилась прямо в голову; но Гомер неожиданно дернул головой и пуля попала ему в горло. Он захрипел и повалился.

Она легко отскочила от батареи на расстояние вытянутой руки и склонилась над ним.

Раздался выстрел.

VI

Воевать с женщиной бессмысленно: победа унижает мужчину, а поражение, естественно, не красит.

Тот, кого дамы называли Гомером, лежал на паркете (всё же надо отдать должное: паркетные рейки были подогнаны одна к другой накрепко, и даже не шевельнулись, приняв тело) рядом с ***. Рука Гомера накрыла руку ***, и со стороны могло казаться, что мужчины лежат на спинах, взявшись за руки, и рассматривают потолок, заслоняющий им небо.

Гомер улыбался: в его памяти мгновенно всплыли строки, казалось бы, забытой напроць статьи. Он писал: «Однако миропорядок не пожелал выкраиваться по лекалам Гермманна. Фортуна, как бы исчезнув, вскоре капризно объявилась. Она почему-то решила примерно наказать не только «нетвёрдых» игроков-шалопаетов, но и «не мота» с суровой душой. Именно провидение, в конечном счёте, заставило самоуверенного Гермманна «обдёрнуться» и всучило ему чёрную метку недоброжелательности – пиковую даму вместо вожелённого туза. Или это было дело случая?»

Над ним склонилось лицо прекрасной незнакомки – Натали, женщины, с которой он познакомился совсем недавно, но знал её целую вечность, ибо искал её всю жизнь. И вот – нашёл.

- Зачем вы стреляли в меня? – спросил он, стараясь не обидеть её своим вопросом.

- Как зачем? Вы ведь решили действовать, как мой муж, г. ***. Вы сделали меня своей сообщницей. Вы решили действовать с позиции силы и запугать меня. Вы не оставили мне выбора. Вы же варвар. Вы – чудовище.

- С чего вы взяли? – хитро прищурился он.

- Вы хотите сказать, я не права?

Она улыбнулась – и подмигнула ему. Гомер готов был поклясться, что сделала она это с намерением и будучи в курсе всех его непростых отношений с «Пиковой дамой».

- Хорошо, давайте начистоту. У нас были бы деньги, я чувствую, что готов полюбить вас. Что помешало бы нам быть счастливыми?

- Вы знаете, что: именно то, о чём вы писали. Помните? «Чудовище – это слишком простая формула героя для позднего Пушкина. Иначе сказать, «чудовище» Германн заслужил не потому, что в нём совсем нет ничего человеческого, душевного, а потому, что его «расчёты» дьявольски размывали незримые, но определённые грани между добром и злом. Наш герой и справедлив, и честен, и принципиален на свой прагматический лад. Меньше всего он напоминает опереточного злодея с чёрной душой. В том-то и дело, что всё дальнейшее оказалось возможным вследствие того, что мастерский расчёт в сочетании с пылким (нездоровым?) воображением резко усложнил картину простой и грубой реальности, придав ей черты таинственной бесплотности, что позволило довершить нравственный портрет героя. Собственно, усложнение реальности означало всё то же магическое стирание отчётливых пределов между миром тем и этим, сном и явью, иррациональным бредом и расчётом. Незаметно для себя серьёзный Германн втянулся в игру, где он давно уже был *de facto* вне морали, продолжая мерить действия свои мерками графини, Томского, Лизаветы...»

Такие, как я, и такие, как вы, не могут быть счастливы. Мы выбрали деньги. Мы заигрались. Только варвары могут играть в жизнь.

- Но я не играл! - возопил Гомер, тщеславно возомнивший себя Одиссеем.

- Получается, что играл. Жорика ведь убил? Убил. Значит, играл.

- Но ведь он был сволочь. Взамен я хотел получить любовь и счастье. Разве это не благородные желания?

- Убьёшь сволочь – сам станешь сволочью. А любовь и счастье строятся не на крови.

- Откуда ты всё это знаешь? Ты угадываешь мои тайные мысли? Мне хочется пригласить тебя на мазурку.

- Откуда я знаю, что человек вовсе не так плох, как на себя наговаривает, но отнюдь не так хорош, как он себе воображает? – спросила «Лиза» (лиса, лиса!). – *Я не могу позволить себе роскошь жить иллюзиями в надежде заколдовать и изменить реальность.*

Она склонилась над теряющим сознание Гомером. Лицо её показалось до боли знакомым: это была сама омолодившаяся Пиковая дама, подмигивающая ему беспрерывно – так, словно лицо её перекошил нервный тик.

Раздался выстрел.

VII

Шутливый тон – не просто уместен, но даже наиболее адекватен для передачи исключительно серьезного философского содержания.

У ворот особняка стояли три кареты скорой помощи, то есть три белых микроавтобуса «Фольксваген», с разных сторон перечёркнутые кроваво-красными крестами.

- Заходите, пожалуйста, в дом, - настойчиво приглашал изрядно перепуганный охранник (он всё ждал условного знака от строгой хозяйки, но так и не дождался; а когда началась стрельба, он панически покинул пост и, благоразумно выждав несколько минут в подсобке, в соответствии с инструкцией позвонил в правоохранительные органы и вызвал «скорую»). – Там три трупа и один ещё живой. Какой-то мужчина.

- Никуда я не пойду, - хладнокровно парировал, очевидно, главный врач прибывшей бригады. Его полное лицо было в пшеничных подусниках, и флегма очень шла к его мягким чертам. – Сначала пусть осмотрит дом милиция. Моя милиция меня стережёт и бережёт от глупостей. Разве нет?

- Милиция будет с минуты на минуту, а там человек умирает, - уже гораздо спокойнее и миролюбивее сказал охранник с кобурой на боку.

- Никуда я не пойду, - продолжал тянуть своё главный. – Мне что, больше всех платят, что ли? Мне что, заплатят за нарушение инструкции?

Охранник между тем успокоился окончательно: он предупредил всех своевременно (несколько проведённых в страхе за свою жизнь минут не в счёт, это недоказуемо), он тоже выполнил ту работу, за которую ему платят, а там – как себе хотят. На то они и власти. И боссы.

Когда к Гомеру, убившему Натали из пистолета, зажатого в руке Жорика, вновь вернулось сознание, он ожидал увидеть продырявленное лицо пикантной старухи.

Но на сей раз над ним склонился усатый туз в белом халате. Врач?

«Истекает кровью», - услышал он неторопливый вердикт и прикрыл глаза. Неужели это о нём? Как можно истекать кровью и испытывать неземное блаженство?

Как всё перепутано на белом свете. Мы столько ещё о себе не знаем. Да и узнаем ли когда-нибудь правду, которую страшимся знать?

Впрочем, он нимало не удивился бы, если бы вдруг открылось, что над ним колдует ласковый персонал с того света. Кто бы то ни был, эта говорливая толпа мешала ему дочитывать заключительные строки, которые он воспринимал то ли как завещание, то ли как напутствие. Свой же собственный текст он читал так, будто видел его впервые, и сквозь строки проступал сокровенный смысл, который он, вроде бы, в работу и не вкладывал. Уж не сошёл ли он с ума?

«А вот Германн сошёл с ума. Причём он как-то так слишком буквально, «по-немецки» сошёл с ума, что, будучи сумасшедшим, производит впечатление слегка просчитавшегося, обдёрнувшегося. Сошёл с ума –

значит, ошибся, недоучёл, не додумал. Ошибка, сбой в механизме подменили «туз» «дамой». Ещё чуть-чуть – и дама «сощурилась» бы самой фортуны. Вера в то, что всё могло быть иначе, нежели случилось, и есть сумасшествие.

Сумасшествие Германна – это и метафора, и приговор одновременно.

Несмотря на вполне оптимистическое, «доброжелательное» «заключение» – всё вернулось на круги своя и пошло своим чередом – странная повесть, пиковое достижение пушкинской прозы, оставляет двойственное впечатление: с одной стороны, Германн закономерно сошёл с ума; а с другой стороны, причина, по которой он оказался во вполне реальной «Обуховской больнице в 17-м номере», – деньги, страсти и расчёт – никуда не исчезли из того мира, где нашли своё счастье Томский и Лизавета Ивановна. Женихи, «молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии», всё так же мало обращают внимания на хорошеньких и мечтательных бесприданниц, предпочитая им «наглых и холодных невест» в расчёте, конечно, на солидное приданое, на капитал (наглость, заметим, в свою очередь есть проявление расчёта: невесты также небезразличны к перспективам урвать свой куш, свой капитал, они нагло держатся именно с незавидными женихами).

Кто знает, не кружится ли среди них в мазурке новый пылкий инженер?

Вспоминаются, опять же, леденящие душу свидетельства из частной переписки.

Всё вернулось на круги своя?

Тень Германна (которого надобно увидеть как воплощённую гением Пушкина зловещую тень жизни и Человека) продолжала и продолжает витать над русской жизнью и литературой.

Вообще над жизнью и литературой».

В то время, когда его быстро несли на носилках к одной из машин (всех нас, живых, к счастью, подгоняет страх смерти), Гомер мог бы увидеть пронзительно чистое голубоватое небо.

Оно было пугающе мирным.

Начато 21.09.2009 – закончено 23.10.2009, Минск

ВСЕЛЕННАЯ НЕ МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАЛИ

1

Он ворочался один в двуспальной теплой постели и никак не мог уснуть.

Ему чудилась пугающая своей безмерностью черная вселенная, униженная рождественской россыпью сверкающих звезд, испускающих холодный режущий блеск. Черное, озаренное холодным блеском, становилось идеально черным. Эта бездна завораживала и не отпускала. Иногда на этом стерильном, торжественно-трагическом фоне возникал живой силуэт рыжей неухоженной лисы, крадущейся на трех лапках, и пропадал в созвездии Девы.

Среди бесчисленного количества звезд он легко находил те, которые лучились светом ее глаз. Он сразу представлял ее улыбку, пухлую нижнюю губку и тонюсенькую влажную полоску между губ, нежно мерцающую алмазными оттенками Млечного пути.

Вселенная улыбалась.

Странно. Все самые эффектные фокусы макияжа женщины, прилежные кокетки, подсмотрели у чопорной вселенной. Всматриваться в лицо любимой – все равно что изучать вселенную.

Наконец, он уснул – и ему снилось, как он и она путешествовали по вселенной, наслаждаясь отсутствием времени и пространства и присутствием какого-то медоточивого, но неосязаемого, эфира. Проще сказать, им было хорошо оттого, что они были вдвоем, и им никто не мешал. Конечность и обозримость вещей исчезли, и воплотилась мечта людей: они, бессмертные, попали в бесконечность.

Вот только жалко было со всем этим расставаться. А что-то подсказывало, что попали они в бесконечность ненадолго.

2

Кто же начинает повествование с середины?

Это возможно лишь в том случае, если сам не знаешь, где начало, где конец и в какой стороне глубина. Во всяком случае, приличия требуют вначале представить героя, чем мы незамедлительно и займемся. Это и будет нашим условным началом. Потому что никто в мире не знает, когда действительно началась и чем на самом деле закончится эта вселенская история.

Итак, звали нашего героя Герман. Строго говоря, Герман Алексеевич. И если на то пошло – Титов. Ничего поэтического. За исключением разве что того обстоятельства, что младенца нарекли суровым именем в честь космонавта. Была такая мода: называть детей в честь первопроходцев космоса и тем самым если не наделять их исключительными достоинствами героев, то приобщать их к сонму людей необычных. Икон не было, были космонавты.

В остальном же Герман Алексеевич был человеком, на первый взгляд, обычным. Таких людей – море разлитое, и у каждого из них уникальное

хобби, делающее их похожими один на другого до неразличимости. У одного собака немислимой енотовидной породы, у другого – кот с сиреневым окрасом, практически северное сияние, Бегемот, естественно; у третьего марка с изображением Георга 17 (таких в мире три, остальные сгорели), который, ежели присмотреться, подозрительно напоминает Александра Македонского. На двух других марках Георг, скорее, похож на Нерона. Огрехи полиграфии.

Одиночество толкает к изысканным развлечениям: хочется выделиться, хочется, чтобы тебя заметили. А когда на тебя обратят внимание – хочется забросить свое увлечение к чертовой бабушке.

Вот и у Германа Алексеевича сначала был пес Барбос, потом кот Васька, потом редкие книги. Потом лыжи. Нет, сначала лыжи, а затем книги.

Нет, сначала у него была жена (опять мы нетвердо ощущаем концы начала). Потом она от него ушла – к человеку, у которого как раз и была марка с величественным портретом Георга, смахивающего на Александра. Георг, кстати сказать, держал на поводке породистого дога. Долматинца. Дорогая марка.

Жена ушла, а сына оставила. Герман Алексеевич с увлечением и грустью воспитывал сына Егора. В их суровом и рациональном мужском мире женщинам молчаливо отводилась смутно-важная, не вполне ясная, но несомненно сакральная роль: дама в длинном облегающем платье занимала место на возвышении, однако взамен плоти и внятных контуров глаза мужчины слепила сияющая пустота.

Егор, когда подрос, пылливо поглядывал на отца; тот отводил глаза. Ему нечего было сказать сыну.

Два года тому назад Егор женился, судя по всему, удачно, хотя и по любви, а Герман Алексеевич забросил все свои увлечения, которые дисциплинировали характер, укрепляли любознательность, будоражили здоровое любопытство (все это, собственно, объединяло интересы отца и сына и счастливо заменяло процесс воспитания), разгоняли скуку и вообще держали в тонусе (ведь увлечения – это не «фантики презренные», как представляется любителям от хобби; профессионалы в области увлечений знают, что «проекты», занимающие ваше свободное время, и формируют настоящего образ жизни; скажи мне, чем ты увлекаешься – и я скажу, что ты пытаешься скрыть в жизни от себя самого), и поддался какой-то слабости, наличие которой он скрывал даже от самого близкого человека, от Егора. Сын, плоть от плоти Германа Алексеевича, как и положено, последнее время все больше и больше жил своей жизнью. Отдалялся, расширяя пространство человеческой вселенной. Так заведено каким-то незыблемым порядком. И если ты желаешь добра своему сыну – помоги ему стать независимым от тебя. Потом он вернется к тебе, и вы, увы, поменяетесь ролями: сын будет учить отца жить. А ты, отец, будешь отдаляться от сына, все дальше и дальше, пока не обретишь покой в каких-то неизведанных уголках вселенной...

Да, поддался слабости... Герман Алексеевич вопреки логике и здравому смыслу увлекся странной загадкой: его заинтересовало, как устроена вселенная, точнее, как устроена бесконечность, заполняющая вселенную. Причем, не математический или какой-нибудь физический аспект бесконечности его волновал, а философский. Модель бесконечности – вот что не давало ему покоя. Ведь на миллиарды километров промеряли вселенную – и конца краю не видать. Ну, еще миллиарды. Это мы вообразим, не проблема. Потом еще. А дальше? Бесконечность в буквальном смысле? А ведь, законы, похоже, везде одни и те же. И законы помогают объять необъятное. Это их, законов, обязанность.

Вопреки всем доводам рассудка, Герман Алексеевич чувствовал, что рожден для разрешения этой загадки, приличной разве для эпохи тридевятых царств. Как бы это сказать, чтобы попроще, без пафоса и без мистики... (Тут ловишь себя на мысли, что больше всего боишься показаться сумасшедшим, и опасаясь того, не сумасшедший ли ты в самом деле.) Чувства и мысли другого человека вообще выражать одна мороза, а тут еще, как на грех, нетривиальные. Ну, да ладно, попробуем.

Он чувствовал, что весь его жизненный опыт, сугубо приватный и, казалось бы, не имеющий к загадке никакого отношения, порожден был именно порядком вещей, черпающим свою логику в бесконечном, и, в свою очередь, мог помочь разобраться в загадке. Герман Алексеевич чувствовал, что бесконечность и человек как-то связаны друг с другом. Поймешь одно – разберешься в другом. В бесконечность надо входить через человека. Не через Бога. Другим путем.

В человеке есть все, в нем существуют, соприкасаются и пересекаются множество вселенных. И все они умещаются в одной точке. Как это происходит? Наблюдая за развитием сына, Герман убедился, что бесконечность человека сводима к какому-то конечному пункту. Огромный дуб вырастает из маленького желудя.

Иди скажи об этом сыну – и получишь в ответ внимательный прохладный взгляд, такой же, как и у его матери. Бывало, заговорит в молодости влюбленный Герман о неземной любви – и напорется на копыеносный взор сестры милосердия в доме скорби, где из жалости принято добивать безнадежно больных. Егор как-то счастливо повзрослел быстрее своего папаши. Собственно, генетически сыну положено быть старше своего отца, мальчик является отцом мужчины (вот она, путаница из области бесконечного).

Но путь к бесконечности оказался еще более непредсказуемым, чем это представлялось Герману Алексеевичу.

3

Дни стояли серые, унылые, похожие друг на друга словно близнецы. Самые короткие дни в году, тусклыми просветами разделяющие самые длинные ночи. Одна отрада – близился неизбежный Новый год. И здесь у

Германа Алексеевича был свой интерес: он родился ровно в полночь, с 31 декабря на 1 января. Ему исполнилось сорок девять лет.

Нашему герою не то чтобы нравилось стареть, стыдливо прожигая остатки бесполезной жизни, или любоваться на украшенные радужными шарами елки; стыдно сказать, но он по-прежнему ощущал Новый год как время исполнения желаний. У него, сколько он себя помнил, замирало сердце, беспричинно улучшалось настроение, появлялся блеск в глазах, и в течение двух недель до Нового года, а также неделю после, он испытывал состояние, которое точнее всего описывается старомодным словосочетанием «именины сердца».

Вот так счастливо устроен был Герман Алексеевич.

Нельзя не сказать и еще об одной его особенности. Обычно люди пожилого возраста говорят: жизнь пролетела как одно мгновение. Молодые не замечают течения времени, а люди в возрасте только разводят руками: «Не успеешь оглянуться – как жизнь пролетела». Герман Алексеевич, отдадим ему должное, уже в ранней юности остро ощущал предательский, неостановимый полет времени. Он физически чувствовал метеоритную судьбу минут, начиненных спорадическими вспышками секунд: феерический всплеск пламени в темноте, бег огня по дуге-цепочке, еще, еще – для того, чтобы рассеяться мелкими искрами в сгустившейся тьме и погаснуть навеки. Каждый день он умел наполнять событиями, творил их, и никогда не откладывал на завтра важных дел. Это можно было бы назвать даром, если бы от него был хоть какой-нибудь прок. А так – никому от этого ни жарко, ни холодно. Герман Алексеевич, повторим, не был человеком историческим. Он был, скорее, обычным. Не без слабостей.

И вот еще тому неоспоримое свидетельство: он любил мечтать, умел мечтать и делал это со вкусом и обреченностью. Разве люди серьезные, деловые и запрограммированные на результат умеют мечтать? Нет, они в силу того, что существуют в режиме «суета сует», счастливо избавлены от этого недостатка. А он был мастер мечты. Конечно же, он мечтал о том, чего лишен в жизни. В мечтах он всегда крепко держал за руку женщину в облегающем платье.

Иногда его мечты сбывались в снах. Счастьем назвать это было неловко, но на следующий день у Германа Алексеевича все ладилось особенно удачно. Именно в такие дни он чаще обычного ловил на себе заинтересованные взгляды блекнувших тридцатилетних женщин и спешил примерять к их полнеющим фигурам облегающие платья. Некоторым, казалось, оно было к лицу. Но платье по-прежнему оставалось без хозяйки.

И вот опять близился Новый год, у него замирало сердце, и мечты выстраивались в ряд. В такие ночи сны бывали особенно сладкими.

Наконец, следует сказать еще об одной отличительной черте нашего обычного героя, прежде чем мы перейдем к его действительно необычной профессии, делающей героя не таким уж и обычным. Одиноким женщинам с детьми категорически не подходило облегающее платье из его грез. Оно им жало со всех сторон. Это трудно объяснить. Нельзя сказать, что Герман

Алексеевич не любил детей. Он ведь обожал сына. И отдал ему все сердце. Именно поэтому он не был способен на любовь к другим, чужим, детям. А обманывать их было невозможно. И стыдно. Это Герман Алексеевич знал по собственному сыну. Он был лишен дара любить чужих детей как своих.

Подруги Германа Алексеевича (чем меньше в жизни любви, тем больше подруг) печальными глазами провожали спину мужчины, который умел готовить, как шеф-повар, и разбирался в тонкостях женского туалета на уровне кутюрье. Это было так необычно. После его ухода в вазах грустили цветы, а в глазах благодарных женщин (чаще всего это были брошенные, недооцененные мужьями жены) переливались и мерцали в полумраке слезы. Женщины чувствовали себя рядом с Германом именно женщинами, самым роковым образом неподходящими этому удивительному, желанному мужчине. Да, отметим также, что дети подруг всегда получали в подарок любимые игрушки. Всегда. Не просто машинки и куклы. У машинок открывались боковые дверки и багажник, как это и виделось живому детскому воображению, а у куклы платье было завязано непременно розовым бантом. Или желтым. По желанию.

Герман Алексеевич трепетно относился к детской принципиальности и никогда не путал ее с капризами.

Никогда.

4

Жена сына, Елизавета, мечтала о платье, в котором она нравилась бы самой себе и которое способно было в очередной раз свести мужа с ума. Вот такое новогоднее пожелание. Проблема была только в одном: она представления не имела, каким должно было быть это злосчастное великолепное платье. Зато она знала вкус Германа Алексеевича, а также его способность разглядеть уникальное в, казалось бы, заурядном, яркое в неброском. А также его ненавязчивую услужливость по отношению к молодым. Свекор с удовольствием Деда Мороза откликнулся на конкретную просьбу «присмотреть что-нибудь этакое, ну, вы понимаете». Накануне своего дня рождения лучшим подарком ему самому было настроение в семье сына.

Итак, дни стояли унылые, однако именины сердца никто не отменял.

Герман Титов пошел бродить по магазинам, точнее, вдоль боксов-бутиков, расположенных под крышей большого Дома мод. Одного взгляда на витрину ему было достаточно, чтобы оценить жалкое великолепие модных силуэтов. Все это было не то. Не было необходимой потрясающей простоты, чистоты линий, «заказывающих» платье оттенок цвета, – и волшебно переходящих в элегантность. Чего греха таить: не платье украшает женщину, нет, не платье; оно может только подчеркнуть выражение глаз. В этом вся тонкость и философия одежды. Возьмите платье очаровательной феи, отдайте его злобной кухарке – и оно превратится в тряпку с блестками.

Он хотел подобрать Лизе такое платье, которое тактично показало бы ей, что дело не в платье. Возможно, наряд подсказал бы простоватой снохе

выражение глаз, за которым стоит движение сердца. Глаза должны блеснуть. И платье подбирается под блеск глаз. В этом все дело: нет самоотверженных движений сердца – и все начинают рассматривать платье, которое безжизненно виснет на безупречной фигуре. Дама, не нашедшая себя, превращается в вешалку. Карета – в тыкву.

Герман Алексеевич понимал свою ответственность: если подобрать правильное платье, можно изменить человека.

Бокс с космическим антуражем он приметил издалека. Уже метров за сто ему показалось, что там может находиться нечто, достойное внимания. Сначала он увидел идеальную линию платья и только потом понял, что оно облегает талию девушки – то есть женщины из его снов. Его женщины. Причем он только сейчас понял, что девушка была молодая, возраста его сына. Это было совершенно неожиданно, и к этому он не был готов. Из какого-то чувства такта он смутно представлял себе зрелую женщину, сопоставимую с ним по возрасту. А тут вместо сияющей пустоты на него смотрело хорошенькое личико и широко раскрытые глаза. Ему захотелось крепко взять ее за руку. Но он поступил иначе: он жестом дизайнера, обхаживающего клиента, поправил стоечку бархатного жакета. Да, да, это было не платье, а жакет с юбкой. Кокетливый штрих был явно к лицу девушки; возможно, он даже выражал ее натуру. Нет, не выражал. Дополнял. Нет, не дополнял. С чем-то гармонировал.

Ее глаза блеснули. Весь ансамбль: юбка, топ и жакет делал ее старше, чем она была на самом деле, однако придавал ей сдержанной шляхетности.

Он чувствовал, что она ощущает его несколько нескромный, изучающий взгляд на себе, но не избегает его, а, напротив, как бы кутается в него. Даже если он тактично отводил глаза, все равно не терял ее из поля зрения. Ее движения вмиг стали обворожительно расслабленными, и хозяйка бокс-салона (давно положившая глаз на Германа Алексеевича, которого она приняла за папашу этой девицы) ахнула:

- Это ваша модель! Не правда ли, мужчина? Ваша дочь будет неподражаема.

- Она мне не дочь, - сказал Герман Алексеевич и обратился к девушке:

- Примерьте вот это платье. В нем вы будете ослепительно юной.

Глаза ее вновь блеснули мгновенно сгоревшей и рассеявшейся в прах кометой. Между ними сразу и устойчиво образовалась какая-то связь.

- Я его только что примеряла. Оно мне безумно идет. И я просто в растерянности: не знаю, что выбрать.

- Это очень просто. Вы можете представить себя рядом со мной в этом платье? Нам обоим было бы неловко. Вы бы невыгодно для меня подчеркивали мой возраст. А в юбке и жакете вы становитесь женщиной на все времена. Вы понимаете, о чем я? Все зависит от того, какой спутник будет рядом с вами. А это зависит от того, что собираетесь делать вы: очаровывать или соблазнять.

- Я беру этот комплект, - сказала девушка, быстро взглянув на Германа Николаевича. Он едва заметно кивнул, выразив одобрение.

- Есть ли у вас еще такая модель?

Вопрос Германа Алексеевича был обращен к хозяйке.

- Не совсем такая, но что-то похожее можно подобрать.

- Хорошо. Я приду к вам со своей снохой. Мне кажется, это то, что ей надо.

- Приходите. Буду вас ждать. Давно я не видела таких уверенных в себе мужчин, которые знают, чего они хотят. И с таким удивительным вкусом. Вы ни разу не ошиблись. Вашей жене повезло.

- У меня нет жены. А по поводу уверенности... Я себе уже все доказал. Мне нет смысла доказывать кому-то, как я в себе уверен. К сожалению, я знаю, чего хочу. Не сказал бы, что это делает жизнь легче, но по-другому, наверно, не бывает. А вы очень внимательны... Кому повезло – так это вашему мужу.

- Вы говорите простые вещи, и при этом от вас веет силой и умом. А вот у меня муж – слабак. И в этом я виню себя. Надо было сделать его таким, как вы. У меня не получилось. Женщина виновата в том, что не сумела воспитать достойного мужа, не так ли?

- Попробуй рядом с вами проявить силу. Вы ведь не потерпите лидера вблизи себя. Вам в пару, для равновесия, необходим не очень сильный мужчина. Поймите меня правильно.

- Жизнь заставила меня быть сильной. А я бы с удовольствием была слабой, с удовольствием!

- Вряд ли все зависит от воспитания или от обстоятельств. Сильным или слабым надо еще родиться. Это судьба, что ли.

Краем глаза Герман Алексеевич отмечал, что девушка внимательно прислушивается к разговору и не торопится уходить, забрав упакованный сверток.

- А вам нравятся такие женщины, как я? – как бы бескорыстно поинтересовалась хозяйка бокса, мечтая накануне Нового года отразиться в чудесном зеркале.

- Вчера были модны жены модельной внешности с параметрами, не имеющими отношения к женственности, позавчера – на голову выше мужа, пару веков назад – милые толстушки; сегодня модно иметь жену-феминистку, чем-то похожую на вас. Состоящую из острых углов, украшенных шипами. Прелестными. Мне же нравятся женщины на все времена. В вас есть что-то от моей мечты.

- Это какие-то на все времена?

- Да я и сам толком не знаю. До скорого свидания.

- До свидания. Вы умны – вот что мне нравится в вас. Давно я не встречала такого умного мужчину... Просто – умного... Все тебе что-то доказывают, доказывают. Слабаки.

Они, не сговариваясь, пошли с девушкой нога в ногу, в такт колебаниям душевным, объединяемые еще и магией ритма. И только у выхода из Дома мод оба почувствовали неловкость. Он поблагодарил ее за то, что, пусть и невольно, помогла ему выбрать наряд для Лизы; она поблагодарила его за то,

что помог ей определиться. Она была уже в отчаянии. Послезавтра Новый год...

Не за что. Есть за что, спасибо. Спасибо и вам. Удачи.

Вот и все, что могло связывать приличных и таких разных людей, встретившихся случайно накануне Нового года. Непреодолимая сила, которую принято считать судьбой, дала возможность им взглянуть друг на друга, чтобы затем хладнокровно развести в разные стороны. Ну, что ж...

- До свидания.

- До свидания.

5

Сын со своей женой Лизой так и не попали на грандиозный Новогодний Бал, который был организован во Дворце Республики. С таким трудом были приобретены пригласительные билеты – и вот на тебе...

Не судьба.

У невестки в самый последний момент поднялась температура. Буквально ни с того ни с сего. Возможно, это было как-то связано с желанием Лизы иметь детей, точнее, с процедурами, помогающими осуществить эту желанную мечту. Ничто не предвещало нездоровья, поэтому было тем более обидно. Лиза снимала платье, в которое она успела влюбиться, и вытирала им слезы. Она была сломлена несчастьем: отменялся не просто выход в свет, отменялось торжество, смазывалось завершение года, неудачно начинался год следующий, в котором должен был появиться их малыш. Все это были плохие знаки. А им так необходимы были удача, везение, счастливое стечение обстоятельств. А тут...

Не получалось легкой жизни.

Егор был болтлив и перевозбужден: он носился вокруг Лизы с аспирином в одной руке и шампанским в другой. Билеты были небрежно, в суете всучены Герману Алексеевичу. При желании их можно было считать Новогодним подарком или подарком на день рождения. Лучше и тем, и другим. Разумеется, Герман должен был взять с собой Нину, зрелую женщину, отношения с которой, ровные, без всплесков и провалов, слегка удручающие своей стабильностью, длились уже два года. Нет, кажется, три. Возможно, этот Бал сблизил бы их как-то особенно. О браке с такой воспитанной красавицей, как Нина, мечтали бы многие мужчины. Это была свежая женщина, с крупноватой фигурой, черными густыми бровями и массой положительных достоинств, неуловимо проявлявшихся в ее честном облике.

Но у Нины внезапно заболела мать (прыгнуло давление). Позволить себе оставить мать одну, у телевизора, у которого та проводила круглые сутки, и поехать веселиться Нина не могла. Она была чутка к несчастьям близких. Это тронуло Титова, однако, поддавшись порыву, определявшему настроение и состояние души («именины сердца»!), он решил потряхнуть стариной.

Титов, тактично выразив соболезнование всем нездоровым, эгоистически отправился на Бал один. Практически с чистой совестью.

Его переполняло состояние ожидания чего-то великолепного, хотя никто ничего ему не обещал. На душе было празднично, и он готов был дарить и принимать в подарок праздник. Он не сразу сообразил, что его окружают, в основном, молодые и счастливые лица. У праздника было молодое, беспечное и полное радостных предчувствий лицо.

Он совершенно не удивился, когда встретил в толпе девушку, которой помог выбрать платье, то есть костюм, неважно. Он улыбнулся ей и легко пригласил ее на танец. «Какое изумительное на вас платье! Волшебный бордовый оттенок... Вы в нем напоминаете комету, летящую к счастью. Ваш вкус делает вам честь». «Его помог мне выбрать один потрясающий джентльмен. Я ему очень благодарна». «Он вас до сих пор помнит». «И его не сразу забудешь...»

Они говорили какой-то милый вздор и смеялись. И сам танец был так себе, ничего особенного. Только потом до него дошло: она чутко реагировала на малейшее движение с его стороны. Сначала подстраивалась под его шаг, а под конец уже угадывала его незатейливые маневры. Он вел ее уверенно, но без напряжения. Удивительно в такт со своим порхающим мироощущением. Они быстро стали парой. «Хорошая будет жена: умеет подстраиваться под интересы другого, сразу же признавая законность этих интересов», - привычно отметил он.

В ее присутствии ему не просто хотелось блеснуть, ему это как-то легко удавалось. Он решил, что в их распоряжении всего лишь несколько минут, и уже раза два заставил ее рассмеяться тихим малиновым колокольчиком. Она смеялась так, словно не могла сдержать смеха. Смешить ее было приятно.

- Где ваш кавалер? - спросил он, невольно озираясь в поисках статного молодого человека, спешащего услышать ее смех.

- Он заболел. В последнюю минуту.

- Температура, давление?

- Нет. Зуб. Кстати, у него фамилия – Зуб, - сказала она и засмеялась необходимо для того, у кого болел зуб. – Наверно, ему на роду написано.

- Вы здесь одна?

- Я думала, что уже не одна.

- Вы не только легко оставляете мужчин, но и находите их. Вы опасны.

- Нет, я не опасна. Я очень верна и преданна.

- Как же вы бросили бедного молодого человека... кстати, как его зовут?

- Женя.

- Как вы могли бросить Женю одного под Новый год?

- Я не бросала его. Но Женя такой зануда и капризуля, когда заболел, что рядом с ним вянут все мои цветы. А сейчас даже елка в комнате потускнела, и с нее стали осыпаться иголки. Впрочем, все больные мужчины похожи друг на друга. Нет?

- Это точно. А я еще и злюсь вдобавок – оттого, что рядом нет никого виноватого. Я ведь живу один. Становлюсь похож на верблюжью колючку.

- А почему вы живете один? У вас скверный характер?
- Нет, не думаю. Я большой мечтатель, а у мечтателей проблемы с идеалами и со спутницами жизни... Хотите шампанского? У меня скоро день рождения, можем отметить.
- Давайте отметим. Сколько вам исполняется лет?
- У верблюжьей колючки не бывает возраста.
- Да, она вечнозеленая. А у мечтателя?
- Для мечтателя, я, конечно, староват. Ровно в полночь мне исполнится сорок девять.
- Ровно в полночь? Какая прелесть. А мне недавно исполнился двадцать один год.
- Вы повзрослели на год, а я постарел. Улавливаете разницу?
- Я хочу шампанского. Сейчас мы с вами помолодеем.
- Я боюсь отойти от тебя, я же тебя потеряю, - сказал Титов, не отдавая себе отчета, что слова его звучат несколько двусмысленно. Громко играла музыка, приходилось повышать голос, почти кричать.
- Девушка засмеялась, и глаза ее вновь блеснули.
- Я буду ждать вас около елки.
- Как тебя зовут?
- Ева.
- Ева? – он округлил глаза. – Женщина на все времена?
- Да, - она опять засмеялась. – Вполне обычное имя. А фамилия моя Круглова.
- Углова?
- Нет, Круглова.
- Жестами рук она изобразила большое яблоко. Похожее на сердце. Или на Землю.
- Ева Круглова... А меня зовут Герман Титов.
- Она махнула рукой и рассмеялась так, словно сдерживаться больше не было никаких сил.
- Жаль, что не Юрий Гагарин.
- Я не шучу: Герман Алексеевич Титов. В честь второго космонавта. Первого знает весь мир, а вот второго... А ведь могло быть все наоборот: Титов вместо Гагарина, и сейчас бы ты разговаривала с человеком-символом. Не судьба. Ты веришь в судьбу?
- Пока не знаю. Пытаюсь верить в свои слабые силы. Идите за шампанским, космонавт. Я хотела сказать, мечтатель.
- Уже лечу! Хотя Еву принято соблазнять яблоком.
- Это потому, что раньше шампанского не было. А мы обойдемся конфетами. Я люблю конфеты. Вы заметили на столах конфеты? Возьмите побольше. Я люблю с вафелькой...
- Титова всегда изумляла практичность женщин. Сейчас же она его просто умилила. На столах действительно были конфеты – в низеньких вазочках. Шампанское лилось рекой. Он набил карманы конфетами, прихватил два

высоких узких бокала и стал прокладывать себе путь к елке, увенчанной массивной радужной звездой, к той точке пространства, где ждала его Ева.

Но он не сразу подошел к ней, а остановился в стороне и стал ее разглядывать. Потом закрыл глаза и попытался отделить образ девушки от облегающего костюма. Но у него ничего не получилось: сияющие глаза и облегающие линии не жили отдельно.

Он улыбнулся и покачал головой: девушка была, конечно, необычайно хороша. Но уж очень молода. Даже для мечты.

Потом, уже в апреле, он припоминал, что никогда не был так счастлив, как в эти короткие суетливые минуты. Суета ведь бывает разной.

Следующий танец они уже танцевали как старые приятели. Он балагурил, принимая, согласно неписаным правилам, возрастную роль покровителя и всезнайки, она легкомысленно смеялась. Дяденька и девочка. В рамках этих ролей им было комфортно. Их разделяла такая пропасть, что они не боялись сближаться. Казалось, судьба развела их берега надежно и навсегда. Но когда пришла пора прощаться, практичность проявил Герман.

- Мы ведь еще увидимся с вами?

- Даже не сомневаюсь. Нас с вами сводит судьба.

- Э-э, нет, мы не будем полагаться на слепую судьбу. На зубы и давление наших ближних. Дай им Бог здоровья. Телефончик пожалуйста.

- Зачем, Герман Алексеевич?

- Ева, боюсь, я буду тебя соблазнять.

- Ах, не утруждайте себя: я на все согласна.

И смеялась так, будто не слышала в своей жизни ничего смешнее.

- Кстати, по поводу яблок... Знаешь, на что они похожи? – Герман задержал ее руку в своей.

- Они похожи на все.

- Верно, это мне как-то не приходило в голову. Которая похожа на яблоко. А еще они похожи на звезды: такие же круглые и зеленоватые.

- Верно...

- До свидания, Ева.

В ее серых глазах рассыпались и запрыгали изумрудные яблочные искры.

6

Прошло много времени, почти полгода.

Сначала на свете царил расщепленный бесконечный январь, когда замирало и останавливалось само время, скованное колючей арктической стужей. Студеный мороз, казалось, ломал все на свете, обернувшись стихийным бедствием. Розовые щеки мгновенно дубели, теряя чувствительность, и превращались в бледную ткань, которой были обернуты заледенелые кости лица; ноги ныли от боли. Все живое корчилось и скукоживалось, испытывая космический ужас. Сама мысль о весне казалась неуместной и издевательской. Хотелось ныть и кукситься из уважения к страданиям.

Внезапно (в природе почему-то все происходит внезапно: ничто не забывается так легко, как бесконечное ожидание) морозы ослабели, и дымчато-серое пространство ожило и задышало: сначала появилось небо, а потом и желтенькое солнце. Высокое небо в лазурных просветах, чистый прозрачный воздух уже сигнализировали о весне, и не думать о ней было так же невозможно, как еще неделю назад было невозможно представить себе солнечный рай, истекающий каплей. С одной стороны, время тянется, а с другой – все происходит быстро, очень быстро. И ты всегда не готов к переменам, которых так долго ожидал.

На смену солнечным морозным дням пришли пасмурные и туманные, заполненные мелким снегом, похожим на крупу. Поменяв местами небо с землей, снежок замутил перспективу и легко отобрал блеснувшую надежду. Праздношатающихся прохожих почти не было, да и тех, что попадались, тянули на поводке нервные крупные собаки. Почему-то всегда не в ту сторону, в которую тащились хозяева. Кто кого выгуливал – понять было невозможно. Куда же подевались люди, которые весной выплеснутся на улицы и площади пестрым половодьем? Где расквартированы завтрашние толпы?

Такое впечатление, что массы, спрессованные в бетонных коробках и, так сказать, оквадраченные, придавленные прямыми углами, работали до изнеможения, чтобы затем впасть в депрессию. И работать еще больше.

Содержанием жизни в январе и феврале становится отданный самому себе приказ в форме заклинания: «пережить бы зиму».

Наконец, приполз изрядно запоздавший, запыхавшийся март, пытавшийся порадовать утомленную публику своими светло-серыми утрами. От февраля он отличался разве что листками календаря. Но в марте любимое развлечение Титова – бессмысленно смотреть из окна на улицу, пока в воображении не начинает проступать некий смысл, – уже было несколько иным. Если смотреть рассеянным, не сфокусированным в одну точку взглядом, то медленно и как-то нерешительно падающие снежинки навевают задумчивость. Ловишь их боковым зрением – и уходишь в себя. Пейзаж, которого как бы нет; цвет, которого как бы нет; движение, которого как бы нет.

И тебя как бы нет...

Начало апреля, казалось, было похоже на март. Воздух прохладный, но не ледяной: вот что принципиально. Грязный снег громоздится кое-где влажными пятнами, уныло, серо – но предчувствие весны прибавляет настроения. Самой весны еще как бы и нет, но зима определенно уже кончилась. Нет ни запахов, ни цвета весны, только прохладный упругий ветерок, под который хочется подставлять лицо, еще помнящее когти безжалостной стужи. Ожидание весны, которое стоит самой весны.

Теперь погода меняется уже почти каждый день. На следующее утро – густой, похожий на плотный дым, туман, вязкий, влажный, обещающий дождь, ранний весенний дождь, который хочется назвать заблудившимся. Непонятно, зачем он нужен, но он обязательно пойдет. Кажется, главное его

достоинство в том, что это дождь, а не снег. И так грязи хоть отбавляй, а тут еще эти неуклюжие, бестактные потоки воды сверху, плещущие с видимой бессмысленностью.

Действует апрельская невнятность раздражающе. Ох, уж эти переходные явления, о которых даже боялся грезить в январе: от них одни неудобства. Всегда хочется чего-то большего...

И вот через полчаса – солнце, и ты уже все прощаешь неверному апрелю, родному братцу коварного марта, удостоверившись, что весна (какая вам еще нужна весна?!) не за горами.

Содержанием жизни в марте и апреле становится грядущая весна, а весной, разумеется, лето, которое уже, зябко ежась, остерегается осени.

Теплый апрель обрушился внезапно, в один прекрасный день – и, наконец, всем стало ясно, чего они ждали. Солнце, соскучившись, стало припекать так, что трудно было представить, как можно носить вот это тяжелое, многотонное пальто, которое вчера еще ругали за то, что оно не спасало от промозглого холода. Бедное темное пальто – в отставку, на смену ему спешат короткие разноцветные курточки; ботинки, ставшие внезапно стопудовыми, заменили лакированные туфельки на шпильках, ноги, умопомрачительно стройные, резко вытянулись в длину, юбки укоротились сами собой. Праздник жизни карнавально затопил улицы, скромно украшенные сухим нагретым асфальтом. К вечеру разомлевший взгляд стал недовольно наткаться на голые остоны деревьев: где же листья, госпожа нерасторопная Весна?

Титов и Ева созванивались, подолгу разговаривали (часто обсуждая коварную тему: капризы погоды – тему, требующую, кстати, тонкости ума, изобретательности и дара импровизации; в противном случае разговоры о погоде превращаются в пошлость, в тягостный разговор ни о чем), изредка встречались вполне по-дружески. Он всегда дарил ей розы. Оказалось, она обожает именно эти цветы, о которые можно больно уколоться, и за это любить их еще больше, а он уже не удивлялся: он легко угадывал многие вещи, связанные с нею. Например, он не сомневался, что она предпочитает рыбные блюда, и вообще морепродукты. И овощи. Так оно и оказалось. А еще он любил угадывать, в какой позе она сидит, когда разговаривает с ним по телефону. И никогда не ошибался. Она меняла позу – и у нее изменялся голос, и даже интонация. Она клубком сворачивалась на диване, и начинала мурлыкать, когда он плел ей долгие истории; неизменно подбирала ноги под себя, живо откликаясь на его рискованное замечание. Иногда вскакивала, не в силах побороть волнение, и ходила по комнате.

А он заставлял ее подбирать ноги и вскакивать с дивана – и потом ошарашивал ее своими прозрениями. Она смеялась...

А еще он любил угадывать, как убраны ее волосы... Иногда ему казалось, что ее прямые длинные волосы (она прятала их под мохнатую цветную шапочку только в самый лютый мороз) – русые, переходящие от пепельного возле самых корней к золотистому оттенку у подрезанных кончиков – убраны в гладкий пучок, а иногда ему казалось, что волосы, небрежно

прихваченные длинной шпилькой, торчат на затылке концами вверх, словно стрелы из колчана; и здесь он никогда не ошибался. Ему казалось, что он всегда присутствует рядом с ней, словно незримый дух, оберегающий ее неизвестно от чего. Ото всего на свете, хотя и сам не может предъявить на нее никаких прав. Таких духов обычно называют «Собака на сене».

Изредка он вспоминал о Нине – и становилось ясно, что она не интересуется им как женщиной. По одной простой причине: как женщина его интересовала Ева. Круглый живот и крупные бедра Нины уже не вызывали желания, а смутные прелести Евы, о которых можно было только догадываться, кружили голову. Все остальные женщины перестали существовать – это открытие тоже пришло не сразу, с течением времени.

Время шло. Нину он благодарно забыл, как легкий приятный эпизод из прошлой жизни, а Ева, с волной тяжеловатых даже на вид, русских волос, не выходила из головы. Она заполнила всю его жизнь, как болезнь, о которой нельзя не думать. Пришла помимо твоего согласия и приговоренно поселилась в тебе.

И вдруг, в один прекрасный день, до него дошло: он ее любит. Герман Титов любит Еву Круглову. Траурный марш Мендельсона. За роялем кот Бегемот.

Чувство, копившееся подспудно и нахлынувшее неожиданно, как в юности, было такой силы и так распирало его изнутри молодой энергией, что он быстро понял, что не готов к подобному повороту событий, о котором мечтал всю жизнь. Он сам изменился настолько, что все время вынужден был привыкать к себе новому. Стоило проститься с ней – как он тут же начинал тосковать; стоило взять ее за руку – и он чувствовал, как секунды замедляли свой бег (время останавливалось, как в космосе); стоило ему внешней стороной ладони прикоснуться к ее щеке, как он уже начинал светиться изнутри; стоило ощутить тяжесть невесомых волос тыльной стороной ладони, как он попадал в пространство, разряженное невесомостью, нагло переставая подчиняться закону всемирного тяготения.

Он знал назубок и, кривляясь, цитировал жестокий закон бытия: за все надо платить. Чудес не бывает. Что-то здесь не так. Должно же это когда-нибудь кончиться.

Почему же не кончается?

И вдруг однажды до него дошло: это никогда не кончится. Никогда. Это знание пришло сразу и бесхитростно, с прямотой пророчества, и навсегда поселилось в нем. И он знал, что это правда.

Он, взрослый мужчина, знающий всю книгу подлостей человеческих от корки до корки, стал добреть на глазах, стал меняться не в лучшую сторону, а в ту сторону, где надежда становится важнее ясного представления о том, что все надежды напрасны. Пугало только одно: а можно ли жить в таком нектарном сиропе достаточно долго?

Неизбежно наступила та стадия любви, когда, чтобы быть ее достойной, следовало от нее отказаться. Проявить силу – и подавить любовь. Вот такой императив здравого смысла. И возразить, вроде бы, нечего. Вроде бы, все

понятно. Но, как и в случае с бесконечной вселенной, это не уместилось в голове. Становилось жалко себя, словно невинную жертву роковых обстоятельств. О себе думалось так: «Обреченный судьбой...» И на глаза готовы были навернуться слезы – и в этот момент закрадывалось подозрение, что она, Ева, должна с презрением отвернуться от слабака. Как нормальная, сильная, вменяемая женщина. Неужели он ее недостоин, неужели ее достоин кто-нибудь другой?

Тут беспричинно просыпалась и начинала слабо, но нудно, клокотать ревность. В один из таких моментов он позвонил ей и язвительно поинтересовался делами «обожаемого» Жени. «Что с ним, почему ты ничего не говоришь о нем, словно его и не существует вовсе?» «Его и не существует, дай Бог ему здоровья». «А может, ты боишься меня обидеть? Ведь я же вторгся на чужую территорию. Нас не ждали, а мы приперлись». «Я в чем-то провинилась перед тобой?» Ева мгновенно почувствовала что-то недоброе и выразила недоумение в такой форме, что ему стало стыдно, как мальчишке. Нашел, на ком отыграться за свои нелепые страхи. «Извини. Я что-то не в себе». Она тревожно промолчала. А он с ужасом ощущал приближение новой волны противной слабости.

Иногда он писал ей письма, не электронные, а обычные письма на снежно-белой бумаге, украшенной по углам вензелями. Но ни одно из них почему-то не отправил. Вот одно из таких писем.

«Я люблю тебя, мой Заяц. Сегодня я окончательно (для жизни – хватит) разобрался в природе своих страхов – страхов 49-летнего. Я расскажу тебе о них при встрече (возможно, уже через час; неужели я тебя увижу? неужели это так просто? Но как только я тебя увижу, я сразу позабуду обо всех своих страхах...).

Именно сейчас где-то в глубине души начинает оформляться, обрывать хрупким панцирем решение (последнее, 1958-е): я буду учиться жить с тобой, но без тебя. Для меня ты слишком молода и прекрасна. Ради твоих же интересов я должен от тебя отказаться. Иногда мне это кажется красивой «рыцарской» позой (кстати, всегда терпеть не мог рыцарей: что-то есть в них фальшивое, неподлинное), и я ненавижу себя за то, что мне не хватает здоровой наглости, самоуверенности и спасительного легкомыслия: схватить тебя в охапку – и никому не отдавать, никого не подпускать к нам на пушечный выстрел. А иногда мне кажется, что в моем решении есть и честность, и достоинство, и высокий здравый смысл. Маловато любви, конечно, ибо все остальное – за ее счет. Возможно, наши отношения будут «дружбой» (выговариваю это слово с некоторой запинкой, не веря в чистоту своих намерений); возможно, чем-нибудь еще дружелюбным. В конце концов, не мы первые не мы последние. Ведь во что-то же трансформируется любовь. Или она не терпит компромиссов, черт бы ее побрал?..

Так или иначе мне жаль, мне жутко жаль своими же руками изобретательно обустроить себе уютную могилку для жизни.

Не дождетесь, не буду!

И тут же кандалами опутывают непобедимые доводы здравого смысла: что поделаешь: жизнь всегда возможна в каком-то кривом модусе. Идеальное – нежизнеспособно. Конечно, есть ощущение, что где-то не выложился на все 100 %. Но на перевесе в жалкий один процент жизнь не делается. Волевым усилием – на моем-то кураже! – такой перевес можно обеспечить. Но... Три раза проклятое «но»... Побеждает всегда тенденция «за явным преимуществом». А у меня все подвисает на хилом «чуть-чуть». Чуть бы меньше годиков мне, чуть бы больше тебе, чуть бы больше фарту, чуть бы меньше не знаю чего...

За сим остаюсь искренне твой. Боюсь, что навсегда. Г.Т.

P.S. Интересно, поймешь ли ты меня? Или все спишешь на мою слабость, усиленную волей и умом?»

Титов не лукавил: запереться одному на две недели, настроиться как следует – и можно разбегаться в разные стороны под чутким руководством – ума? Ума. Сил вполне хватило бы. Жизнь катилась бы по накатанной колее. Как у всех. А чем ты лучше других?

Но разве стоит быть настолько сильным, чтобы сломать самого себя?

Бояться любви – ведь это жизнефобия. Это слабость, а не сила. Да, слабость под видом силы.

И приятное чувство, которое наступало в результате победы здравого смысла, заполняло душу. Все же чертовски приятно быть правым. А любовь всегда права, если любит умный.

- Настоящая сила в том, чтобы быть счастливым, понимаешь? А настоящая слабость в том, что ты несчастлив.

Ответом ему был теплый блеск ее глаз.

Он смотрел в ее близорукие глаза (снимать с нее очки и оставлять ее беззащитной, чтобы тотчас почувствовать себя защитником – любимое дело) – и не мог насмотреться. В кармане, рядом с конфетой, лежало письмо, которое в мгновение ока превращалось в жалкую бумажку: зачем любимой сомнительная бумажка? Ей нужен защитник.

Опыт подсказывал и другое: надо таиться, надо скрывать свои чувства, ибо зависть людей никто не отменял. Но все безошибочно угадывали: эта пара счастлива. На них оглядывались именно искатели счастья, их ревнивые соперники – другие парочки. Ева из-за своей близорукости ничего не замечала; он же инстинктом хищника настораживался, и поступь его становилась мягче, а коготки напрягались в подушечках лап. Но поступь становилась увереннее с каждым днем. Вскоре он перестал писать Еве письма, которые получал сам.

Неизбежно пришло время действий.

7

Прежде всего, надо было объясниться с Ниной, которой он никогда ничего не обещал, но которая вела себя так, будто обещанием является само их существование с оглядкой друг на друга. И он пошел к гадалке Симе, к которой его водила Нина, чтобы узнать судьбу своей матери, закоренелой

атеистки Нелли Михайловны. Мать, кстати, поправилась и по-прежнему не отходила от телевизора, каждый час поглощенная новостями до такой степени, будто только что вернулась из путешествия по тундре длиною в год. Сима угадала. (Вообще-то ее звали Серафима, но для друзей она была Сима; в результате все звали ее Сима, и только друзья знали ее полное имя.)

- Привет, колдунья, - сказал Титов. – Мне нужна твоя помощь.

Здесь было принято разговаривать на «ты».

- Всем нужна моя помощь, алмазный, - сказала Сима, бегло, но цепко взглянув на Германа.

- Да я не о гадании на кофейной гуще...

- О чем же, бриллиантовый?

- Серафима, кончай ты эту цыганщину. Нину помнишь? Вот мне и хотелось бы...

- Подожди. Помолчи. Я сама. Дай руку. Ага. Каждый скажет, что у тебя будет большая любовь.

- У меня есть подруга Нина...

- Нет, здесь дело не в Нине.

- У нее красивые глаза.

- Нет-нет, Нину забудь. Тут страсти-мордасти, при чем здесь Нина?

Титов сдержал порыв радости, но губы Симы шевельнулись в улыбке, словно она смотрела на экран детектора лжи.

- Я уже забыл ее, только не знаю, как ей об этом сказать. Может быть, ты мне поможешь? Я за этим к тебе и пришел.

- А-а, сильный мужчина боится сделать больно слабой женщине... Кажется, это называется благородство. Встречается так редко, что я уже и слово забыла.

- Да не в этом дело. Тебе она верит больше, чем себе. Понимаешь?

- Ты меня подкупаешь? Хочешь позолотить ручку?

- Ты же сама нагадала мне любовь. Я не прошу тебя помочь обмануть; я прошу... Сима, ты согласна или нет?

- А ты сам-то мне веришь?

- Не знаю. Но я зачем-то пришел.

- Вот именно: зачем-то. Выдумал какой-то предлог, впервые слышу такую трогательную ерунду. Скажи честно: ведь ты пришел за своей любовью, а не из жалости к Нине? Скажешь честно – помогу.

- Не знаю. Я чего-то побаиваюсь.

- Такой любви, которая у тебя на роду написана, кто угодно испугается. Да-да. Серьезная любовь – это серьезные проблемы. Я, например, любви боюсь. Любви не боятся лишь те, кому она не грозит. Эти лезут, как мухи на мед. Им подавай сюси-муси.

Колдунья Сима, природная блондинка, зачем-то ставшая крашеной брюнеткой, закурила и отошла к окну. Выглядела она лет на тридцать пять, на ней были черные джинсы и черная блуза, которые подчеркивали фигуру и делали возраст неопределенным. У нее были живые, меняющие цвет глаза; но глаза ее не бегали, а смотрели прямо и внимательно. С позиции силы.

- Хочешь, я объясню тебе, как я гадаю? Я сама не знаю, не понимаю, как я гадаю. Когда руки и глаза клиента молчат, я пытаюсь разговорить человека, и иногда сразу представляю его будущее. И я не вру.

- Так, как ты, поступают все писатели, художники или профессиональные психологи.

- Я не знаю, как поступают писатели, но мне кажется, что угадать судьбу человека не очень сложно. Люди все очень простые. И я простая.

- Я не хочу знать свое будущее, - сказал Титов, предельно равнодушным тоном, как перед детектором лжи.

- А я тебе его и не открою, не волнуйся.

- А свою судьбу ты можешь предсказать?

- Знаешь, что такое судьба? Это когда ты знаешь, чего ты хочешь, но понимаешь, что не все от тебя зависит. У человека, который сам не знает, чего он хочет, нет судьбы, есть только нескладная жизнь. Я бы хотела такого мужа, как ты. И детей. Двоих. Двух девочек.

- Может, ты и будешь моя любовь, Серафима?

- Эй, не шути. Тебе будет не до шуток, - сказала Сима, стоя к нему спиной.

- До свидания, Серафима. Желаю тебе, нет, нам удачи.

И уже на пороге он не выдержал и обернулся.

- Сколько лет будет моей избраннице?

Сима рассмеялась смехом, похожим на смех Евы, и у него отчего-то отлегло от сердца.

- Ты же умный мужчина. Но как ты поглупел! Какой идиотский вопрос ты задал! Ты уже влюблен, бедняга.

- Возможно. Она слишком молода для меня...

- Она, она! Так и должно быть. Эх, легко быть Богом или Богиней Судьбы. Тут не надо много ума. Я бы всем посылала именно молодую. Но это испытание, имей в виду. Очень сложно быть молодым и не предавать свой возраст. Тебе сколько, сорок, пятьдесят? Это трудно объяснить... Это дар такой: кто любит – вечно молод. Не зеленый, а молодой, понимаешь? Звучит глупо...

- Кажется, я тебя понимаю.

- Только не надо слишком широко держать карман. Надо же заслужить счастье, оно же не будет валиться на вас всех с небес, черт бы вас побрал. Почему мне так нравятся пятидесятилетние юноши? Иди, дорогой Герман. Привет Нине.

8

- Я тебя люблю, - сказал Герман, протягивая Еве цветы, на этот раз созвездие крепких бледно-розовых бутонов.

- Какая прелесть, - прошептала бледнеющая Ева, погружая лицо в розы. – Нет, я о букете, а не о ваших словах. Ваши слова ужасны. Не говорите так. Мне страшно. Это... сакральные для меня вещи. Не смейтесь.

- Я и не думал смеяться.

- Если я скажу, или даже подумаю о любви, мне кажется... Это слишком ко многому обязывает. Извините, не хотела вас обидеть.

- Скажи, только честно: ты не веришь, что я тебя люблю?

- Я не знаю. Я боюсь думать об этом. Все это страшно, непонятно.

- Разве что-нибудь изменилось после моих слов?

- Честно?

- Конечно, честно.

- Мне приятно было слышать эти слова. Но давайте будем считать, что вы их не говорили.

- Не выйдет.

- Отчего же?

- Я с удовольствием произнесу их еще. Я с первого раза выучил их наизусть. Это не слабость и не сиюминутный порыв. Я шел к этому очень долго. Мне надо все объяснить тебе. Мне кажется, если я объясню, то ты все поймешь.

- Мне тоже так кажется. Я и этого боюсь.

- А почему это мы такие трусихи?

Он снял с нее очки и заглянул в глаза. Только сейчас до него дошло, что серые глаза Евы и цветом, и разрезом очень напоминали глаза его бывшей жены, а ее манеры (вот этот чудный царский жест – вскидывать голову навстречу радостям и бедам) были копия манер его матери. Что же это происходит? Общаешься с вечностью в себе. Ищешь то, что в тебе, оказывается, живет.

Она подняла лицо. Он поцеловал ее в губы. Она повернула голову в сторону и сказала, не отстраняясь от него:

- Сегодня тепло.

- Да, - ответил Герман. – Май. Я бы даже съел мороженое, чтобы слегка остыть. С вафелькой.

- От него полнеют, - заметила Ева, взяв его за руку.

Титов рассмеялся счастливым смехом. На них обернулись сразу две парочки.

9

Для Евы полгода тоже были эпохой. Январь, февраль, март, апрель, май...

Сначала она беззаботно болтала по телефону с Германом Алексеевичем, Пилотом, Звездным Пришельцем, как она мысленно его окрестила. Все, что он ни рассказывал, было как-то мило, всегда кстати и очень нетривиально. Он как-то странно смотрел на мир: из глубины вселенной. Потом она стала замечать, что скучает, когда звонков от него не бывало несколько дней.

Потом ей стало не хватать его звонков, и она сама предложила встретиться и «просто пройтись, куда-нибудь» (голос после утренних репетиций простой фразы, сорвавшейся с языка так нелепо, как бы случайно, звучал совершенно беззаботно). Посмотреть на мартовское солнце. Пилот согласился. Может, ему не так было интересно с девчонкой, как ей с мужчиной, знающим жизнь. Ей казалось, что именно такие люди и делают

грязную жизнь чище. Пилот одним своим существованием очищал жизнь. Придавал ей иное измерение, о котором она и представления не имела. Есть же такие организмы, которые очищают море, например, или воздух, или лес. А может, и вселенную. Вот и Пилот был необходимым элементом жизни и экосреды. Она по-детски держала его за руку, а он не убирал руки, хотя, наверно, смущался.

После этой встречи он ей приснился первый раз. Они танцевали, и она не могла думать ни о чем другом, кроме его теплой ладони на ее талии. Это был странный сон, немного стыдный, и ей хотелось его забыть.

Пилот казался ей безнадежным романтиком и безнадежным реалистом одновременно. Как человек-амфибия, он одинаково уверенно и естественно чувствовал себя в разных средах: во вселенной и среди серых земных людишек. Он притягивал ее, как магнит булавку. С ним было просто интересно, а без него – просто скучно. Ну, что тут такого? Разве это возбращается?

Событий никаких не происходило, но что-то менялось в мире помимо ее воли. У нее никак не выходили из головы цифры 49 и 21. Его и ее возраст. Цифры великолепно совмещались, цеплялись друг за друга, нуждались друг в друге, словно две ладошки, большая и малая, которые сплетались пальцами и складывались в единое целое, счастливо катившееся за горизонт круглой цифрой 70. Забавно. Она никак не могла отделаться от ощущения, что они идеально подходили друг другу. Это был тот случай, когда половинки совмещались, и ей понятно было, что это значит. Она улыбалась и вздыхала: «Эх, если бы ему было столько лет, сколько Жене». Думать об этом было легко и приятно – наверно, потому, что ему никогда не будет столько лет, сколько Жене. Жаль, конечно, но что поделаешь... А все же хорошо, что Пилот есть. Наберешь номер его телефона, и можно поболтать. Хорошо.

Кроме того, что-то стало происходить с Женей. Он изменился. А может быть, изменилась Ева. Она стала смотреть на него другими глазами, и он стал ее раздражать. Произошло это после мартовской встречи с Германом Титовым. Целоваться с Женей она наотрез отказывалась (хотя раньше ей нравились нежные и какие-то целомудренные тычки губами) и никак не могла придумать причину, по которой она это делала. Нет – и все. Он пожимал плечами и ждал, когда пройдет ее очередная блажь.

Чтобы доказать самой себе, что не происходит ничего особенного, она не скрывала от Жени, что время от времени (она не сказала, что почти каждый день) общается с человеком, ей в отцы годящимся. Он пожал плечами.

А уже после того, как Пилот приснился ей во второй раз (сон состоял из его улыбки и совсем не дружеских объятий), у нее поинтересовался отец:

- С кем это ты болтаешь по телефону?

- С Женей.

- Неправда. Женя сказал мне, что вы почти не общаетесь. Ты кокетничаешь с каким-то стариком.

- Это мое дело, - вспыхнула Ева. – А своему Жене передай, что я с ним больше никогда не буду разговаривать.

- Ладно, поцелуй меня, мой котик, - сказал папа. – Пригласи Женю на ужин. А старым людям не надо морочить голову. Поверь, их это волнует. А одиноких чудаков – тем более... Я знаю, тебе можно доверять, но он может истолковать все неправильно. Кстати, как его зовут? Сколько ему лет?

- Спроси у Жени.

Папа рассмеялся в ответ, а вечером к ним, как ни в чем ни бывало, пришел Женя с цветами, которые любил он сам и от которых млела его мама: с букетом лилий. Евину слабость к розам он считал, почему-то, блажью. Еву это, почему-то, почти взбесило.

Этой ночью Пилот приснился ей опять, и, кажется, поселился в ее снах надолго. Она жаловалась ему на то, что люди такие черствые и тупые, а он... Кажется, он слишком распустил свои руки. Но мешать ему совсем не хотелось и, откровенно говоря, на это не было сил. Этот тайный сон сблизил ее с Пилотом.

После этого она стала другими глазами смотреть на Германа Алексеевича. Папа и Женя добились своего.

А в мае Титов ее поцеловал, долгим, влажным, скользящим поцелуем, от которого подкосились ноги и помутилось в голове.

10

В мае на бледное истощенное небо выкатило солнце. Оно ослепительно хозяйничало в перистых просторах, нимало не интересуясь тем, нравится это кому-то или нет. Можно было либо плясать под его дудку, либо ждать ноября, забившись в темный угол.

Утро начиналось с нежной голубоватой дымки, березки за день выпускали тонкие листики, обрастая ажурной зеленоватой кроной до неузнаваемости, а малиново-оранжевое закатное солнце что-то тревожно предвещало, то ли радость, то ли боль.

Даже ночью чувствовалась весна, теплыми волнами устремленная в лето. Подсвеченные синеватым неоном небеса, напоминающие рекламный щит, криво прибитый серебряными гвоздиками звезд к невидимому столбу, скупо украшала роскошная полная луна, выпуклая, с гладко сточенными краями, которую распирало от льющего изнутри солнца (вот куда девается малиновый жар солнца: ночью оно становится лимонной луной). Не хватало только глупого слогана, чтобы все испортить.

Но и без слогана было ясно, что вам рекламировали жизнь. «Живите сами и давайте жить другим» – было начертано небесной вязью на сверхпонятном всем жителям Земли несуществующем языке.

Они каждый вечер с почтением провожали взглядами утомленное солнце, взявшись за руки. Потом встречали появление луны, теперь уже юной и востренькой, по форме напоминающей листики березок.

Когда отрываешься от губ Евы, кажется, что луна светит еще ярче. И глаза возлюбленной поблескивают всполохами далеких галактик – даже ночью. С языка само собой сорвалось: «Моя Алмазная Фея».

... А когда он попытался сделать то, что проделывал в своих снах (в том же ритме и теми же паузами, словно в невесомости), она произнесла нежным, умоляющим шепотом, в котором трепетало желание:

- Не надо, нет, мой милый...

- Почему?

- Не надо...

- Почему?

Ни «да», ни «нет» не возбуждают так, как «нет», в котором сквозит нескрываемое «да». Он сказал ей об этом.

Ей пришлось рассказать ему о своих снах. Он гладил ее льющиеся тяжелой волной волосы, и ей было совсем не стыдно.

- Сны – дело серьезное, - сказал Герман Титов. – Сны не врут.

... Все срослось, все шестеренки запали в пазы, и космический корабль уже отчалил по направлению «куда-нибудь». Они совершенно подошли друг другу, что означало: такая любовь не проходит бесследно. Это был именно тот случай, когда половинки, выкроенные по небесным лекалам в каких-то лазурных лабораториях, совместились пылинка в пылинку. Отодрать их друг от друга можно было только с живой тканью, с мясом, с угрозой для жизни сразу для двух половинок. Конечно, Ева еще этого не понимала, однако выбора, судя по всему, у них было не очень много.

- Давай поиграем в игру.

- Давай.

- Ты должна угадать слово.

- Попробую.

- Черное – белое; друг – враг; холодное – горячее; любовь – ... Ну, ваше слово?

- Ненависть?

- Нет, это логика детского садика. Ты уже большая девочка.

- Тогда что же?

- Подумай.

- Не хочу. Боюсь.

- Не хочешь – как хочешь.

Он понял, что она его поняла: любовь – смерть. Пустота, одиночество. Или они вдвоем, и тогда им ничего не страшно – или...

- Пойдем ко мне домой?

- В моем сне ты произнес это точно с такой же интонацией – с интонацией «со мной и навсегда». Дежавю. Может быть, мы уже с тобой встречались в другой жизни?

- Может, и встречались. Я тогда был змеем. Пойдем?

- Нет, змей ты сейчас. Пойдем... Папа меня убьет.

- Не успеет. Завтра я сделаю тебе предложение. Можем, конечно, подождать до завтра...

- Нет, я не хочу никакого завтра. Ты мне нужен здесь и сейчас.

Ни о чем другом Герман Титов думать уже не мог. Он просто знал, знал совершенно точно и безусловно: они должны быть вместе. Все колебания,

сомнения, побочные осторожные соображения отступали перед чем-то очень важным и подлинным. Появлялось ощущение правоты, которое придавало столько сил, что опыт подсказывал: надо себя контролировать. «Я тебя люблю» звучало бедно и глуповато; но при этом не хотелось искать словесного выражения этого глупого и великого чувства. Он гладил ее лицо, заглядывал в глаза – и нелепо таял, словно обреченный Снеговичок. Ему становилось невыразимо жаль летящих в вечность секунд, направляемых чьим-то бесстрастным распоряжением; казалось, что и секунды оглядывались на влюбленных, сочувственно улыбаясь совсем не по уставу.

Странно: любовь позволила ему наладить контакт со Вселенной. Все в жизни стало масштабным, значительным и отчего-то печальным. Он угадывал настроение облаков, солидарные порывы ветра; звезды лениво жмурились в неге наслаждения. Все было с ними заодно, потому что они были правы, у них чиста была совесть, и они никому не собирались причинить зла.

Возможно, мужчине это была награда за прожитую жизнь; а для нее, возможно, любовь была жестоким авансом. Ведь ясно было, что отпущено им...

Впрочем, отпущена им была вечность. Поэтому они могли позволить себе жить одним днем. Одной ночью.

Целомудренная Ева вела себя даже слишком, по-детски раскованно, жадно продираясь сквозь райские кущи яблочного сада к какому-то заветному сокровищу. Быть ее спутником оказалось пределом мечтаний Титова. Она с острым женским любопытством рассматривала тело мужчины, который называл ее своей девочкой.

- Я уже не девочка. Мне только что исполнилось тридцать пять лет.

- Сколько же тогда мне? Даже страшно подумать...

- Тоже тридцать пять. Ты молодой и глупый, а я взрослая и важная. Правда, правда. Я чувствую, что в чем-то ты наивнее меня. Хотя ты старый развратник. Убила бы тебя за это вместе с твоими тетками. Сколько у тебя их было? Отвечай!

- Убила бы меня?

- Тебя, тебя...

- Ух, ты... Можно мне еще капельку того медового нектара, о котором я и мечтать не смел три часа тому назад? За три часа до новой эры...

- Только капельку. Нет, пожалуй, капелькой тут не обойдешься...

11

Наутро она проснулась в его объятиях. Тело ее сладко ныло. Он всю ночь называл ее Заяц; к утру, кажется, отросли мохнатые ушки и появился хвостик. Она привыкала к тому, что Германа Алексеевича, ее Пилота и Пришельца, можно называть на «ты». Оказывается, когда говоришь «ты», то сама взрослеешь, а он превращается в седого юношу; в этот момент возникает еще больше нежности и хочется его целовать. Время и возраст становятся понятиями относительными.

Самое трудное было уйти от него. Теперь она уже ничего не боялась. Все менялось стремительно, и чувство полета не покидало ее.

... - Где ты была? – спросил ее отец, Бронислав Леопольдович.

Оказывается, этот хрестоматийный вопрос куда страшнее хрестоматийного же «что есть истина?»

- Сегодня к нам придет Герман, и ты все узнаешь. Я выхожу замуж.

- Что? – припадочно дернулся милый папа и закатил ей такую увесистую оплеуху, что она отлетела к книжному шкафу, сердито зазвеневшему стеклянными дверцами. Очевидно, шкаф был на стороне папы. Оказывается, страх по отношению к папе, и даже к вещам, его окружающим, жил в ней всегда, и сейчас она уже не понимала, чего она хотела, чего следует хотеть и чего надо бояться. Она действительно превратилась в зайца.

- Ты выйдешь замуж за этого сопляка Женьку, у которого водятся деньги и у которого мать примерная католичка, а не за развратного старика Генриха.

- Германа, - сказала она, вытирая кровь и пытаясь вспомнить, кем она была до того, как стала зайцем. – Его зовут Герман Алексеевич, и он мужчина средних лет, ровесник тебе, папа.

- Не зли меня, а то я убью тебя, - прошипел Бронислав Леопольдович. – Ты сделаешь так, как я скажу. Потому что ты моя дочь, и я люблю тебя.

Ева, раздавленная отцовской любовью, промолчала.

Вечером пришел Герман с букетом роз. Глава семьи встретил его буднично, без церемоний и почестей, и быстро уединился с ним в комнате.

Через некоторое время уверенный голос главы семейства, натыкающийся на твердые реплики оппонента, ровным гулом разносился по аккуратной квартире, которую было принято убирать два раза в неделю. Уборка успокаивала Евину мать и отвлекала ее от неразрешимых проблем, так хорошо знакомых всем людям в возрасте, близком к пятидесяти.

Голоса глухо звенели, словно сталкивались клинки. Впрочем, Ева ничего не могла разобрать. Она лежала и плакала, у нее болела голова, но пустота внутри уже твердела и превращалась во что-то воспламеняющееся и взрывоопасное, в звездное вещество.

- Жениться на молодой, очаровательной девушке – это, извините за откровенность, большой финансовый проект. Вы к нему готовы? Нет, не готовы, и без слов ясно. Такие, как вы, не бывают богатыми. Это у вас на роду написано. И на лице. Вы, простите, кто по профессии?

- Я художник, правда, не совсем обычный. Космический.

- Худо-ожник... космический... Понятно. Прислуга для богатых. Работаете по заказу, выполняете любую прихоть, любой каприз, не так ли?

- Нет, я из тех художников, что сами себе заказывают музыку.

- А разве есть такие? Вы хотите сказать, что не зависите от богатых? Да они же соль земли! Им все подвластно.

- Не все. Космос им неподвластен. К тому же, богатые, например, не умеют любить.

- Богатые умеют все. Чего они не умеют – того не существует в природе.

- Кто вам это сказал? Несчастные богатые?

- Я прочитал это на лицах счастливых богатых. Кроме того, у моей дочери уже есть жених. Только она еще об этом не знает. Впрочем, сегодня же и узнает. Вот на этом я и предлагаю поставить точку.

- Выслушайте меня, - произнес Герман тоном полководца, за плечами которого изнывала конница головорезов, не допускавших и мысли о поражении. – Конечно, вы вправе принимать решение, вы отец. Я понимаю вас и уважаю ваше право. Но поймите и вы меня. Когда я говорю, что люблю Еву, то... Понимаете, любовь – это бесконечность, любовь – это вселенная. Ее нельзя предавать: вы имеете дело с космическим совпадением гигантского количества каких-то случайностей, которые, соединяясь, становятся законом. Ведь невозможно отмахнуться от вселенной, от космоса, от жизни. Отвергните любовь – накликаете смерть. Отсутствие любви – это не несчастье; это смерть. Говорю вам как на духу: я в своем возрасте не посмел бы явиться к вам, если не обстоятельства исключительные. Если вы не позволите нам быть вместе – плохо будет всем.

- Вы мне угрожаете?

- Я не угрожаю вам, я умоляю вас попытаться меня понять. Я и сам в девяноста случаях из ста был бы против; но здесь, мне кажется, особый случай. У меня нет выбора; его нет и у вас, если вы разумный человек.

- Любовь, с точки зрения отца невесты, – это легковесная чепуха. Бред. Это всегда типичный случай. Особое в данном случае вижу только в том, что это моя дочь. Моя!

- Ну, есть же у вас жизненный опыт, ум, наконец; ведь я же не безумец. Посмотрите на меня: за мной стоит вселенная.

- Давайте начистоту. Меня это уже и по-человечески зацепило. Что мне подсказывает мой опыт?

Через десять лет вы, гражданин вселенной, состаритесь. Так? Так. Законы мира для всех одинаковы. Любовь ваша и ее исчезнет уже через год, даже раньше. Оглянитесь вокруг себя: разве бывает иначе? И моя дочь начнет изменять вам, старику, начнет рано или поздно. И она будет по-своему права. Так бывает в ста случаях из ста. Потому что это не фантазии, а реальность. Подумайте сами, могу ли я отдать ее за вас замуж, понимая все это? На что я обрекаю свою дочь? Хороший я был бы отец, если бы играл судьбой дочери. Интересно, сами бы вы отдали свою дочь за такого как вы?

- Трудный вопрос. На него существуют разные ответы. Все зависит от точки отсчета.

- То-то же! Точка отсчета здесь – я. А вы просто с ума сошли. Это, конечно, высокая болезнь, я в курсе, но это ненормально. Скажу вам больше: я не только понимаю вас, я в каком-то смысле сочувствую вам. Да-да, сопереживаю, может быть, как никто другой. У меня, извините, тоже есть интерес на стороне. Понимаете, надеюсь? И было бы у меня сейчас хотя бы тысяч пятьдесят долларов, я бы тоже, возможно, женился. Ушел бы от жены, с которой давно уже нет ничего общего, кроме этой стерильной квартиры и сумасшедшей дочери, – и женился бы на молодой. А там – хоть трава не

расти. Вы меня вынудили быть предельно откровенным. Я шкурой чувствую вашу ситуацию. И потом... Вы ведь в Бога не верите?

- Я атеист по воле Божией.

- Я так и знал! Таких, как вы, я ненавижу особо.

- Возможно, я несколько православный атеист, если вам от этого легче, – в том смысле, что этот уклад жизни мне ближе. Я надеюсь, атеист – это не обвинение и не порок?

- Ошибаетесь. Это порок, в котором я вас обвиняю. А православный атеист – это хуже некуда. Моя дочь – католичка, хотя сама этого и не осознает. Боюсь, вы не понимаете, что такое костел. Это не тема для шуток. Вы пришелец из другого мира, так, случайно залетевший к нам. А это не пустяк для нас. Ведь это Бог создал вселенную. И людей. И веру. Я не позволю нарушать порядок, созданный не нами. Моей дочери не нужна любовь, о которой говорите вы. Ей нужно счастье. И если вы знаете женщин, то понимаете, что я прав. А если не знаете... то я прав тем более. Дело, как видите, даже не в любви. Вы в состоянии объяснить, как создавалась вселенная, господин атеист?

- Меня мучает эта загадка. Мне казалось, я почти разгадал ее, когда встретил Еву.

- Какое отношение вселенная имеет к любви? Ах, оставьте свою чепуху. Когда вы объясните мне, как без участия Пана Бога могла быть создана вселенная, Адам и Ева, мы с вами, наши грехи и добродетели, я тоже стану атеистом. А пока что, простите, вы напоминаете мне именно безумца. Чтобы отдать вам дочь, надо быть преступником. Вы, Герман, похожи на двоюродного братца дьявола. Вы искушаете, чтобы погубить. Разве в этом суть любви?

Когда Герман выходил от Бронислава Леопольдовича, ему почудилось, что в соседних покоях всхлипывает Ева (хотя слышать этого он не мог, он ошибся ровно на полчаса: ее глаза в эту минуту горели сухим блеском, а в судорожных жестах стала проступать решительность, не сулящая ничего хорошего тем, кто собирался разлучить ее с Германом). Он уходил – она оставалась: на него накатило чувство вселенской несправедливости, смешанное с параличом отчаяния. Что можно было сделать в этой ситуации? Он был прав, но кому можно было предъявить свою правоту? Где был тот враг, которому руки чесались врезать по морде? Кто виноват?

Взрывом, которым была порождена вселенная, хотелось ее и уничтожить. То-то бы Пан Бог удивился.

12

Он ворочался один в двуспальной теплой постели и никак не мог уснуть.

Наконец, он провалился в сон, и ему приснилась нескладная нелепица, собственно, какие-то фрагменты, непонятно как связанные друг с другом. Герман всю жизнь боялся нелепых снов, потому что в них причудливо присутствовала реальность. Именно такие сны и сбывались, – сны, казалось бы, непохожие на жизнь.

... Он увидел едущую впереди себя легковую машину. Автомобиль мчался на скорости, которая никак не соответствовала маленькому неустойчивому корпусу, поэтому смотреть на него было тревожно, и в то же время невозможно было оторвать глаз. Наконец, случилось то, что должно было случиться: машина, не выдержав напряжения гонки, дернулась, споткнулась и, словно подогнув под себя передние колеса, завалилась набок. Скорость была такой стремительной, что автомобиль вылетел с трассы и взлетел, красиво переворачиваясь в воздухе. После каскада завораживающих пируэтов машина исчезла. Наступила звенящая тишина.

... Ева падала со строительных лесов огромной башни, ввинчивающейся в небо своим готическим шпилем. Падала как-то неуклюже, словно тряпично-неживая. Он поймал ее за руку, как куклу, втащил на шаткие доски и отчитал с перепугу тоном небесного прораба.

- Герман, милый, - сказала она, в чем-то оправдываясь, и слова эти легко соскользнули с ее языка, словно всю жизнь она называла его именно так, нежно и влюбленно. Сердце в нем оборвалось и провалилось в ту самую бездну, в которую минуту назад сорвалась Ева; бездна стала принимать смутно знакомые формы тоннеля, радужной спиралью убежавшего в мерцающую бесконечность, а сердце все летело и летело, замирая в жутком восторге. Ее тон был именно таким, которого он ожидал. Это был даже не тон, а бессознательный щебет счастья. Герман знал, что они будут разговаривать таким тоном всю жизнь. Вот, оказывается, ради чего он жил. Он услышал эти слова во сне, и они стали для него главным доказательством его правоты. Он проснулся, не досмотрев тревожного сна (финал которого он странным образом предчувствовал), и понял, что Ева будет щебетать только с ним.

Он тут же решил позвонить ей (мобильные телефоны, цепи свободы, изобретенные цивилизацией, всегда под рукой), чтобы рассказать свой сон, густо сдобрив его иронией, разумеется.

Мобильные кандалы издали мелодичные трели.

- Герман, милый, - сказала она. – Я ужасно тороплюсь. Мне необходимо сделать одно важное дело. Я перезвоню тебе попозже. Ты не обижаешься?

- Нет, - сказал Герман тоном самого небритого в мире мачо, отирая слезу тыльной стороной ладони.

Размышляя, какое важное дело задумала Ева (она, только начинавшая изучать книгу подлостей человеческих и застрявшая на первой главе с коварным названием «Благородство», торопилась к Жене, чтобы сделать его своим союзником в битве за свою любовь), он вновь направился к Симе. Зачем? Он и сам толком не знал, зачем. Но сейчас ему хотелось уважать вот это свое незнание. Самыми сильными аргументами становились не доводы рассудка, а островки желаний, воли, хотения.

Но Сима встретила его с библейской жестокостью, которая, хотелось думать, являла собой обратную сторону мудрости. Свежие следы былой красоты на секунду мило озарили лицо, которое через мгновение сложилось в гладкий кулак победительницы.

- Ты упустил свое счастье. Зачем ты приперся ко мне, болезный? Я тебя обо всем предупредила.

- Что же я сделал не так?

- Не знаю, алмазный мой. Такое счастье нельзя упускать. Нельзя – и все. Ты не понимаешь... Тут надо драться насмерть. Лучше умереть, чем упустить такую любовь. Разве я тебе этого не говорила? Где твои смертельные раны, за которые тебя можно уважать? Я их не вижу. Поэтому ты виноват. Иди. Я ничем не могу тебе помочь, алмазный.

- Серафима, не говори загадками.

- Ай, ай, ай! Целые поколения ждут, чтобы так сошлись планеты, весь мир столетия работал на вас. Как можно было такое упустить! Твоя жизнь сияла бы на тысячу лет вперед. Слабый ты. Сам виноват.

Титов вышел на улицу, действительно ощущая свою вину перед всем миром. Даже на солнце смотреть было неловко, благо небо затянуто было серенькой накипью облаков. Может, мир специально отгородился от недостойного Титова, стыдясь протянуть ему руки-лучи?

А бедная женщина Сима плакала, уткнувшись в подушку. Она сделала все, что могла: она отдала всю свою силу храброму одинокому мужчине.

Как человек умный, он привычно стал разбираться в своих чувствах. Чтобы действовать решительно, надо понимать. Уважать свое нежелание понимать можно только в печали, которая готова перейти в отчаяние. Для умного это неприемлемо.

И я готов понять Титова! Любить может только умный человек, умный мужчина. А женщина? Ее любовь – другого состава. Не умного, это точно. «Большой финансовый проект» – в этом что-то есть. Материальные условия – это духовные обстоятельства, в которых раскрывается женщина.

И все же, все же, все же...

Любовь, которую зажигает мужчина, опалает и женщину. Уберите любовь к женщине, которая не знает, что такое любовь, и, быть может, не всегда этого достойна, – и из жизни уйдут самые пронзительные краски. Только любовь умного мужчины делает женщину прекрасной; именно его любовь облагораживает все ее чувства. Женщина становится невероятно тонкой, отзывчивой, у нее появляется чувство достоинства – редчайший дар среди людей. Она начинает глазами мужчины смотреть на мир, и видит много такого, что никогда бы сама не разглядела.

А умный мужчина впитывает эти проявления женщины (основа и база которых – ее способность к имитации) – и сам становится чище и благороднее. Она с большим удовольствием и тактом отражает его, возвращает ему его самого – но нравится он хочет только ей.

Самая роскошная женщина – та, которая способна ценить умного мужчину. Ценить, находить в этом прелесть. И мир их любви, созданный из потоков человеческого тепла разностью двух потенциалов, играет и переливается разными красками, словно магическая сфера. Это чудо, созданное мужчиной и женщиной, есть эфемерная и бесценная форма существования материи. Все звезды начинают казаться блестящими шарами

любви. В пространстве этих шаров, наполненных невидимыми потоками энергии и света, легко произносятся самые сакральные слова: любовь, верность, навсегда, только ты...

Со стороны – грош цена этим словам. Только мужчина знает им цену.

Любовь творит чудеса вот какого рода: все недостатки женщины легко и просто начинают функционировать как достоинства. Происходит мультипликация достоинств: резко умножается все хорошее и, напротив, в корне изничтожается все мелочное. Кажется, что это происходит само собой, без видимых усилий со стороны слабой женщины. Вот этот феномен, эффект облагораживания, – прямое следствие любви. Происходит своеобразный ядерный взрыв: меняются параметры времени, пространства, гаснут и зажигаются солнца – возникает вселенная. Все предельно просто: уберите умного и заботливого мужчину – и вселенная прекратит свое существование; уберите женщину, способную откликнуться на чувства умного мужчины, – и вселенная так и не появится. Говорю вам: разность двух потенциалов рождает одно целое. Надо дорожить разностью: умный мужчина и способная любить женщина – вот составляющие гармонии.

Самое странное: люди, испытывающие чувство любви, боятся, что оно может в любой момент исчезнуть. Как будто это нечто, данное извне, не зависящее от них. Поблекнет, смоемся позолота – и вместо незримого потока чувств образуется пустота. Такое ведь бывает сплошь и рядом. Кошмар любви – страх ее потерять. Любить – это слишком хорошо. Сказочно. Великолепно. Не верится, что состояние это может длиться долго. Жизнь прожить – не в сказку попасть.

Такое бывает. Но в таких случаях речь идет не о любви. Скорее, о стремлении к любви, о желании избавиться от одиночества, о попытке придать жизни смысл, о... Да мало ли мотивов у мужчин и женщин стремиться друг к другу!

Стоит ли говорить, что любовь бывает только раз в жизни. Было бы нелепо и смешно, если бы такое можно было испытать дважды или трижды. Нет, только раз. Поэтому люди готовят себя к любви, стремятся к ней и без раздумий жертвуют самым дорогим (ум и достоинство подскажут меру допустимой жертвенности). А тут еще судьба-фортуна, удача, планиды... И реальная любовь реального мужчины к невыдуманной женщине, у которой вполне может быть и настоящий насморк, и плохое настроение, превращается в нечто сакральное, сверхреальное.

Попадая в пространство любви, человек попадает в космос. Безмерность всего в человеке открывается только здесь. Безмерность ума, печали, радости, отчаяния, надежды, страха мы постигаем благодаря любви. У человека, оказывается, всего в изобилии. Где он берет ресурсы? Возможно, в пространстве и времени? Или у Солнца?

Вот тут я затрудняюсь сказать что-либо определенное.

Пережить чувство любви дано избранным: это я знаю совершенно точно. Для этого надо родиться космически отзывчивым существом. Мы готовы любить всегда, и готовность наша постоянна и неизменна. Но любовь,

почему-то, уходит. Она редко измеряется годами, еще реже – десятилетиями. Наверное, столько энергии, сколько расходуется в любовных баталиях, человек не может вырабатывать и потреблять долго. Если, конечно, он не плоть от плоти Вселенной...

Впрочем, причин угасания любви так же бесконечно много, как и предпосылок для ее рождения. Но если была любовь – жизнь состоялась. Иногда любовь превращается в сладкий кошмар, иногда в иллюзию, фантом. Но она всегда с вами, плотью или тенью. Кому-то удастся наладить свою жизнь без любви, а кто-то, самый достойный и отзывчивый, уязвленный ею, так и не найдет в себе сил стать обыкновенным человеком.

Космос, бесконечность, бессмертие, любовь...

Вы попали в сказку. Игра стоит свеч.

Что-то затянул я с лирическим авторским отступлением, так сказать, утратил чувство меры, ослепленный необычным предметом. Что ж: в первый и последний раз. Я способен держать свои чувства под контролем. Просто мне очень хотелось поддержать Германа.

И пожелать ему удачи.

13

Титов сел за руль своего «Мерседеса» (со звездной эмблемой на капоте, как полагается: лучики, пойманные в пучок стальным кружком) и поехал куда глаза глядят. Ему надо было ощутить скорость, которая придавала ему уверенности. Скорость пожирала пространство, время замирало; манипулировать пространством и временем было его слабостью.

У Титова была и еще одна слабость: он терпеть не мог безвыходных ситуаций. Они унижали его достоинство. Безвыходность – это всего лишь отговорка коричневых, источенных сплином молей, сорящих вокруг себя перламутровой пылью. Ах, нам плохо, все вокруг хмуро и коричнево. Он сам мог бы научить Симу тому, что можно назвать философией безвыходности и безнадежности. В таких случаях он рядом с молью представлял себе дикую и почему-то тщедушную, растрепанную лису, которая ничтоже сумняшеся отгрызает себе лапу, ускользая из пасти стального капкана, надежно прихватившего добычу. Хищная челюсть капкана – это безвыходность, и эта стальная шутовина остается с мохнатой окровавленной лапкой, а хромая неказистая лиса – на свободе. Титову всегда хотелось пожать оставшиеся три лапы свободолюбивой огненно-рыжей лисе.

Когда он попадал в «безвыходную ситуацию», ему становилось стыдно перед воображаемой прихрамывающей лисой за свою ладную статью. Свободные существа всегда хромают, но зато они не боятся безвыходных ситуаций.

И Титов произнес, обращаясь к лисе:

- Вселенная не место для печали. Да-с. Вселенная вообще не место...

Тут Титов запнулся, ибо уперся взглядом в нечто ужасное для нормального человека. Он стал свидетелем обычной катастрофы, заурядность которой и является самым впечатляющим переживанием. На его

глазах шедшая впереди машина (серебристый «Опель Астра»), которую он уже почти настиг, неестественно вильнула в сторону, затем резко опрокинулась, перевернулась – и на лету впечаталась в бетонный столб, одиноко торчавший на обочине. Титов резко сбросил скорость и дал задний ход, остановившись, однако, метрах в десяти от покореженного «Опеля».

Первое, что он увидел, – это детская ладошка, которая быстро-быстро махала ему из щели приспущенного стекла задней двери. Дверь открылась на удивление легко, без проблем, и оттуда, на удивление, вывалилась девочка лет тринадцати – совершенно целая и невредимая. Более того: она казалась совершенно не перепуганной.

- Вот, блин, - сказала она, отряхивая платице, после чего принялась собирать волосы в пучок. Все в этой аварии было нелепо. Титов сунулся в открытую дверь за очередными чудесами – и обнаружил там вполне ожидаемое кровавое месиво. Запах теплой крови ударил в нос. Трое мужчин не подавали признаков жизни.

- Ты цела?

Девочка кивнула.

- Там твой папа? – спросил Титов тоном, из которого выпирало неуклюже спрятанное великое сочувствие к предстоящему горю маленькой девочки.

- Нет, - сказала она. – Это бандиты. Они называют себя бизнесмены.

- А ты кто?

- Я проститутка. Они меня целую неделю держали в плену, в своем коттедже. Сексуальное рабство – знаете, что это такое?

- Нет, - сказал Титов.

- Что, никогда об этом не слышали? Да все только об этом и говорят. Это кошмар. Они меня насиловали, в извращенной форме, а их жены, сучки, любовались. За это их Бог наказал. Они все подошли?

- Кажется, три трупа. Я сейчас проверю.

Титов схватил первую попавшуюся руку, чтобы пощупать пульс, но она оказалась вывернута и почти отделена от тела. К болтающейся кисти наручником был прикован дипломат.

- Возьми кусок разбитого зеркала, вот этого, левого, и поднеси ко рту этим скотам, - сказала девочка, как бывалый криминальный эксперт.

Титов торопливо схватил крупный осколок, вывернул его со скрежетом из крошева, порезался и поднес перечеркнутое струйкой крови зеркальце поочередно ко рту всем трем мужчинам.

- Готово, - сказала девочка. – Допрыгались.

- А откуда ты знаешь про зеркало? – спросил Титов.

- В кино видела. Вместе с ними вчера в коттедже смотрела. Классный фильм.

- А почему ты решила стать проституткой?

- Мне деньги нужны. Хочу жить красиво. Как они. Ясно? Чтобы не зависеть от таких уродов. Тьфу на них. Еще вопросы есть?

- Что будем делать?

- Не знаю. Ты мне зубы не заговаривай. Делай что хочешь, а мне пора.

Она резко отпрыгнула в сторону и побежала легкой лисьей трусцой, то и дело оглядываясь, не собирается ли Титов преследовать ее. Потом перешла на шаг. Титов стоял, прижимая носовым платком порез на окровавленном пальце.

- Там у них деньги должны быть. Возьми, если хочешь, - крикнула девочка.

- Как тебя зовут?

Она сделала неприличный жест и припустила бегом в сторону от дороги, туда, где начинался кустарник, переходящий в лесок.

Титов порадовался, что девочка действительно цела, и в третий раз полез в кабину. Из-под капота уже валил дым, что-то зловеще потрескивало во всем покореженном корпусе. Каждой клеточкой своего существа ощущая опасность, он схватил дипломат. Болтающаяся кисть не отпускала тяжелый дипломат, приковывала его к безжизненному телу.

- Извини, старина, - сказал Титов и потянул к себе, но кисть еще была частью руки и прочно держала деньги, если они, конечно, были в дипломате. Раздался легкий хлопок, затем второй. Титов резко рванул дипломат и с хрустом оторвал кисть. Так он и вылетел из машины, держа перед собой дипломат, к которому была прикована окровавленная кисть. Едва он успел отбежать от машины, как она загорелась, потом раздался взрыв, громкий и грубый, и машина мгновенно превратилась в пылающий и чадающий копотью факел.

На горизонте по встречной полосе показалась машина. Кисть от дипломата оторвать было невозможно, пришлось бросить в багажник своей машины дипломат, наручник и кисть как одно целое, в связке.

- Что случилось? – спросил ошеломленный водитель, который даже не заглушил двигатель, у Титова, как свидетель второй категории у свидетеля главного.

- Не знаю, - сказал Титов. – Вижу – горит, а что произошло – не знаю.

- Там люди были?

- Говорю же – не знаю.

- Понятно. А это что? – спросил водитель, указывая на палец, обернутый платком.

- А это я о зеркальце порезался. Дай, думаю, проверю, дышат трупы или нет. Взял зеркало – а оно поломалось. Разбилось.

- Какие трупы?

- Я подумал: а вдруг в машине трупы. Дай, думаю, возьму зеркальце. А оно разбилось.

- Понятно. Это не к добру, - сказал водитель. – Поехали. Или ты хочешь быть свидетелем?

- Не хочу, - сказал Титов. – Кроме зеркальца, мне не о чем рассказать честным милиционерам.

Они разъехались в разные стороны. Только после этого Титов понял, что его по-настоящему мучило: он вспомнил свой сон и до него дошло, что машина была точь-в-точь из сна. Такая же маленькая и юркая,

неприспособленная к большой скорости. Теперь он знал, чем должна была оборваться звенящая тишина.

14

Герман ощущал себя не просто преступником, а счастливым преступником. В дипломате оказалось семьдесят три тысячи долларов. Он вынул их, тщательно пересчитал и аккуратно переложил в свою сумку, обычную, не привлекающую внимания, с ремнем через плечо. Пустой дипломат он нагрузил камнями и вместе с наручником и кистью утопил в речке с древнескандинавским названием Усса, специально сделав ради этого добрый крюк. Сколько тайн хранит в себе Усса!

Звонка от Евы не было. Ее телефон был заблокирован. «Кроме того, у моей дочери уже есть жених»: Титов очень хорошо запомнил эту фразу. Терять время было нельзя.

На следующий день, еще не придя в себя от собственной хладнокровности и решительности, он направился к Брониславу Леопольдовичу. На плече у него висела сумка, в одном отделении которой находились деньги, а в другом – только что распечатанная... работа не работа, статья не статья, в общем, материалы, озаглавленные скупой и бесстрастно: «Пространство и время». Вот их содержание, если угодно.

«Пространство и время – это особый комплекс отношений, взятых в их целостности.

Пространство и время не являются материальными объектами, обладающими суммой количественных и качественных признаков, однако их невозможно рассматривать и как характеристики (признаки) объектов (в том числе как характеристики объектных структур).

Пространство и время – это структура среды, в которой существуют объекты. **Пространство** – это динамичная структура положения объектов относительно друг друга.

Время – это динамичная структура продолжительности существования объектов относительно друг друга.

Проблема пространства и времени – это не проблема точки отсчета, а проблема изменчивости и подвижности структуры среды. Абсолютной точки отсчета в природе не существует, есть только относительные. Вот почему происходящее сегодня, здесь и сейчас (с нашей точки зрения), – это происходящее неизвестно когда и где (с точки зрения иных вероятных субъектов). В известном смысле происходящее здесь и сейчас происходит всегда и везде, а в равной степени нигде и никогда. Пространство и время – относительны (в прямом и точном смысле этого понятия: они суть процесс и результат отношений), но если продлить эту относительность до абсолюта, получим карикатуру на хронотоп. Относительность пространства и времени и служит предпосылкой их реальности (они реальны потому, что относительны), однако сама относительность задается неким абсолютным алгоритмом отношений. Они реальны, но нематериальны; но поскольку их

реальность (наличие) «включается» в материальные отношения, становится предпосылкой материальных трансформаций, постольку время и пространство обладают материальным потенциалом.

Подобная амбивалентность с самого начала сделала пространство и время объектом сначала философского, и только во вторую очередь естественно-научного изучения (философия сама, заметим, амбивалентна по качеству своих познавательных отношений: ориентируясь на познание сути вещей, на универсалии, она не производит частных законов, являющихся методологическим пределом частных наук.) О пространстве и времени больше «рассуждали», нежели изучали их. Отсюда «неподвластность» пространства и времени научным законам: амбивалентная природа «объекта», не существующего вне подлежащих идентификации материальных объектов, делает его вечным исключением из правил.

Пространство и время – характеристика «живой», подвижной структуры, непосредственным образом зависимой от энергии. Количество и качество энергии, присущей объектам, организует пространство и время. В конечном счете хронотоп становится **информационной** характеристикой макро- и микроуровня вселенной.

И сегодня амбивалентная природа пространства и времени уже не делает их исключением из правил; они в полной мере подотчетны иным законам, распространяющимся на пограничные информационные образования. Человек, потенциально имеющий возможность стать личностью, в отношении методологическом также является амбивалентным информационным образованием. Тело подвластно законам естественным, душа – социально-психологическим, дух – философским; но поскольку в здоровом теле здоровый дух, начало философское во многом определяет также состояние телесной субстанции. Человек един и вполне материален, заметим, но главное в нем – начало духовное; в начале духовном главное – любовь.

Ключ к постижению пространства и времени, а также подобных им информационных моделей (вселенная, бесконечность, бессмертие), находится в руках человека, познающего самого себя. Опять же, все просто – но только для тех, кто устроен сложно. Духовность человека является высшей информационной инстанцией, а значит, наиболее абсолютной из всех известных нам относительных систем отсчета во вселенной. В определенном смысле личность – вот абсолютная точка отсчета. Только она способна перевернуть мир, являясь точкой опоры.

Итак, пространство и время – это предмет научного изучения, неизменным условием которого является, казалось бы, ненаучная посылка: ученый должен быть личностью. Безликое пространство и время способен постигнуть ученый-личность.

Именно через личность пространство и время связаны с художественным приспособлением (амбивалентно включающим в себя элементы познания), в частности, с литературой.

Что касается вопроса **пространство и время в литературе**, то последняя в силу того, что существует на языке образов, представляет пространство и время конкретным, уникальным, так сказать, имеющим свое лицо. Абстрактность категорий существует только в конкретности. Пространство и время в образной версии – это конкретика и фактура. Литература очеловечивает пространство и время, превращая его из категории абстрактно-философской во вполне реальную и осязаемую субстанцию. Литературные время и пространство можно потрогать руками, можно ощутить; они становятся человеческим измерением. Литература абсолютизирует относительность пространства и времени и тем самым создает из них инструмент превращения человека в личность, инструмент гуманизации (либо, напротив, дегуманизации).

Пространство и время как эстетическая проблема – это проблема воплощения личности.

Вот почему хронотопы «Евгения Онегина» или «Войны и мира» тяготеют к универсальности: пространство, так сказать, место действия – везде; время действия – всегда. В человеческом смысле, относительно природы человека – всегда и везде. Универсальность, явленная в уникальной системе образов.

Так принцип научности (в том числе философской научности), в скрытом виде присутствующий в литературе, проявляется, в частности, в отношении изображения пространства и времени».

- Мы же с вами, кажется, все уже обсудили, сударь, - сухо процедил Бронислав Леопольдович, загораживая проем двери.

- Здесь ровно семьдесят три тысячи. Долларов, - вежливо ответил Герман, протягивая нелюбезному хозяину квартиры темный пластиковый пакет. Германа впустили.

- Откуда у вас такие деньги?

- Каждый влюбленный немного преступник. Он готов почти на все ради любви. Даже на то, чтобы достать деньги. Правда, все зависит от того, зачем ему нужны деньги.

- Где вы живете, преступник?

- Во Вселенной.

- Где, простите?

- На улице Слободской, разумеется. Слобода – это такое место, где раньше селились ремесленники, на краю города. Сейчас это место уже в черте города, однако все равно считается спальным районом. Далековато от центра.

- Вы решили купить меня? Купить Еву? Купить любовь? А, банкир? Давайте начистоту, как бизнесмен бизнесмену. Мне начинает нравиться ваш подход. Все на свете имеет свою цену, и вы, если я вас правильно понимаю, готовы не постоять за ценой. Или вы все еще считаете, что есть в мире нечто бесценное? Что вы можете предложить мне из бесценного?

- Вселенной вам маловато?

- Вселенная – это мизер, - покривил губы Леопольд Брониславович.

- Хорошо. Сколько, по-вашему, стоит диалектика?

Его визави аристократично повел плечиком: мол, такой ерундой отроду не интересовался и тебе не советуя.

- Хорошо. А сколько, по-вашему, стоит любовь? Ответ прост, но не торопитесь с ответом. Любовь бесценна, вот в чем дело. Но можно подумать, что она, как и диалектика, бесплатна, она ничего не стоит, потому что очень доступна, каждому по карману. Заплатил – и пользуйся. Напомню вам афоризм импотентов: «Чтобы не платить, русские придумали любовь». Очень легко спутать бесценное с бесплатным. Расплачиваться будешь всю жизнь.

- Ты решил доказать мне, что деньги ничего не стоят?

- Нет, я решил доказать вам, что вы не уходите к своей любимой девушке не из-за денег. Вы не верите себе, не верите ей, вы боитесь. Если дело только в деньгах – вот, берите. Об этом никто и никогда не узнает. А если дело не в деньгах, тогда не мешайте мне. Это честная сделка.

- Вы предлагаете мне грязную сделку. А если я расскажу об этом Еве?

- Мне нечего скрывать и нечего бояться. Я не ее покупаю. Это плата за то, чтобы вы со своими иллюзиями и невежеством не лезли в нашу жизнь.

- Я лезу? Нет, это ты лезешь в рай со своим простатитом. Или у тебя его нет? А? Может, ты Кощей Бессмертный? А? Смерть в игле, игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке... А?

- У меня есть простатит. Так же, как и у вас, папенька. Но у меня эта печальная болезнь в начальной стадии. Ничего страшного. И я чувствую, что все мои болячки заживут. Здоровый дух лечит захворавшее тело. А вот ты, бизнесмен, ты не можешь быть счастлив. Ты не можешь любить. И тебя никто не полюбит. И твой простатит будет прогрессировать.

Титов сказал это из-за отчаяния. Не стоило этого говорить. Такие вещи вообще не стоит проговаривать. Богатые люди или люди, поклоняющиеся богатству, ничего не желают слышать о бессилии денег. Это глубоко личное, интимное, интимнее простатита. Они воспринимают это как жестокую обиду и не прощают ее никому и никогда. Все что угодно – только не это. И ведь знал же Титов все это. Может, потому и сказал?

Ответ был мгновенным:

- Моя дочь венчается завтра.

- Не-е-т!

- Да. Я объясню вам обоим, что такое бесценная любовь.

15

«Я украду ее, просто украду! И мы укроемся в нашей вселенной. В домике в деревне. Я буду писать свои картины (прежде всего напишу Венеру: я уже вижу, на какую сложную палитру раскладывается ее обманчиво простой, грустный, зеленоватый свет), а Ева...»

Так думал Герман Титов.

Ах, да, чуть не забыл. Поскольку наш герой жил в обществе, а каждому человеку, существу социальному, известно с молодых ногтей: жить в обществе и быть свободным от общества невозможно, то он должен был, просто обязан был, где-нибудь работать на благо общества. В противном случае человек становится тунеядцем, асоциальным элементом.

И он работал. Где?

Видите ли, Герман Титов получил ни к чему не обязывающее педагогическое образование, а поскольку умный человек не может «работать педагогом», то он пытался промышлять журналистским хлебом; но поскольку порядочный человек не может «работать журналистом», то Герман решил пойти путем всех идеалистов: он решил найти свое призвание, то есть рискнул развести понятия «благо общества» и «личные потребности». В конце концов, он стал писать картины, но картины необычные: он стал писать космос. Одно дело увидеть Марс с Земли, и совсем иное – представить, как он выглядит с околоземной космической орбиты. Представили? Попробуйте вообразить себе голубое и сиреневое свечение Земли из разных точек космоса или посмотрите на Млечный путь из созвездия Кассиопеи. Попробовали? Что, не очень?

А теперь вдумайтесь: оказалось, что представления Титова о космосе практически совпадали с тем, что удалось увидеть космонавтам. Это были как бы пророческие картины. Буйство красок, немыслимые цветовые вихри выдумать невозможно, если хотя бы однажды не видел этого собственными глазами. Титову это удавалось: он писал «вслепую», однако выглядело это так, словно он наблюдал эти, с позволения сказать, пейзажи каждый день. У него был странный и какой-то бесполезный дар: чувствовать космос в красках. Он менял в своем воображении время и пространство – и с новой точки отсчета космическая панорама играла совершенно иными красками.

К художнику стали относиться с большим уважением. Его картины стали брать в космос, чтобы сверять с тем, неземным впечатлением. Впечатление было неизменным: фурор, почти шок. Как можно было направлять свою фантазию в русло, не поддающееся никакому прогнозированию, было непонятно. Он ведь ничего не просчитывал, он просто переносил на холст свои ощущения. И никогда не ошибался; при этом никогда не врал. Среди космонавтов он стал человеком достаточно известным, в каком-то смысле своим. Легендарным.

Сначала он писал только то, что видно с Земли любому любопытному. Затем его все больше стали привлекать такие объекты и сюжеты, которые невозможно было проверить эмпирически. Возьмем, например, серию картин «Рождение Вселенной»; оранжево-синие метастазы какого-то плотного вещества, скрученного спиралью воронок, завораживали, и хотелось думать, что художник и здесь угадал нечто существенное. Зрительный образ рождающейся вселенной поражал не масштабами или экзотикой надмирных катаклизмов, а своеобразной гармонией. Одна из картин этой серии так и называлась: «Гармония – мое второе имя». То, что рождалось так красиво, не могло нести в себе скрытую угрозу или зашифрованную катастрофу. Серия

картин «Гибель звезды», кстати, подспудной тягой к гармонии напоминала «Рождение Вселенной». Даже нашумевшая «Черная дыра» поражала присутствием чего-то несомненно человеческого. Титов сдержанно поэтизировал и очеловечивал то, что поэтизации, казалось бы, в принципе не поддается. Астрономы, наблюдающие галактику в громадные телескопы, не только не опровергали простые и элегантные версии Титова, но, скорее, подтверждали их.

Возможно, самыми одиозными его картинами были «Пространство» и «Время». Он воплотил бесплотное, нематериальное, не имеющее физических параметров. И все «это», несуществующее, основанное, однако же, на законах гармонии, стало излучать несомненный поэтический свет. Ученые мужи и здесь не торопились с критикой и опровержениями. Что-то в этом было от реальности, что-то Герман зарифмовал, опираясь на свою интуицию. Но вот что? Точка зрения, представленная художником, впечатляла степень объективности. Это не было нечто «глазами всемогущего Господа Бога» (хотя богословы охотно рекомендовали его картины в качестве своеобразных иллюстраций к Библии) или видениями ошеломленного и сбитого с толку человечка, затерявшегося в космической пустыне; это было покорение Пространства и господство над Временем, осуществленные в формах, делающих честь Человеку. Человек, органическая составляющая Великой Природы, не мог быть царем, разве что самозванным царьком-клоуном; но он несомненно и величественно выделялся из немой органики Вселенной. Какое-то пронзительное чувство меры и вселенской гармонии демонстрировал Титов; Вселенная становилась частью нашей жизни, местом нашего обитания.

Ничего другого писать Титов просто не умел, поэтому и не считал себя художником в точном и привычном значении этого слова. Дара вдохновенного рисования он был лишен начисто: линии у него получались по-детски корявыми, из них уходила энергия и уверенность. Здесь он был беспомощен. «Космический художник» – это его вполне устраивало. Вроде бы, художник, мыслит цветом, а с другой стороны – без претензий.

Его картины, побывавшие в космосе, стали приобретать музеи и частные коллекционеры. Имя и фамилия художника, разумеется, очень помогали: в том, что Герман Титов, не имеющий отношения ко всемирно известному космонавту, стал писать космос, было тоже нечто пророческое. Слышали Герман Титов, а думали так: «От судьбы не уйдешь». Это был тот редкий случай, когда незримая воля Провидения убедительно обнаруживала себя в судьбе простого смертного. А люди обожают сомнительные доказательства существования Провидения.

Так или иначе космические картины Германа Титова стали продаваться, обеспечивая автору небольшой, но стабильный доход, – что является мечтой любого художника, озабоченного своим призванием более, нежели успехом. Он мог позволить себе купить дом в деревне.

Жизнь в деревне действительно напоминала существование в особой вселенной. Краски, запахи, ощущения здесь вытесняли и подавляли мысль.

Здесь можно было раствориться в природе, если тебе это зачем-то было нужно.

Нынешний июль отличался редкостным, лютым пеклом. К вечеру вылинявшее, выгоревшее от угольного жара, потерявшее краски небо изнывало от зноя. Но едва только раскаленное малиновое солнце погружалось за расплавленную линию горизонта, как в небе проступала свежая прохладная голубизна, и оно утомленно прикрывалось легкими перистыми облачками, напоминавшими веера или опахала.

Что было самым красивым на Земле?

Небо. Титов стоял, скрестив на груди руки, и не отрываясь смотрел ввысь. Тучка на небе была похожа на крест или на самолетик. Нет, скорее, она напоминала человека, раскинувшего руки, да, именно человека, почему он сначала подумал о кресте – непонятно. И в какие-то считанные секунды – пять толчков пульса, не больше – крест-человек превратился в галочку, которой легко изображать чаек, а потом и вообще в жалкое бесформенное пятно, которое, в конце концов, бесследно истаяло. А прошло всего-то несколько секунд. Да, незавидная судьба была у этой тучки. Теперь голубое пространство было несколько иным...

Внезапно, на следующий день, пришла прохлада, прошел дождь. Должно было стать легче, стало почему-то тяжелее. Воздух был промыт до выпуклой чистоты. Пахло свежестью – именно пахло то, у чего не было отчетливого запаха. Чистоту и свежесть явно небесного происхождения, казалось, можно было если не потрогать руками, то ощутить всем существом. Оранжевый шар солнца строго и неумолимо приближался к четкой черте горизонта. На противоположном конце неба уже дежурила полная луна, пока еще бледная, но с каждой минутой набирающая сочную жизнеспособную желтизну.

Взаимоотношения светил нельзя было назвать поединком, однако в нем не было ничего похожего на дружбу. Бесстрастное противостояние. Каждый сам за себя, отдельно от другого. И вместе с тем они вписывались в общую панораму, более того – создавали ее. Вот она, цена дутой независимости... Диалектика.

Бесстрастность и неумолимость – стиль вечности и объективности, поэтому над солнцем и луной в этот час невозможно было насмехаться. Они требовали уважения и преклонения; точнее, они поставили себя так, что уместным было отношение из палитры величественного, всякое ерничество компрометировало само себя. И всякий уважающий себя, чуткий к стилю человек с почтением преклонялся...

Скажите после этого, что мы не подражаем природе.

Молоденькие стрелки травы увенчаны были капельками, которые зажигались оранжевыми огоньками. Луг вспыхнул и медленно погас. Солнце исчезло. Вот оно, течение времени, когда ничего не происходит, но становится ясно, что время течет быстро и неумолимо. Титов глубоко вздохнул и, кажется, ощутил сочувственное дыхание вечера.

От Евы звонков не было, хотя Герман не расставался с телефоном ни на секунду.

На следующий день он собрался и уехал в Минск. (Разве я не сказал, что действие происходит в Минске? В Минске, в Минске! Где же еще могут происходить вселенской значимости события, не замечаемые окружающими?)

16

Герман Титов к ужасу своему стал чувствовать, что его любовь как бы неожиданно и немотивированно стала переползать в какую-то хныкающую стадию. Его чувство давно уже превратилось в живое существо и капризно развивалось согласно собственной логике. И нельзя было показывать ему свою слабость, иначе – пропал...

Все дело в том, что безнадега, к которой он, казалось бы, не имел никакого отношения (он сделал все, что мог, оставалось разве что убить кого-нибудь; но это было уже слишком), заставляла, тем не менее, чувствовать свою несуществующую вину. Или все же существующую? Ведь счастья нет, есть ржавая безнадега. Следовательно, клиент не прав, не так ли?

Вот в этом месте вновь хотелось набить морду тому рылу, которое высывалось с этими бестактными вопросами. А это было проявление слабости, причем в самом скверном, неприглядном виде. Слабости как таковой. Герой у себя же на глазах превращался в гадкого мальчишку.

Герман испытывал сложные, смешанные чувства, среди которых отчетливо улавливался горьковато-приятный, отдающий миндалем, привкус обиды за себя и желание оправдать ее (здесь во вкусовую гамму отчетливо вливался аромат карамели). При этом трудно было решить, относится ли обида к ней или же все следует списать на ситуацию. У меня ситуация – бес в ребро; у нее – естественный перебор женихами в поисках подходящей кандидатуры. И у нее, и у меня – возрастное. Ничего личного. Не один – так другой, не одна – так другая. Обыкновенная в своей пошлости история, отражающая порядок вещей. Солнце встало, солнце зашло. Это неотменимо.

А любовь? Где же вечная любовь, устанавливающая свои ненормальные порядки, черт бы ее побрал? От горького вяжущего вкуса миндаля слегка мутило, и казалось, что жизнь состоит из тупиков; когда дело доходило до губельного равнодушия, в этот момент Герман отчетливо различал лепет «милый», – и аромат карамели вновь волновал сердце.

Ее чувство напоминало Герману полноводную реку, которая, казалось, неотвратно текла по руслу. Природа. Жизнь и судьба. Все по закону. Но вот грамотные, но варварски озабоченные инженеры совершили целенаправленный взрыв – и в одночасье поменяли русло. Те же воды с той же неторопливостью и неотвратимостью текут уже по-иному руслу, уверенно демонстрируя те же законы природы, жизни и судьбы.

Если не пошлость, то обыкновенность и обыденность происходящего коробили до глубины души. Ведь все казалось таким необыкновенным, сказочно прекрасным. Пусть сказочно несбыточным, но прекрасным. Реки не меняют своих направлений, если они реки.

Надо было найти случай увидеть Еву: без этого жить дальше было невозможно.

И Герман Титов, художник по призванию, стал проводить часы в скверике напротив ее дома. Само ожидание неизвестно чего приятно волновало, доставляло бодрящую печаль, и опять становилось неясно, стоит ли уважать себя за это ожидание или оно достойно презрения?..

Он увидел ее издалека, идущую под руку с женихом. Дождался, пока она повернет голову в профиль. Так и есть: она улыбалась. Ева Зуб улыбалась. Об этом можно было догадаться, даже не видя ее лица.

У нее все хорошо: вот что было плохо. Накатила и все поглотила пустота. Внутри все было заполнено пустотой, этим клейким веществом вселенной, которое иногда называют «пространством»...

Стало стыдно перед самим собой за написанные когда-то слова «боюсь, что навсегда». Стиль Пьеро. Или того хуже: Арлекино. Нет, пуделя Артемона. Что «навсегда»? Навсегда отдать сердце девушке, которая забыла тебя, как милую плюшевую утку, через пять минут?

Тут дело даже не в этом. Тут все глубже, проще и страшнее. Я прожил жизнь – и до сих пор верю в то, чего не бывает. Первая же встреча девушка поставила меня на место. Я прожил жизнь печальным клоуном, верящим, что есть молочные реки с кисельными берегами.

Решение пришло само собой. Вот он уже сидит за столом и ручка прыгает по равнодушному белому листу, едва поспевая за мыслями, четко, в затылочек выстраивающихся в ряд, словно шеренги на плацу, рота за ротой, накапливаясь в целую армию, которой уже море по колено. «Все должно быть достойно наших отношений. Я знаю, что ты, скорее всего, не можешь не уйти от меня. И я тебя не виню. Я готов к этому. Но уйти можно по-разному. Это надо сделать красиво. Достойно. Ты ушла так, как будто тебе нечего терять. Будто меня не было и нет. Не надо предавать меня, Заяц. Меня, наши чувства. Себя. Я чувствую себя отработанной черной, грязной рудой, развалившимся на куски материалом. Извини, но я будто измарался в пошлости... Тут дело не в ревности... Я украл деньги, я собирался украсть тебя, но я не чувствовал себя преступником. Сейчас же я чувствую себя соучастником грязного дела...»

Словом, написал злое письмо.

Герман приготовился ждать Еву в скверике целую вечность, начиная с самого утра. Время уже не имело значения. Опять припекало, а в душе царил зимняя звенящая пустота, заполненная разряженным морозным воздухом. Кислорода явно не хватало, стоять было тяжело. Но она вышла вскоре после того, как он появился. Как будто тоже искала с ним встречи. Он подошел к ней, нащупал в кармане ребристый конверт, с бритвенно острыми краями, словно лезвие топора палача. Но его остановило ее окаменевшее лицо, постаревшее и такое милое. Она произнесла обессиленным шепотом, глядя куда-то сквозь него:

- Я проплакала тогда всю ночь. Меня заперли, отобрали телефон и не выпускали до тех пор, пока я не согласилась выйти замуж за Женю. Я долго

отказывалась принимать пищу, голодала, а потом... мама... У меня нет никаких сил и чувств. Пожалей меня. Оставь меня. Я не знаю, что сказать. Все кончено.

«Снеговики в жару не живут», - по-дурацки подумалось ему, и он сказал:
- У тебя перестали блестеть глаза.

На душе сразу стало легче. Это было просто физическое ощущение: с твоих плеч сняли небосвод. Стало легче дышать, плечи распрямились. Герман Алексеевич с удовольствием подумал: «Опущу-ка я письмецо в мусорный контейнер. Там ему самое место».

17

Она ушла.

Он по-прежнему стоял, не в силах сдвинуться с места.

Казалось, небо, оставшись без опоры, упало на землю, все вокруг покрывается гарью и пеплом. Только произошло это неслышно и незаметно. Играют дети, светит солнце. Никто не замечает рухнувшего небосвода. Пожалуй, этот милый абсурд мало похож на гибель звезды. Или все же похож?

Непонятно было, как жить дальше: стоять, идти или падать? Все это забавно напоминало ситуацию со вселенной: неясно, как быть с неукротимой бесконечностью, но Вселенная упорно существует, невзирая на проблемы человека. Так и с любовью. Вроде бы, конец, тема исчерпана и закрыта; но в каком-то смысле все только начиналось. Гибель чего-то одного становится рождением чего-то другого. Да, да, это и есть формула бесконечности. Вселенная родилась оттого, что погибла звезда. Рождение через смерть: гармония. Как же я не додумался до этого раньше! Вот отчего всякому рождению сопутствует легкая печаль (начало жизни – начало пути к смерти), а всякая смерть воспринимается с некоторым облегчением: хуже уже не будет.

Непонятно было, как и зачем продолжать жизнь, зато ясно стало, что он прожил свою жизнь не зря. Любовь и Вселенная, Вселенная и Любовь... Их объединяет бесконечность. А также пространство и время. Любовь – это особая форма времени и пространства. И я там был, мед-пиво пил...

Краем глаза он привычно поймал высоко взошедший диск солнца. Сознание механически отметило: день опять будет солнечным и жарким. Опять...

На душе было темно.

Мужчина двинулся по улице, кажется, в направлении, противоположном тому, куда удалилась Ева, а возможно, и вслед за ней. Земля ведь круглая. Постепенно в такт его шагам заструились мысли, просветляя душевный мрак. Весь мир – сплошные загадки. Куда ни кинь взгляд – везде сплошные тайны. Микробы? Тайна. Есть ли жизнь на Марсе? Загадка. Что такое любовь? Неясно. Что есть истина? Бог его знает. Кто ты такой, кто я такой? Неизвестно.

Мир есть сплошной неведомый туман, похожий на космическую пыль. Таков будет сюжет следующей моей картины. Почти не сомневаюсь, что правдиво изображу то, чего никогда не видел. Космонавты подтвердят.

С неожиданной ясностью перед Германом возникло одно воспоминание, связанное с юностью. Воспоминание было ярким, цветным, словно все случившееся произошло вчера. Герман шел по лучу, переходящему в объемную радужную спираль, расширяющимся тоннелем соединявшую луч с Млечным Путем. От сегодня до юности и от Земли до звезд было рукой подать. И сейчас он чувствовал, что идет по тому же тоннелю, и на душе, как и раньше, становилось радостно и тревожно. В сорока девяти жили вечные семнадцать. И вечные двадцать один.

Сначала он на секунду испугался своего видения, потому что вспомнил о примете: картины детства и юности всплывают ярко, в деталях, давно позабытых, перед смертью; потом так же быстро успокоился: что-то подсказывало ему, что жизнь и смерть как-то связаны с любовью и бесконечностью.

После этого он вернулся на Землю, и ему стало горько. Любовь не состоялась, а ты живешь по-прежнему, и небо вновь на своем месте, и нет особых катастроф. Вот я иду и не падаю. Она ушла – походкой твердой. Никто не умер. Вроде бы ничего не изменилось. Где же наказание за то, что не сберегли любовь?

А наказание в том, что ты не проживешь жизнь, которую мог бы прожить. Ты не получил того, что мог бы получить. У тебя украли твою жизнь. Тебя лишили яркого будущего. Твоя обычная, гарантированно серая жизнь и есть реальное наказание. Поэтому вместо «ничего не случилось» правильное сказать: «случилось страшное: ничего не случилось». Ты навсегда лишился ярких красок: всплесков эмоций, сюжетов, выражений, куражей, ее щебета. Ты лишился другой жизни. Разве это не наказание?

Он продолжал идти по тоннелю то ли назад, в прошлое, то ли вперед, в будущее. Ему опять вспомнилась нехорошая примета: все, пережившие клиническую смерть, попадали в тоннель. Но на этот раз он не испугался. Ему стало интересно: что там, в конце тоннеля?

Если изменить точку восприятия в пространстве и посмотреть со стороны, то все это выглядело достаточно буднично. По городу шел, слегка прихрамывая, человек лет 50, поразительно свежий, осанистый (видный, как сказали бы наблюдательные женщины) и уверенный в себе. Но чуткие женщины останавливали на нем свой взгляд вовсе не по этой причине: в его глазах томила пустота. Безошибочно можно было сказать, что он одинок; при этом ясно было, что никто не в состоянии предложить ему что-либо такое, что могло бы скрасить его одиночество. По городу шел несчастный человек, которого рука не поднималась пожалеть. В нем ощущалась сила, оттененная уязвимостью. Казалось, он искусно скрывает, что ему нанесена смертельная рана. Казалось, он сейчас упадет – и никто этому не удивится. Вот почему женщины провожали его долгими взглядами.

Бывает же такое в жизни.

Мужчина временами внимательно оглядывался по сторонам. Казалось, он искал кого-то и никак не мог найти.

P. S. Вскоре после описанных событий на счет одного из РОНО г. Минска была анонимно перечислена благотворительная сумма в размере \$ 73. 000 «с целью создания Центра детского космического творчества», как было указано в сопроводительном письме.

Счастливые дети и растерянные взрослые так и не узнали, кого им благодарить. Впрочем, про себя и те, и другие называли благодетеля не иначе как Какой-то Чокнутый, Упавший со Звезды.

Весна – 15. 07. 2006